

*Однополчане
ржевского
солдата*

Сергей Мачинский

*Издание осуществлено при поддержке
Постоянного Комитета
Союзного государства*

Однополчане ржевского солдата

Издательство «Индрик»
2020

УДК 94(47)
О43

Редактор: Кирилл Вах
Дизайн и верстка: Армен Игитханян

Мачинский С.
Однополчане ржевского солдата. — М.: Индрик, 2020.
— 320 с., ил.

© Сергей Мачинский, текст, 2020
© Издательство «Индрик», 2020
© Армен Игитханян, дизайн, 2020

ISBN 978-5-91674-613-6





Уважаемые читатели!

Автор этой книги Сергей Мачинский — один из тех людей, благодаря которым была воплощена идея создания Ржевский мемориал Советскому солдату. В прошлом военный, он каждое лето проводит в поисковых экспедициях, участники которых ищут и поднимают из земли останки воинов Великой Отечественной. Мы встретились в Тверской области, и сразу поразило, что о мертвых солдатах Сергей рассказывал как о живых. Бережно и с любовью подмечая каждую деталь, которую заметил, когда из болотистой земли поднимали останки очередного солдата.

Сергей укрепил в нас чувство долга и нравственной необходимости отдать дань их мужеству. Казалось, наша общая память должна была встать из земли, отпустив души солдат в небо.

Потом Сергей был в Ржеве с журналистами из Беларуси и России. Рассказывал о боях и, конечно, о своих солдатах. Для него — живых. С той поездки СМИ стали горячими сторонниками возведения памятника. Три года многие журналисты регулярно ездили на стройку, к Солдату, по личному убеждению, что затеяно великое дело и обязательно надо помочь — словом, телесюжетом, постом в блоге.

Собранные в этой книге рассказы Сергей писал в лагере поисковиков. Заходил очередной день, когда удавалось отнять у земли ржавый металл, солдатские медальоны, остатки человеческой плоти. Он пытался представить последние минуты жизни найденного солдата, додумать по сохранившимся деталям, что это был за человек. Каждый из них прошел через его сердце. Ведь говорят: миллионы потерянных жизней — это печальная статистика, каждый погибший — человеческая трагедия.

Книга написана с сердечной болью, тревожит душу. И ставит главный вопрос: они погибли за свою страну, а мы с вами что сделали, чтобы укрепить ее авторитет, мощь, величие?

Сергей Мачинский работал в поисковых экспедициях в России и в Беларуси. Что добавить? Союзное государство держится на таких людях.

Григорий Рапота
Государственный секретарь
Союзного государства

Оглавление

12 / Боль	162 / Что помнит мир спасенный
15 / Две даты	165 / Про пафос
19 / По-людски, по-человечески	170 / Простить?
23 / Размышления о природе	173 / Просто убитые
27 / За что нас хвалить. За что нас жалеть	177 / Раненые
30 / Забытые солдаты	181 / Уходя в небо
33 / Звезды в небе, звездочки в земле	186 / Рота
38 / Знамя	192 / Поисковики
43 / Ключи	196 / Рядовой
48 / Когда закончится война?	200 / Солдатский медальон
52 / Туман	203 / Сорокапятка
56 / Офицер	206 / Холод
60 / Победоносцы и потомки победителей	210 / Потери
64 / Похороны по праздникам	217 / Эдик
68 / Ангел смерти	221 / Энергия и инерция войны
73 / С Христом в партбилете	225 / 46-й
76 / Три свечи	229 / Баня
80 / Сытые	235 / Болото
84 / Точка, ставшая многоточием	239 / В тылу врага
86 / Человек	242 / Ватник и совки
90 / Земные чувства	247 / Воронка
95 / Яма	251 / Всепрощение и всепрощатели
99 / 9 Мая	254 / Голоса
102 / Вещмешок	258 / Горящие камни
106 / А я бы смог?	263 / Хватит жить прошлым
110 / Предатели	267 / Как танк в школу ходил
114 / Главная находка	271 / Стали просто землей и травой
118 / Год Памяти и Славы	274 / Незащищенные
122 / История и география	277 / Шли бы они лесом
127 / Долг	282 / Поляна
130 / Как приходит война	287 / Чаёк
135 / Поиграем в блокаду	291 / Товарищ Орлов
140 / Квестэссенция	296 / Товарищ Савельев
143 / Мужское и женское	300 / Товарищ Степанов
147 / Пока горит огонь	305 / Федька-полтергейст
151 / Жить в полную грудь	314 / Ржев
154 / Родные стены	
158 / Одиночество	

От автора

Все что вы прочитали в этой книге, родилось и было осмыслено благодаря моим товарищам, моим друзьям, которым я бы хотел сказать спасибо.

Олег Иликович Титберия — создатель и руководитель Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, Александр Николаевич Орлов — бессменный командир поискового отряда «Гвардия», Сергей Николаевич Степанов, Александр Владимирович Савельев — «ветераны»-бойцы поискового отряда «Гвардия», Алексей Владимирович Буравлев — начальник штаба поисковой экспедиции Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа.

Артур Валерьевич Ольховский — руководитель Тюменского областного поискового центра и его воспитанники. Самому близкому моему человеку — Анне Сергеевне Тотмяниной — хранителю и первому моему редактору. И, конечно, отдельное спасибо руководству Постоянного Комитета Союзного государства — за то, что записки стали книгой.

Сергей Мачинский



Боль

Скалы. Поросшие мхом, в серых потеках воды, огромные каменные стены, местами они просто вертикально уходят в туман. Как, когтями зацепились за них редкие сосны на пологих склонах и вершинах. Вольготно уселись в низинах и перепадах более везучие деревья. И здесь вечная философия жизни: кому повезло, кому нет. Одно семечко зацепилось за каменистый склон, и вся жизнь — борьба с ветром, камнем, непогодой. Кривой, скрученный ствол, ветви в одну сторону. А другое — медленно упало во влажный перегиб низины. Стройная, с высокой шапкой ровненьких веток, но пила лесоруба делает правильный выбор.

Скалы всё время о чем-то шумят. Ветром в кронах деревьев, течением ручейка, в дождь превращающего в водопад. Шелестом или грохотом одинокого скатившегося камушка или рекой камнепада. До человека двадцать верст и следов нашего, людского пребывания здесь — только старая лесовозная дорога, а через пару километров и вообще дико. Поистине чужеродно вы-

глядит здесь груда, в несколько тонн, искореженного дюрала, в котором только человек понимающий сможет опознать обломки погибшего самолета. Серебряным застывшим ручьем под листьями расплавившийся в адском огне, будто вчера, алюминий. Как сломанные ноги, подломленные стойки шасси. Рвань плоскостей с выцветшими красными звездами.

Склон оживает. Как муравьи, люди переносят железо с места на место. Что-то перебирают, рассматривают. Во время перекура большей частью тишина и мысли, в которых вспышки. Зимний аэродром, рев моторов. В морозной дымке такие неуклюжие на земле бомбардировщики, как сытые большие жуки, выстраиваются на рулежке и, смешно подпрыгивая и переваливаясь на неровностях грунтовой полосы, нутужно ревя на разгоне моторами, гася свет бортовых огней, исчезают в тумане. Зеленоватый, какой-то инопланетный свет приборов в кабине. Заиндевелый плексиглас кабины, пар, вырывающийся изо рта. Покрытые сединой иная вороненные стволы пулеметов, тихий писк морзянки в наушниках шлемофона. Молодой пилот, сосредоточенно вглядывающийся в затянутое пеленой тумана небо. Штурман, красными от мороза пальцами перемещающий части логарифмической линейки и переносящий расчеты на карту. Стрелок, перебирающий тускло блестящую золотом начищенной латуни пулеметную ленту.

Облака обступают, будто повисают на обледенелых плоскостях машины. Темнеющее небо вокруг начинает швырять заряды снега навстречу, будто прогоняя людей. Самолет, кажется, зависает в невесомости темных облаков, и его движение перестает ощущаться. Кивок штурвала вперед, еще, еще, ниже, ниже, чтобы пробить толщу облаков и зацепиться взглядом усталых глаз за землю. Медленное дерганое движение зеленой стрелки высотомера на уменьшение. И вдруг взгляд выхватывает впереди серую стену камней. Резкое движение на себя, взывают моторы, скрежет плоскостей о ветви деревьев, чудовищный удар, вспышка и... Что там, за этой чертой, я не знаю.

Видение отступает, остается лишь тупая ноющая боль. Откуда она? Мне кажется, все места, где лежат погиб-

шие и долгое время числившиеся пропавшими без вести люди, — это капища Боли, устроенные Смертью. Почему? Потому что, неся в себе боль погибших, оно долго питается болью живых. Почему мы плачем, когда провожаем в последний путь близкого человека? Потому что это нам больно, больно, что его нет рядом с нами, мы жалеем себя, ведь ему, ушедшему, уже всё равно, и он, я очень надеюсь на это, в другом, лучшем мире. Со временем мы это осознаем и наша боль утихает, переходя в память или канув в небытие, забытая за ежедневными делами и проблемами живых.

А боль от известия, что пропал без вести? Вот же дьявольская штука. Она жива, пока жива память живых людей. Она бережит рану, раз за разом подкидывая версии: в плену, ранен, покалечен, лишился памяти, уехал за границу и там остался, — да что угодно, вплоть до похищения инопланетянами. И эта боль многократно, от количества людей близких и любящих пропавшего. Она передается по наследству, от отца к сыну. С его рассказами о пропавшем и пожелтевшими фотографиями в старом семейном альбоме. Боль роится вокруг старых окопов, стрелковых ячеек, воронок. Этой болью просто пропитались сгоревшие обломки танков и самолетов. И на нашей земле еще десятки этих капищ, собирающих чужую боль. И если плюнули, отмахнулись от боли внуки, это не значит, что потухнет боль. Она, может, разгорится в правнуках или праправнуках, которые забудут отмахнувшихся от своей боли родителей и будут искать свое капище. Только упокоение, память и должное почтение павших за нас могут уничтожить эти стуски, эти метки боли на нашей земле.

Странный парадокс: так, может, она и нам нужна, эта боль, чтобы хранить память о павших? Я не знаю. Очень всё сложно. Но тогда, наверное, эта боль должна быть общей. Ее должны испытывать все, от Президента до первоклашки. Поделив эту боль и оставшись людьми, мы сможем не допустить появления новых капищ, новых серых, порождающих вечную боль извещений с записью, похожей на приговор сильным и как толчок к предательству слабым, — «Пропал без вести».



Две даты

Больше месяца назад отгремел День Победы. Отстучал солдатскими ботинками и отлязгал гусеницами танков Парад на Красной площади. Отгремели салюты. Отмолчал, отплакал Бессмертный полк. Праздничная эйфория, охватившая страну, утихла. Съедены колбасы и сосиски, украшенные символами Победы. А что, хороший же маркетинговый ход? Выпита водка с Георгиевскими лентами на горлышках. Ведь круто напиться именно такой «патриотической» водкой, а хозяину — прибыль.

Сами Георгиевские ленточки пообтрепались и почернели, забытые хозяевами на антеннах и решетках радиаторов иностранных машин. А наверное, правильно они почернели, превращаясь неволей в траурные ленты к 22 июня. Завяли цветы, посерели от лесной пыли венки на тихих солдатских могилах. И только по ночам, в тишине светятся огоньки самокруток и папирос их обитателей, тихо глядящих на звезды и задумчиво, с досадой вздыхающих, глядя на дела и свершения своих потомков.

А может, это просто светлячки мечутся в листве сирени, склонившейся над оградой с облупившейся краской? Как знать. Может, и так. А может, и нет. Может, смотрит оттуда, из небытия, молодой сержант, в клочья разорванный немецкой миной под Гайтоловом или Брестом, Лугой и Мясным Бором, Ржевом или Зубцовом. Смотрит на сво-

его внука на здоровой черной машине с яркой надписью «1941—1945. Если надо повторим!» и думает: что же он повторить-то хочет? Тот разрыв мины, разметавший сержанта в кровавую пыль? Или чтобы такая же мина, только не немецкого, а другого производства, разметала лет через двадцать его сына, который встанет в атаку, примкнув магазин к АК? Что повторить-то? Кровь, смерть, потери четырех лет войны?

Ведь День Победы один, а до этого тысячи дней боли, потерь и смерти. Просто царство смерти на нашей земле. Через несколько дней мы тихо, больше незаметно отметим самую страшную для нас дату 22 июня — День начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби... Будем ли мы скорбеть? Да, но немногие. Остальные за заботами и отсутствием ажиотажа СМИ и не вспомнят об этом дне.

Мы научились праздновать, но разучились скорбеть. Мы заигрались в войну, превращая ее в шоу и видя в ней только Победу. Мы разучились чувствовать потери. Чему мы учим своих детей? Новомодное слово «квест» — захватывающая, веселая игра «Сталинградская битва», «Битва за Берлин», «Форсирование Одера». Подростки и молодежь весело «бомбят» теннисными шариками дома из кубиков и получают за попадания яркие медали.

Это что? Мне говорят, что только так можно привлечь внимание молодежи. Ну так вперед, на квест «Мясной Бор»: три месяца в весеннее болото в валенках, грызть кору с деревьев и варить ботинки и ремни, а это так, в тишине и без обстрелов, бомбежек и боев, вышел — получи медаль на грудь и красочный диплом участника. Или квест «Аджимушкай»: полгода во тьме каменоломен без воды и еды, а выжил — орден, и это с ограничениями: без газов и подрывов.

Что? Чушь? А не чушь играть в Победу, за которую цену заплатили другие? Молодежь нужно учить сострадать! Почему мы плачем на похоронах близкого нам человека? Мы жалеем не его, мы жалеем себя. Это нам стало без него плохо, и мы чувствуем боль потери. Почему поисковики плачут на могилах, казалось бы, чужих им

людей? Потому что они страдают, потому что те погибшие для них все родные! Потому что они не разучились сострадать. Мы должны научить молодежь чувствовать ту боль. Должны добиться, чтобы боль того сержанта, разорванного миной, стала их болью. А это невозможно сделать праздничными реляциями и квестами. Это надо дать почувствовать... Через страх и грязь дать понять и осознать те потери и ту боль ими перенесенную. Зачем? Да затем, чтобы больше всего они боялись Войны! Не встать в строй, защищая свою Родину, а именно бояться того, чтобы эта война началась. Мы должны дать им понять, что война может нагрянуть неожиданно, страшно и кроваво. Мы должны им объяснить, что она не начнется, если страна, где они живут, где потом будут жить их дети, будет сильной!

Сильной духовно, экономически, сильной в военном отношении, и это в их руках. В их руках, если не быть равнодушными и черствыми, если не жить для себя, а служить своей стране, служить ее интересам. Как это сделать? Вспомнить о начале той войны. Вспомнить о тех ошибках, которые допустили наши деды, вспомнить о той цене которую Они, а не мы за те ошибки заплатили. Дать им возможность прочувствовать боль от этой платы, боль потерь.

Играть с молодежью в Победу страшно, потому что за торжеством Победы они видят только блеск орденов и медалей Победителей и не замечают тихой тишины тысяч братских могил. Они видят себя, возвратившихся с победой в блестящих доспехах. И не видят себя в изодранной гимнастерке с последней гранатой в руке против взвода вражеских танков. Не чувствуют удушливого черного дыма и запаха сгорающего человеческого тела, облитого солярой из лопнувшего бака подбитого танка. Для них вся война становится игрой в Победу. И будут ли они готовы, если, не дай Бог, придется завоевывать эту Победу? Смогут ли они жить так, чтобы не допустить войны? Или будут считать, что достаточно выпить водки с Георгиевской лентой на горлышке, проорать «ура!» под победный салют, написать на своей машине «Спасибо деду за Победу!»

и «Если надо — повторим!»? А дальше? Может, они встанут и повторят? Может, кто-то другой, кому это положено или кому это надо, если что, и повторит, и защитит? Готовы ли мы сами? Не знаю...

Через несколько дней 22 июня. Вспомните ту цену, которую Они заплатили за 9 Мая! Почувствуйте боль потерь, а главное — дайте своим детям ее почувствовать. Расскажите им об их предках, расскажите о том, какими Они были прекрасными людьми, дайте им почувствовать, что из-за той войны они потеряли близкого, родного человека! И тогда боль в каждой семье станет ощутимей, и именно эта живая, пульсирующая человеческая боль не даст новой войне начаться.



По-людски, по-человечески

Солнце в зените. Жара дрожащим маревом поднимается от дорожной пыли и, ломая солнечные лучи, создает нереальную киношную картинку вдали. Дорога, разбитая сотнями, тысячами пар колес и лентами гусениц, петляя, бежит вперед, к фронту. Поле слева придает картине еще больше заброшенности и потусторонности. Лунные кратеры воронок. Изломанные полосы траншей, ходов сообщения, отсечных позиций, разбитые снарядами и минами накаты блиндажей и землянок, сломанными ребрами бревен торчат в осыпи земли. Обрывки колючей проволоки, спирали Бруно. Разноцветные провода оборванных линий связи — как перерезанные нервы, наши, немецкие. Черные глыбы подбитых танков и бронемашин. Только по силуэтам можно определить, где чьи, — все они черные. Развороченные лафеты орудий раскинутыми ногами станин в небо. Россыпи потускневших гильз: от огромных артиллерийских до маленьких пистолетных — песком войны покрывают землю.

Поле боя. Тишина. Дрожащее марево. И запах. Тяжелый трупный запах в дрожащем мареве. Липкий, удушающий запах смерти. Вонь сгоревшего пороха и взрывчатки, горячей земли и сгоревшей резины. Запах металла и запах разлагающихся, сгоревших, разорванных железом человеческих тел.

По дороге, опустив голову, трофейный хромой артиллерийский битюг тащил скрипучую, трофейную же повозку на резиновом ходу. В повозке, на куче лопат, сидели пожилые солдаты в выцвевших почти добела гимнастерках. Рядом с телегой, прихрамывая, но с прямой как стена, спиной, в которой читалась явно довоенная строевая выправка, шел старшина. Одинокaя медаль «За отвагу» на старой прямоугольной колодке. Лицо старшины тоже похоже на лицо войны. Правая сторона лица обожжена, глаз закрыт черной повязкой. А левая была лицом молодого человека с очень взрослым, как будто присыпанным пеплом, взглядом. Он горел в танке в самом начале войны под Белостоком. Когда их полк, тающий каждый день на глазах, сдерживал немецкие орды у границы. Когда он и его товарищи на летящих факелах легких БТ таранили немецкие танки, чтобы хоть на секунду остановить их железную лаву. Потом долгий путь из окружения. Ему повезло. Его вынесли. Вынесли незнакомые люди. Нашли обгоревшего на таком же поле и понесли. Санбат мечущейся с позиции на позицию дивизии. Санпоезд с ревом гудка паровоза, воплем воющий о воздушной тревоге. Дыры от пуль и снарядов «мессеров» в крыше. И тихий тыловой госпиталь. Затем приговор «не годен к строевой», и как чудо, случайно нашедшая его в госпитале, медаль. Она или присыпанный пеплом войны взгляд единственного глаза чудом уцелевшего человека, навсегда изуродованного войной, смогли убедить главврача госпиталя?

Его оставили в армии, направив в тыловую часть. А оттуда он ушел на фронт, сюда, в похоронную команду. Идти ему было некуда. Родная деревня под немцем. Все его подчиненные различались только возрастом, а судьбы у всех почти одинаковые.

Покалеченные войной, физически и морально ею не добытые, они хоронили убитых. Как могли отдавали им последнюю человеческую дань. Последний долг. Скрипнув, телега остановилась у передней траншеи. Солдаты слезли, разобрали лопаты. Старшина рукой с кожаным протезом-перчаткой показал на пупок лысого буторка у края поля: «Там, мужики. Там им посуше будет и людям повиднее!» Часть ушла копать

могилу, часть похоронщиков разбрелась по полю. В звенящей тишине началась скорбная работа, прерываемая лишь редкими разговорами занятых делом людей: «Вишь как лейтенанта раздуло, дня три на солнце, аж ремни врезались», «Смотри, вон из люка мехвод выпал. Да вот так его скукожило, от огня тело усыхает», «Блиндаж раскапывать надо, вон нога в офицерском сапоге торчит».

На закате они собрались у свежезакопанной могилы. Черным прямоугольником еще не высохшей на солнце земли, протянувшейся через весь пригорок, и молча постояв у ног погибших, сели у солдатского стола. Пара банок тушенки, обшарпанная алюминиевая фляга с медицинским спиртом, луковицы, хлеб. Старшина наполнил кружки. Одну, накрытую куском черного хлеба поставил на могилу. Им теперь на всех одной хватит. Сто два человека и их живых десять. Одно Белорусское поле и сто две жизни. Вспомнят ли о них? Будут ли внуки стоять у этой могилы через сто лет? Он не знал. Выпили не чокаясь. Хрустнули луковицами, а глаза сырые. Огненно-красный шар солнца. Красные, в отблесках последних лучей лица. Красная, как кровь, водка в солдатских кружках. Присыпанные пеплом глаза.

Тонкая детская ручка нежно гладит щеку старика. Щеку, изувеченную ожогом войны. С любопытством и страхом детские глаза заглядывают в неживой, смотрящий в одну точку стеклянный глаз. «Больно, деда?» — «Да нет, маленькая, уже давно нет!» Из другого, присыпанного пеплом живого глаза слеза. По руслу морщин, на вытертую до зеркального блеска одинокую медаль «За отвагу».

— Деда, а ты герой?

— Что ты, милая. Я солдат.

— Ну ты же воевал?

— Да нет, родная, я людей хоронил, как мог, по-людски чтоб, по-человечески. Долг за себя и за тебя им отдавал.

Старая, заросшая дорога. Деревья, склонив кроны, как туннелем, закрывают ее от голубого неба. Тишина. Ржавые остовы разбитых машин. Сгнившие доски торчащих тут и там зеленых ящиков. Обрывки рыжей, скрюченной колючей проволоки. Молодой мужчина в серой кепке и черном ватнике. В высоких охотничьих сапогах с мелкими

кругляшками резиновых латок. За ним пожилая женщина. Тоже в резиновых сапогах и такой неуместной в этой глуши городской одежде. Затянутая изумрудной ряской черная от болотной воды воронка. «Здесь он. С краюшку вон, у пенька лежит. У него я медальон нашел», — обернувшись к женщине, говорит парень. Женщина, не обращая внимания на грязь и болотную жижу, встает на колени. Полы чистого бежевого плаща погружаются в черную воду. Трясущиеся руки по-собачьи быстро рвут, отбрасывая, мох. Стрелянные гильзы, бронзовые карандаши гранатных запалов. Черные полоски веточками — ребра. Пуговка на истлевшем кармане и луковица мигнувших серебром часов. Выдох, будто вся земля выдохнула разом: «Сынок!» И стон, стон, в котором долгие месяцы, а затем годы неизвестности и боли. Стон боли и облегчения: «Сынок!» Эти часы она подарила ему у вагона. Вагона, в котором пели веселые военные песни сотни таких же молодых парней. Он стоял и молчал, глядя на нее враз повзрослевшими глазами.

Похороны на кладбище в Мясном Бору. Стройный залп салюта. Приспущенный алый в красном восходе флаг. И паренек в серой кепке, скромно стоящий прислонившись к стволу молодой березы.

— Николай, ну что же вы не прошли к могиле?

— Да что вы. Что мне там делать? Я и так знаю, что я им должен.

Огромный красивый мемориал. Трибуна с микрофоном и флагами. Люди с траурными лицами на трибуне. Почетный караул в каре у трибуны. Строй людей в военной и полувоенной форме. Блеск наград. И странный, удивленный вопрос однорукого старика с тремя выцветшими планками на аккуратном старом пиджаке со смешным огромным воротником: «Они что, все воевали?»

Речи, суровые лица, важные слова, гимн. А сзади за строем, за спинами живых в ряд алым строем гробы. Сто два человека. Ради которых вся эта красота. Не влезли на плац по протоколу. Им-то уже всё равно, и там постоят. У нас Долг! Здорово, красиво, по протоколу. Только главное за всей красотой — долг перед мертвыми, с долгом перед собой не спутать. Нет в Долге перед мертвыми мелочей, они за всё спросят.



Размышления о природе

*Если мяса с ножа ты не ел ни куска,
Если руки сложа наблюдал свысока
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом —
Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем!*

Владимир Высоцкий

Мой друг мне сказал, что тексты мои все начинаются шаблонно, с описания природы. Сказал, что надо бы начать с чего-то другого диалога рассуждения. Почему я описываю природу? Ведь я здравомыслящий человек и понимаю, что в окопах на фронте бойцам было не до любования красотами лесов, полей и рек. И вставали они из траншей, видя лишь вспышки выстрелов из вражеских окопов. И думали об одном, — наверное, чтобы в этот раз пуля миновала. Но в распахнутых глазах убитых всё равно отражалось небо. Мы собираем эти взгляды. И я хочу их передать вам. В них, в этих застывших навсегда глазах, голубое небо Севастополя; серое, в тумане и пелене дождя небо Ленинграда; синее, в обрамлении вековых сосен небо Карелии; бездонное, после тьмы катакомб, небо Аджимушкай. Последнее, что видели их глаза, — это небо над их Родиной. Как, не описав, передать то, что нам досталось? Ту красоту, только глядя на которую можно понять, чего они добровольно себя лишили, ради нас встав под пули. Как не рассказать

вам о блестящем, белом покрывале снега на Замошском болоте у Мясного Бора? Как промолчать о тишине среди мелких болотных сосен? о треске костра, шорохе тающего в закопченном котелке снега? о весеннем солнце, делающем своими лучами и голубое небо золотым? Как пройти мимо запаха костра? дыма, режущего глаза, когда то ли мысли, то ли дым выбивают слезы?

Воронки, воронки, искалеченные войной старые сосны, мины, стреляные орудийные гильзы — всё скрыто блестящим иссиня-белым покрывалом снега. Но ты знаешь, там, внизу, до сих пор война. Там, под снегом, изумрудным мхом и черной водой, сотни глаз, и в них — небо.

Мы ушли в города и видим только стену соседнего дома или рекламный щит из окна своей кельи. Мы добровольно заключили себя в эту тюрьму. Мы окружили себя кучей вроде бы нужных и важных вещей, которые сделали нас своими рабами, а мы и не заметили этого. Или не захотели заметить. Большинство из нас, уходя, в своем последнем взоре оставит не голубое небо, не тревожный, со слезами отчаяния и боли взгляд боевого товарища на фоне качающихся берез. В лучшем случае это будет белый потолок больничной палаты или новомодная люстра на потолке своей кельи-камеры-квартиры. А они уходили спокойно: по-мужски, по-солдатски, их провожала родная земля. Их кровь до последнего бурлила в жилах праведным гневом, силой духа и ненавистью к врагам. И женщины их были женщинами! Даже на фронте оставаясь прекрасными. Даже в бою, рядом с настоящими мужчинами, зачастую вытаскивая этих мужчин из-под огня, они оставались Женщинами. А в нас? В нас скисла кровь! Мы не видим красоты. Красоты своей страны. Мы не хотим вдохнуть запах костра, смешанный с запахом мужского пота после хорошо проделанной работы, выступившего на выцвевшей гимнастерке. Мы променяли и продолжаем менять. Тихий восход над черной водой лесной речки и первые утренние трели соловья в зарослях старых плакучих ив — на «всё включено» в турецком отеле с искусственным бассейном и сковородкой пляжного лежака у чужого солнца. Какие мысли придут там в голову? Да, мысли о выпить и пожрать.

Забарыжить денег побольше, чтобы в следующий раз заказать отель покруче. Мы променяли на холодный экран монитора, с редкими сообщениями типа «Как дела?», настоящую мужскую дружбу. Долг жертвовать ради друга жизнью — на дать денег взаймы под проценты. Вечер с тихими песнями у яркого костра в сосновом бору — на пьяный кутеж в финской сауне раз в год.

И нашим женщинам приходится или стать такими же, или занять место мужчин. В работе, политике, дома. При чем тут природа скажете вы? А при том, что, только почувствовав красоту своей земли, увидев ее, открыв свои глаза, смыв с них пелену «барахлянства», можно почувствовать себя мужчиной и дать возможность женщине быть слабой. Сидеть у костра и смотреть на огонь, пока ее мужчина дает пищу этому костру. Только здесь, где тысячи настоящих мужчин последний раз увидели небо, в тишине мерно качающихся крон вековых сосен, стройных берез, хмурых скал или зеленых трав, можно почувствовать что-то исконно русское. Древнее, дикое, от чего бежит в панике и отрешивается сейчас весь мир. Что-то истинно человеческое, мужское и женское. Мраморно-стойкое и прекрасное непередаваемое нечто. Не аляповато-радужное, со смещением и баламутством, с кривляющейся дьявольской путаницей бородатых «женщиномужчин», а настоящее, данное свыше. Путано, наверно? Может быть. Но я уверен, что красивые, высаженные в ряд леса и парки Европы не всколыхнут столько, пусть и сумбурных, мыслей ни в одной голове. Только наша, русская, дикая, прекрасная природа во всех ее проявлениях способна на это. Только здесь, рядом с сотнями давно закрытых глаз ее защитников, тех, кто не оставил ее врагу на поругание, можно думать о Вечном. Только здесь, среди их душ и взглядов, можно хотя бы попытаться стать лучше. Хоть на шаг приблизиться к их Памяти и постараться искупить свою перед ними вину. В чем вина наша? — спросят многие. В беспамятстве. В добровольном отказе от корней. В нежелании помнить, видеть, чувствовать, сопереживать и любить. Не по писаному, не красиво и напоказ, а по-настоящему, как это делали они. Так,

чтобы за друга — под пулю, за любимую — на эшафот, за Родину — на штыки.

Это не лозунги и не громкие слова, так было всего лишь семьдесят лет назад. Бывает и сейчас. Нет в этом пафоса, в этом есть истинный смысл настоящей человеческой жизни. Который мы теряем и которого стали стесняться, спрятав свои чувства в свои кошельки. И человек, нет, не я, любой, даже близкий нам человек, говорящий нам о, казалось бы, простых истинах, кажется нам ненормальным или лицемером. Может, потому, что так нам проще оправдать себя? Осознать это может помочь природа, потому что она не притворяется, она прекрасна такой, какой создана.



За что нас хвалить. За что нас жалеть

Наступила весна. Скоро сойдет снег, и поисковые отряды, группы, поисковики-одиночки заступят на свою Вахту. Уже ударили по брусчатке солдатские берцы, и скрипнули гусеницы танков, готовясь к Параду Победы. Уже нахмурились брови чиновников и наморщились лбы руководителей в мыслях о подготовке к главному празднику страны. Соцсети запестрели красными гвоздиками и Георгиевскими лентами. Опять замелькал известный лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто». Всё чаще, как разгоняющийся маховик, к празднику полились хвалебные оды поисковикам от руководителей и от простых, добрых и хороших людей. От одних потому, что так надо, от других — от сердца. Мужественные люди, солдаты памяти, хранители истории — множество приятных и красивых эпитетов. В нечеловеческих условиях, в лесах, болотах и полях, не считаясь с личным временем, оставив семьи и дома. Прямо выдержки из наградных реляций.

Не надо этого! Не нужно нам столько. Не нужно, потому что это неправда, ну или не совсем правда. Мы не му-

чаемся! Нам в кайф! Мы едем в леса и болота потому, что нам это надо! Нам надо это как воздух, как солнце, как жизнь. Любые болота и леса для нас лучше всяких курортов. Там наши друзья! Там мы дома. И пусть есть какие-то бытовые неудобства, типа лесного туалета или промокших за день сапог и курток, но это с лихвой компенсируется вечерним разговором у костра на краю воронки, где днем ты нашел солдата. Все видимые неудобства — ерунда, если в руках оказывается истлевшая записка в черном пенале медальона.

Здесь наш дом! Нам сложнее жить в городах. И мы жалеем простых людей. У которых работа — дом — работа. По пятницам — клуб или ресторан, в субботу — сон и день у экрана монитора, а воскресенье убито ожиданием понедельника. Нам искренне не понять человека, весь год складывающего в кубышку на двухнедельный отрыв в Турции или Египте. У нас есть вся Россия. Здесь наши друзья и наши предки. Мы не отрываемся от семей, у большинства из нас и семьи здесь, а если и остаются дома наши жены и мужья, то ждут нас, как ждали тогда с фронта. Мы здесь, в лесах, полях и болотах, потому, что тот Долг, о котором всё чаще вспоминают к 9 Мая, мы ощущаем физически. И если остаться дома и плюнуть на всё, он нас сожрет, этот Долг. Нам важно для своего спокойствия и спокойного сна его возвращать. Мы лучше спим в промерзших палатках. Потому что здесь нам не снятся сны. Сны о той войне. Нам не видятся белые пятна лиц в касках и пилотках. Мы не мотаем час за часом хронику, военные карты и донесения, как это происходит с нами в теплых квартирах. Здесь мы валимся на лапник у костра и спим после хорошо выполненной работы, чтобы набраться сил и утром снова на войну. Нас не нужно хвалить, потому что мы тоже люди. Потому что мы начинаем бронзоветь. Начинаем увешиваться медалями, хмурить брови на трибунах и парадах. Начинаем давить слезу на траурных мероприятиях, и это уже не горькая, настоящая слеза, это дежурная слеза. И уже нет той твоей настоящей боли, той одинокой то ли болотной соленой капли, то ли слезы над пустыми глазницами в воронке. Нас не нужно считать героями нашего времени, по-

тому что мы начинаем тоже так считать. Мы не герои. Герои идут в первой цепи на вражескую траншею, примкнув штыки на пулеметные трассы. А мы? Мы даже не второй эшелон, мы похоронная команда, трофейщики, мы замыкающие. И мы сами выбрали этот путь. Выбрали, чтобы хоть немного успокоить свою совесть.

За что нас жалеть? За то, что вместо пыльного городского утра, с шумом и ревом машин, с матом и руганью в маршрутках и метро мы просыпаемся под шелест дождя и запах приготовленного настоящим другом крепкого чая из чистой родниковой воды? За то, что первое, что ты слышишь утром, не вопль телевизора, а «доброе утро, брат! Чайку»? За что нас жалеть? За то, что хоть несколько раз в год, вместо пыльного офиса и опостылевшего монитора, мы смотрим на поднимающееся над лесом солнце и его лучи на блестящей глади тихой русской реки? За то, что вместо изнуряющих мыслей, куда поехать отдохнуть — на Кипр или на Бали, мы просто садимся и едем в Вороново, Синявино, Мясной Бор? За то, что, оказавшись в любом конце огромной страны, мы можем просто позвонить и сказать: «Я приехал, друг»? И вот вы счастливы вдвоем. И маленькая кухня превращается в блиндаж, штаб.

Нас можно пожалеть только за то, что вы еще не с нами. За то, что нас не так много. За то, что иногда, возвращая утраченное имя, мы от вас слышим: «Ну и что? Старики умерли, а я ничего не знаю и знать не хочу». За то, что ты чувствуешь тогда и его боль. Боль преданного потомками, брошенного человека. Нас можно пожалеть за то, что иногда друг, встав на воздвигнутый вами пьедестал, уже не может с него сойти и остается там, на трибуне, среди фальшивых слов и негорьких слез.

Нас можно пожалеть за то, что наше дело, оно большей частью пока так и остается нашим, а не делом всей страны. У нашего костра еще очень много свободных мест. Не хвалите нас и не жалейте. Мы на своем месте, мы в своем строю. Пожалейте себя, что вы не с нами. И помните о тех, ради кого мы это делаем.



Забытые солдаты

День Неизвестного солдата. Хорошо, что в календаре страны появился такой день. Хорошо для молодежи, для страны, для истории. Только вот опять до конца ли мы честны? Были ли честны тогда, давно записав их в неизвестные и сейчас отмечая эту дату? А ведь подумать. Как так — неизвестный? Как он стал им, Неизвестным? Что это такое вообще — «безвестие»? Вот лежит он передо мной в оплывшей ячейке, листвой и песочком засыпанный, ноги к подбородку пождав, — Человек! И я-то понимаю, что имя есть у него: имя, отчество, фамилия, дата рождения и дата смерти. И знают всё это где-то далеко, там, высоко, и он знает. И ждали, и, может, до сих пор ждут где-то его. А просто я, бестолковый, не могу у него имени спросить и «соплю» черную в медальоне, от записки его оставшуюся, прочитывать. Не могу с глубинами космоса связаться, и имя его Великое востребовать. Но могу я понять и осознать, что даже для меня он не неизвестный. Вот он передо мной.

Как же? Это же не черная дыра в ржавой каске на меня черными провалами глаз поглядывает. Не неизвестные

они, они — забытые! Кем-то когда-то забытые! Да, забытые тогда, на поле боя оставленные, непохороненные и похороненные. Забытые, а после тракторами на полях запаханые. Сейчас забытые правнуками, которым и не шибко их далекие пращуры интересны. Да, забытые. Ведь кто-то же винтовочку у него тогда забрал? Да, может, и не прошел тот далеко и рядом упал, но кто-то же след его земной видел? Ведь пер тракторист, быть может и слезами умываясь, но пер плугом их кости по полям, с перегноем мешая. Тогда им имя придумали — «Неизвестный солдат», проще так было. Так тогда удобнее было. Дел много других навалилось. Но и дальше не многое изменилось.

Поспрашивали мы бабушек-дедушек, где, мол, кто у нас на войне сгинул, услышали их скорбное «пропал без вести» и успокоились. А записочка в медальоне в это время в ту черную соплю и превращалась, когда всего лишь десятки, позже сотни сумасшедших по лесам бродить начали, своих и чужих выискивая. Те, кто не забыл и забыть не хотел. И ведь находили и своих, и чужих. Сотнями, тысячами хоронили. Только вот двери архивов и кабинетов перед ними тогда закрыты были строжайшей тайной и политической волей. Так и хоронили, как могли, под счет. Сейчас всё по-другому — иди, читай, ищи, и вроде как в лесах и полях народу прибавилось. А опять как-то недоделанно получается.

Вот стоит передо мной среди траншей и воронок, снегом присыпанных, обелиск простенький и надпись незабвенная: «Вечная память Погибшим Защитникам Отечества» — и дальше воинам такого-то стрелкового полка. А кто там? Сотни там Иванов, Петров, Семенов, Рустамов и Алишеров. И есть у них по всей стране тысячи внуков, правнуков, племянников внучатых и невесток. А памятник-чек-то покосился совсем, и тропа к нему заросла. Так что ж они неизвестные? Да нет же, забытые они солдаты. И ведь памятникчиков таких по стране тысячи, и неизвестными их уже мы делаем. Всё на власть и «сумасшедших», что по лесам бродят, надеемся. То денег, то времени нет поискать, найти пусть хоть район, область, фронт, где погиб, пропал, найти, приехать, выбрать могилу братскую, поклониться да детям своим передать, чтоб кланялись.

А вот у солдатики, что в жижице болотной землю обнял, руки раскинув, и записочка в футлярчике бакелитовом сохранилась, и настучали на клавиатурах люди неравнодушные адресок заветный, и полетела весть радостная, а там вопрос недоуменный: «И что? Не знаем мы, да, брат был у бабушки, да, пропал на войне. Но бабушка-то померла давно, а он бестолочь всё по каким-то стройкам до войны катался, семьей не обзавелся. А мы и знать не знаем. Зачем нам это?» И еще одна циферка на могилке изменилась, и ухнуло имя Сергея Петровича Иванова в черную дыру, «Неизвестный солдат» называемую.

Какой же он неизвестный? Преданный он теперь. Преданный и забытый стал. За неизвестность мы, потомки, отвечаем, и дальше наши внуки отвечать будут. Неизвестность! Не бывает ее в принципе, не живет и не умирает человек без имени. Забывают о нем — это да! Потому радуют меня портретики маленькие, самодельные, на братских могилах появляющиеся. Вот же они, вижу глаза их — нет тут неизвестных. Радует, что больше и больше в самых отдаленных местах их портретиков появляется. А те, кто всё без имени под пирамидками и по болотам и воронкам обретаются, — те не неизвестные, они забытые. Не вспомнили про них, не пришло время, наверное, не пришли к ним и имени не назвали. И не кто-то это сделать должен, а тот в семье, кому небезразлично, что помнить решил и вернуть из забытых. Неизвестный — это в масштабах страны, наверное, допустимо. А в масштабах личной своей совести, каждого лично, не может этого быть: мы же близких своих ушедших неизвестными не считаем? А солдаты, они же тоже чьи-то близкие. В масштабе себя одного любимого, в масштабе своей семьи тут или преданные, или забытые, или навечно почитаемые, но не просто на словах, красиво, а делами своими.



Звезды в небе, звездочки в земле

В апреле этого года на местах боев и трагической гибели 2-й Ударной армии прошла экспедиция «Могилы прадедов».

В ходе поисковых работы обнаружены останки 29 человек и места гибели двух самолетов У-2, на одном из них — останки одного летчика, имя пока не установлено.

Ночной полк, ночной бомбардировщик, ночной аэродром. Вся его жизнь с началом войны стала связана с ночью. Они все: летчики, штурманы, механики стали похожи на сов. С наступлением темноты они начинали свою трудную, смертельно опасную работу. Он полюбил ночь. Ее тишину, несуетность, ее черное бархатное небо. Словно тонкими иглами звезд исколот черный бархат занавеса, за которым что-то неизвестное, вечное.

Стороннему человеку движение разбуженного в ночи прифронтового аэродрома могло бы показаться бестол-

ковой суетой, но это четко отлаженный механизм. Он любил эту суету, ведь за ней небо и свист ветра в расчалках крыльев и звезды, ставшие ближе. Пакет в планшет, резкий проворот винта, выстрелы мотора, огненные выхлопы из патрубков и четкое, сытое урчание мотора. «Кукурузник», он по привычке погладил внешний борт кабины своей пусть не могучей, пусть не такой грозной, как штурмовики, но такой родной машины. Молодой красивый парень натянул до глаз черную кротовую маску, опустил на глаза тяжелые очки-консервы и враз превратился в ночное привидение. Так по всей Земле ежеминутно Война превращала людей или в исчадие Ада или в ангелов, этот Ад пытающихся остановить, а смерть равняла их, превращая в искромсанные куски мяса, обгоревшие человеческие обрубки или просто замершие навеки, будто восковые куклы. Короткий разбег, эхом отражающийся от стены леса, рев мотора и обступивший бархат темного неба с яркими огоньками звезд на всем небосклоне. Мотор оторвавшейся от земли машины будто притих в восторге полета и робко, но четко тарахтит в ночной тишине, свист ветра гасит кожаный шлем.

Он любил летать, мечтал о полетах в детстве, мечтал купаться в голубой лазури неба, управляя мощной серебристой, послушной его воле машиной. Но война оставила ему ночь, звезды. И ненависть. Ненависть к тем, кто днем внизу жег города и села, кто делил его землю траншеями и колючей проволокой линии фронта, к тем, кто вызверился на женщинах, стариках и детях, в скотных вагонах угоняя их в рабство, как сотни лет назад. Сегодня у него нет бомб, сегодня в его планшете пакет. Пакет командованию окруженной, задыхающейся от голода, истекающей кровью ран, захлебывающейся в растаявших весенних болотах, но не сдавшейся армии. А в этом пакете, быть может, спасение десятков тысяч судеб солдат, его ровесников, его одноклассников, однокурсников и теперь его однополчан. Каждый раз, вылетая через линию фронта в кольцо окруженной армии, он думал о них. Думал о тех, кто внизу, в крошечной темноте заболоченного леса, быть может, с последней надеждой в гаснущих от поте-

ри крови глазах, слышит робкий гул мотора его самолета и надеется на его помощь. О тех, кто ежеминутно погибает от разрывов даже шальных снарядов, падающих в скучившиеся вдоль вязких от грязи дорог госпитальные и тыловые колонны. Он летел и думал о том, что должен долететь, должен хоть чем-то помочь тем, внизу. И мысли эти не давали ему спокойно наслаждаться полетом, красотой и загадочностью ночного звездного неба. Потому что это была война. Внизу, на заболоченной поляне, прозванной здесь «госпитальной», усталый врач тихо отошел от недавно принесенных и поставленных на краю этой поляны рядов носилок.

Там, тихо глядя в небо, светясь, словно святыми ликами, восково-бледными лицами, лежали раненые, вынесенные с участка последнего прорыва. Тускло рубиновым огнем мерцали в свете луны звездочки на шапках и пилотках. Лихорадочно блестели глубоко ввалившиеся глаза, и от этого лица еще больше походили на иконописные лики.

Врач, лечивший раненых еще в ту, Первую войну, обернулся, увидел провожающие его взгляды и подумал: «А ведь они святые. Такие муки приняли за народ свой и други своя». И как детям Господа он ничем не может им уже помочь, только проводить их в Вечность. Он даже страдания их облегчить не может, потому что окруженная армия использовала все медикаменты, и даже бинты, затертые до дыр серые стиранные тряпки, уже не достать.

А несколько пар глаз лежащих на мокрой земле солдат провожали, как будто ведя в темноте и поддерживая в небесной пустоте невидимый на фоне черного неба, лишь слышный по такому знакомому стрекоту, маленький самолетик и молодого парня в его кабине. И ворочалась и оживала, шевелясь во тьме, вся поляна, и взгляды устремлялись в небо, ориентируясь на тихий звук, и, когда один взгляд угасал, впадая в подаренное болью беспamięтство, или останавливался навеки, застекленев со звездами навсегда, его подхватывали другие, вырвавшиеся из горячего бреда глаза и вели, прочерчивая над лесом невидимую дорогу.

Они на пороге смерти, как будто чувствовали, как там, за кромкой леса, дрогнули и задрались в небо, хищно пригнувшись, стволы зенитки. Они, ведомые черным взглядом из-под козырька чужой каски, всматривались в звездное небо, жадно ловя вспышки выхлопов. Оскаленный от напряжения рот, ломающаяся в оскале надменная улыбка, ставшая от напряжения вязкой слюна блестит на белых зубах. Вспотевшие руки на валиках наводки по сантиметру доводят стволы, продолжая траекторию полета самолета и в нетерпении готовясь прервать человеческую жизнь. Жизнь чьего-то отца, сына, деда, прадеда. Жизнь человека, мечтавшего о серебристом самолете в лазурном небе. Рык орудийных стволов, яркая вспышка пламени, осветившая лес внизу, кислый запах горелого пороха, звон сыплющихся стрелянных гильз на станине орудия. Пунктирная ниточка трассеров снарядов и вспышка над лесом. А в этой вспышке разорванный, мечущийся в пламени человек... Стон на темной поляне. Разом остекленевшие навсегда десятки глаз. Оборванные жизни, надежды, мечты. И с этим стоном обвалившаяся на умирающих тишина.

В этой тишине векового леса груды оплавленных обломков самолета с вплавившимися в алюминий человеческими костями. И радостный хохот вражеского солдата.

А через семьдесят шесть лет на поляне найдут так и лежащих в ряд на истлевших носилках, со звездочками на голых черепах тех, кто не предал и не струсил. Они так и будут лежать, глядя уже пустыми глазницами в пасмурное весеннее небо. Их вынесут к своим с поля боя. Вынесут и то, что найдут от того, кто мечтал о небе, всё то, что осталось от него среди железных обломков машины. Вынесут их правнуки. А в это же время другой их правнук, науськанный кем-то там из вражеских внуков, будет жалеть немецкого зенитчика, может, как раз того, кто убил навечно чью-то мечту о голубом небе.

«Иваны, родства своего не помнящие...» — часто мы слышим в свой адрес, в том числе и из «просвещенной» Европы. А может, просто кто-то очень хочет, чтобы мы его забыли, это родство? Они там хвастаются своими родовыми до десятого колена и родовыми замками своих

пращуров, стоящими до сих пор, и наверное, не знают, что все свидетельства наших семей сгорели в огне войн и смут, ими на нашу землю принесенных. В оккупированных выжженных деревнях Белоруссии и Украины, Смоленской, Новгородской, Псковской и других областях России. И не осталось от семей зачастую ни следа на планете, ни могильного холмика. Они наверное забыли, кто их жег? кто жег наши музеи и книги, кто отбирал и вывозил тоннами наши картины и произведения искусства?

Мы и сами, конечно, во многом виноваты. Мы перед детьми своими виноваты в том, что мало узнали от дедов и отцов своих. Мало им рассказали. Не донесли, что нельзя жалеть врага, нельзя сострадать убийце, предателю и насильнику, иначе сам станешь соучастником убийства и предательства. Не рассказали мы им о разрушенных мечтах и прерванных полетах, не хватило нам чего-то. Но не должны мы стать для Павших и еще народившихся «Иванами, родства своего не помнящими», должны очнуться и почувствовать ту дорогу, которая до сих пор прочерчена их последними взглядами, и передать эту невидимую нить будущему.



Знамя

Пар, вырываясь изо рта, на доли секунды повис перед глазами, заслоняя звезды. Получались звездные туманности или звезды в тумане. Он улыбнулся сложившемуся в голове каламбуру и встал. Рядом, у другого края воронки, также создавая звездные туманности, лежал человек. Его дыхание было прерывистым и частым. Глаза пусто смотрели в черное небо, и в них отражались безразличные ко всему звезды. Седая щетина на покрытом пороховой гарью лице, мертвенно-бледная кожа лица и рубиновые огоньки поблескивавших в лунном свете командирских «шпал» на засаленном воротнике выбившегося из-под шинели воротника гимнастерки.

Грязные бинты с черными пятнами крови намотаны наспех прямо поверх шинели. В грязных пальцах черное воронение пистолета. «Копай, политрук! Нужно успеть! До рассвета!» Тот, что стоял, медленно взял лопатку и прыгнул в воронку от тяжелого снаряда. Встав на колени, не обращая внимания на грязь на давно потерявших былой шик командирских галифе, он продолжил выки-

дывать из воронки землю вперемешку с водой и прелыми листьями. Через несколько минут разогнулся и, напрягая руки, стащил прямо в жизу тяжелый железный ящик. «Всё!» — выдохнул с хрипом стоящий. «Сними аккуратно!» — прохрипел, выплевывая новые хлопья тумана, тот, что лежал. Расстегнув шинель до грязных бинтов, политрук аккуратно снял с груди командира сверток. В свете луны, сливаясь с рубином воротника, полыхнуло бархатом Знамя! «Поднеси!» — прошипел лежащий и поднял руку с пистолетом.

Политрук приложил теплый шелк к черным губам командира. Раненый рукой с пистолетом прижал Знамя к губам и закрыл глаза. Тонкие ручейки слез, блестя в лунном свете, побежали к черному шелку. В эти секунды он видел, как погибали под разрывами мин и снарядов его бойцы. Как истекала кровью в окопах и ячейках дивизия. Как серыми бугорками безжизненных тел она оставалась на полях и опушках. Видел, как ее давили гусеницами танков, ровняли бомбами. Как ее выкашивали кинжальным огнем пулеметов. Видел, как те, кто сейчас остался там, позади, навсегда, рвали врага в рукопашной. Как последний резерв — повара, писаря, радисты, увечные еще с гражданки мужики и студенты в очках с иллюминаторами линз, — этот ограниченно годный к строевой в рукопашной встал у штабных блиндажей, чтобы выиграть еще хоть минуту. А может, он знал, что будет алое знамя над рейхстагом? Может. Но он был уверен, что всё не зря. Потому что видел горящие черные танки, серо-зеленые цепи, навсегда уткнувшиеся лицами в русскую землю. Видел, как падали, вспухая огненными грибами, самолеты с черно-белыми крестами. Рука с пистолетом сползла на землю.

Политрук встал на колени, бережно двумя руками взял Знамя и тоже прижал его к губам. Затем на секунду задержал взгляд на розовеющем горизонте, прыгнул в воронку и убрал Знамя в ящик. Закидав грязью яму, навалил в нее веток и старых листьев, подошел к лежащему. «Звезды отпори. Может, выживешь», — твердо сказал командир. Политрук усмехнулся, поднял лежащего и взвалил на спину. Они не вышли. На рассвете дежурный немец-

кий пулеметчик слепой очередью трассеров рассек туман и навyleт прошил грудь политрука, раненый у него на спине к этому времени был уже мертв. Они упали на дно воронки и остались в ней навсегда. На последнем рубеже своей дивизии, среди своих бойцов. Ящик с истлевшим Знаменем нашли поисковики через долгие семьдесят пять лет. Оно не досталось врагу, павшие сохранили его от надругательства. Сохранили своими жизнями. У них не было праздника Дня флага, они не устраивали флэшмобы и квесты, они просто знали, что для них свято. У каждого поколения в истории страны были свои святыни. Когда-то это были иконы, хоругви и нательные кресты, штандарты и знамена императорских фамилий и полков, потом звезды и красные стяги.

А какие святыни у нас? Почему спортсмены страны, которая имеет вековую историю, готовы выступать на всемирном состязании под нейтральным флагом? Почему курсанты училища имени Великого полководца Суворова могут в своей форме на весь мир кривляться перед камерой? Почему в урнах после митингов полно государственных флагов? Да, маленьких, да, бумажных, но Государственных символов. Сколько человек из сотни готовы умереть за честь своей страны и ее Святыни? Да Бог с ним умереть, отказать себе в чем-то ради сохранения этой чести? Когда наши будущие офицеры, глядя на спортсменов, скажут: «А мы тоже готовы воевать под Белым флагом или любым другим, кто заплатит»? В чем разница? Ведь и те, и другие защищают честь своей страны: только одни в бою, а другие в спорте.

Это началось не сейчас. Это началось, когда из Восточной Европы по приказу изменников выводили овечьи славой орденоносные полки, дивизии и армии. Расформировывали их, сдавая в архивы те Великие Святыни их боевые Знамена и из них формировали простые номерные части. Без истории и традиций. Я видел, как плакали боевые офицеры, прощаясь с этими реликвиями, стоя на коленях. Я помню, как сжималось сердце, когда в казарме среди сотен кроватей стояли всегда аккуратно заправленные кровати с портретами навсегда остав-

шихся молодыми парней и надпись: «Навеки зачислен в списки части». А на вечерних поверках звучали их имена, а лучший из живых отвечал за Павших и каждый раз по новой кратко описывал их подвиг. И все стоящие в строю чувствовали их присутствие и их Великую силу. И было страшно их подвести, хотелось быть похожими на них хоть чуть-чуть. Тогда, запихнув в пыль архивов, как ненужный мусор, политые кровью святыни и не дав ничего, кроме жажды наживы взамен, они начали убивать святыни. Праздник — День Российского флага во всех городах напоминает ярмарку тщеславия, кто пронесет полотнище подлиннее!

Зачем??? А может, просто рассказать в каждом классе о том, что это за флаг? Сколько людей заплатило своими жизнями уже в нашей, современной истории, чтобы этот флаг не был опорочен! Может, заставить, да, именно заставить делами уважать этот флаг во всем мире, делами? Может, дать безапелляционно всем там, за рубежом, понять, что он не продается? Пусть ценой своих личных потерь, но заставить. Может, нужно понять, что нельзя стать героем Пустоты? Можно стать героем своего народа и своей страны.

Может, пора перестать считать нашу молодежь слабой, играя с ней в игрушки, используя то, что раньше считали святынями? Может, просто день за днем вслух читать олимпийцам повесть Бориса Васильева «В списках не значился»?

«Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми, обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.

— С первого дня на себе ношу. — Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания. — Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал, до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — Родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.

— Не запятнаю.

— Повторяй: клянусь...

— Клянусь, — сказал Плужников.
— ...Никогда, ни живым, ни мертвым...
— Ни живым, ни мертвым...
— ...Не отдавать врагу боевого знамени...
— Боевого знамени...
— ...Моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик.

— Моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, — повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины».

Кто-то может подумать, какая чушь символы, святыни — это просто цветной кусок материи. А всё остальное — пафосная пена. Но ведь тогда и земля эта — просто часть планеты. А может, кто-то и хочет это услышать?



Ключи

Мерцающий огонек коптилки гонял тени по углам блиндажа. Осклизлые бревна наката будто выпрыгивали из тени и возвращали Её в реальность. Она прищуривала глаза и смотрела на Его лицо. Большая коротко стриженная голова, с сединой, отливающей благородным, таким неуместным здесь серебром, покоилась на свернутом ватнике. Она смотрела на Него и вспоминала, как первый раз увидела Его во время награждения. Давно еще, в 1942-м, на Невской Дубровке. Крепкий молодой парень в залихватски сбитом на затылок танкошлеме. В коротких, для удобства и с шиком подвернутых валенках, чтоб удобнее было управлять танком. Он улыбался всем, первый орденосец бригады тяжелых танков. Первый орденосец первых, самых тяжелых лет войны. Он улыбался всем, а Ей казалось, что только Ей. А сейчас перед Ней на нарах лежал смертельно уставший мужчина. Ранние морщины у глаз, тревожно подрагивающие веки, руки иногда сжимались в кулаки, а мышцы напрягались. Он и сейчас во сне вел свою тяжелую машину по полю боя.

А может, Он шел по зеленому лугу и размашисто вел косу, выкашивая полосу? Кто знает.

Она тихо поднялась с нар, стараясь, чтобы они не скрипнули и Ему достались еще минуты сна и покоя. Юркнула в мешковатый темно-синий комбез, накинула ватник и еще раз посмотрела на Него. Вместе, только вместе, всегда и навсегда, шептал Он Ей ночью...

Да, только так, сколько отпустит Господь. Да, Она — комсомолка, но пусть здесь с ними будет кто-то выше. Ремень, кобура, санитарная сумка и рогулина танкового ключа в карман. Он запрещал Ей брать этот ключ. Специальный ключ от люков танков. Он говорил Ей, что, если танк подбит, уже нет смысла вскрывать его люки. Он страховал Ее, лишая мысли о необходимости бежать по полю к горящим машинам и под ливнем пуль карабкаться на исклеванную чужим железом броню, ежесекундно ожидая взрыва боекомплекта или очереди пулемета в упор. Она выскользнула из прокуренного затхлого блиндажа, и голова закружилась от морозного свежего воздуха. Лес оживал. Тенями метались посыльные, на исходные проходили стрелковые роты, скрипя валенками по свежему снегу. Заправив челку под шапку, поправив кабуру и сумку с красным крестом, Она на секунду замерла с мыслью: «Может, еще раз взглянуть на Него?». Чуть взмахнув рукой, побежала к санбату. Стрелковая дивизия с приданными частями и тяжелая танковая бригада выходили на исходные в темноте зимнего утра. Еще раз Она видела Его мельком у строя танков, получающего, как и другие командиры, боевую задачу. Она помахала Ему, но в темноте Он Ее не заметил. А может, сделал вид, что не заметил, а может, Он уже был там, на заснеженном поле, за рычагами своего танка. Залп орудий, один, второй, третий. По заранее выявленным целям. Артподготовка и затянутый дымом передний край немецкой обороны. Сизый выхлоп, вонючий солярный дым и враз ставший грязным снег под танковыми траками. Как нити туда, к немцам, дорожки танковых следов с рублеными квадратами машин в их окончании. А позади частым пунктиром, с винтовками наперевес, стрелковые цепи.

И всё закружило... Султаны разрывов, снарядов и мин, нити трассеров, грохот и крики. Крутнувшись в разрыве, остановился первый танк. Санитары стрелковых рот приволокли первых раненых. Серые лица, окровавленные руки, шинели и ватники. Торчащие обломки костей, сизые змеи выпущенных кишок и запах крови, тола, пороха и смерти. Пожилой санитар с волокушей за спиной выдохнул с хрипом: «Много там их, померзут». Выдохнул и потащил свою ношу дальше, к землянкам санбата. Бой вдалеке разгорался. Звонко тукали танковые орудия, рычажи пулеметы. Она нахлобучила шапку и одним рывком перекатилась за бруствер траншеи. Дорожка следов Его танка не прерывалась дымом в конце, жирным масляным столбом смерти в небо, значит, жив. Ползком вперед. Серый скрюченный бугорок человека, — мертв. Еще один и еще. Стеклянные, остановившиеся взгляды. Один, второй, третий. И вот испуганный, просящий, полный боли, но живой взгляд. Бинт, одинаковые для всех, но не дежурные слова женщины. Матери, дочери, сестры: «Потерпи, милый, потерпи, дорогой, скоро станет легче!» Один, второй, третий. И вдруг как дернуло что-то.

Дорожка, Его дорожка, там, вдали в, ее продолжении черный столб дыма. Ползком перебежками туда. Грязно-белая громада танка замерла, неестественно задрал ствол орудия в небо. Чадный, черный дым только рождается в моторном отсеке. Пули, как сбежавший из улья пчелиный рой, жжужжат уже постоянным гулом. Обжигая руки о накалившуюся броню, наверх, к люку мехвода. Ключ в скважину. Поворот. Не заклинило. Внизу, в мареве пороховой гари и мазутного дыма безжизненно свесился ребристый верх танкошлема. Поднять. Под мышки ремень. Рой стальных пчел гуще. Обдирая в кровь обожженные пальцы, наверх из узкого люка тяжелое безжизненное тело. Они скатились под гусеницы разгорающегося танка, оба уже не раз прошитые пулями, и так и остались лежать у его разорванной гусеницы. Он и Она. А наступление опять захлебнулось. Потом в штабах долго разбирались. Искали и находили виноватых. Осуждали и наказывали. Писали похоронки и наградные. А на поле и за первой линией немецких тран-

шей снег наводил порядок и заметал тела тех, кто не был ни в чем виноват. А потом люди в шинелях без ремней, с одинаково серыми лицами и пустыми глазами, убирались за снегом. Они стаскивали тела в большие воронки. И эти люди тоже были ни в чем не виноваты. Они были не хуже и не лучше тех, кого они бросали на дно ямы. И неизвестно еще, кому больше повезло, думали они.

Он лежал на дне ямы, раскинув руки и ноги, словно смотрел и любовался зимним серым небом. Только разодранный, почерневший комбинезон и обожженное лицо возвращали к войне. Ее тело люди с серыми лицами, качнув за руки, бросили вперед. Она взмахнула руками, как птица крыльями, скрылась за бруствером воронки, и люди не видели, как, упав на него сверху, Ее губы коснулись Его обгоревшей щеки в последнем земном поцелуе. И со всех сторон убитыми, мертвыми птицами, взмахивая крыльями прожженных шинелей и ватников, в воронку падали тела солдат. А где-то рядом или далеко, а может, на облаке или прямо на краю огромной ямы молодая женщина тихо положила голову на грудь молодому красивому мужчине с Красным Знаменем на выглаженной гимнастерке. И, улыбнувшись, сказала: «Ну вот и всё!». Он нежно обнял Ее и, глядя на яму, спросил: «Думаешь, это всё?». Она тихо, улыбаясь у него на груди, ответила: «Нет. Они вспомнят. Те, кто придет за нами, обязательно вспомнят, пусть позже, но они обязаны помнить». И Они обнявшись пошли навстречу свету. Я Их видел. Техника — лейтенанта кавалера ордена Боевого Красного Знамени Моисеева Михаила Ивановича и санинструктора 1-й танковой бригады Белкину Зинаиду Ивановну, награжденную посмертно медалью «За отвагу».

Я не знаю, было ли то, что я написал, на самом деле. За Ним ли бежала Зинаида Белкина в адский огонь затяжного, встречного боя или просто, как тысячи солдат Великой Отечественной войны, выполняла свой долг, я тоже не знаю. Я знаю одно — Они были, и Они есть. И я верю, Они рядом. Я не знаю, что Они нам хотят сказать. Что должны нам сказать два сгоревших, ржавых башенных ключа с остатками ткани танковых комбезов, лежащие на обго-

релых черных костях? Может, эти ключи к нашим мозгам или любому другому месту, где у нас хранится душа. У того, конечно, у кого она есть. Наверное, это личное. Каждый должен услышать свое. Но обязательно должен.

А еще я думал, как должен выглядеть Ангел смерти на войне. Я думаю, это немолодой уже солдат в серой, затертой шинели без ремня. Полы которой, развеваясь на ветру, похожи на серые крылья. У него всё видевшие усталые глаза с почерневшими от вьевшегося пота и пороха лучиками морщинок. Впалые, давно не видевшие бритвы щеки. Выцветшая, почти белая пилотка на обросшей ежиком седых волос голове. Крепкие рабочие руки труженика и самокрутка, зажата в кулаке. А еще он очень устал. Он устал делать свою скорбную работу, которую ему даем мы — люди. На которую мы его обрекаем, раз за разом начиная войны. И когда-нибудь он устанет совсем, и эта война станет самой последней и для него, и для всего человечества. Война у нас в душах. Мы воюем с собой, изъедая себя завистью и жадностью. Мы воюем с собой и стоящими рядом, теша свое тщеславие и гордыню. Мы воюем завистью, подлостью и жадностью к таким же людям. И лишь в конце война начинает стрелять из орудий. А Ангел смерти устало опять принимается за свою работу.



Когда закончится война?

«Память о павших бессмертна!» — лозунг, который известен, наверное, всем в нашей стране. Красивые слова, которые, как сейчас всё чаще говорят, уже набили оскомину. Мы слышим: «Когда вы уже успокоитесь с этой войной? Не устали вы все воевать? Сколько лет прошло? Вы все воюете? У нас что, кроме войны, ничего не было?»

Знаете, мы — те, кто живет той войной, — странные люди. Мы не о войне чаще говорим. Для нас война — это большей частью не операции, бои, стратегия и тактика. Или не только это. Для нас война — это люди. Да, простые люди. Люди, их жизни, их судьбы. И как мы можем ее закончить, если она не закончена для них?

Мы видим, слышим, чувствуем, говорим о войне через призму человеческих жизней и осознания их жизненного пути. И их жизненный путь не закончен. Он остановлен. Он приторможен многоточием пулеметных очередей в полях и болотах. Он поставлен на паузу запятыми минометных мин и осколков снарядов. Этот их жизненный

путь остановлен тире падающих на землю горящих самолетов. Он остановлен, но не закончен, не поставлена в их жизни точка.

Как можно закончить войну, с которой сестры, братья, дети, внуки, правнуки еще ждут своих близких? Как можно закончить войну, на памяти о которой нелюди зарабатывают деньги? Подумайте, просто на секунду остановитесь и осознайте, во что мы превратились, если рядом с нами ходят люди, способные позвонить старику и обманом выманить у него деньги за то, что нашли и привезут домой его пропавшего без вести семьдесят шесть лет назад отца? Этот человек не один, их уже десятки. Они живут среди нас. Они, наверное, смеясь, делятся с кем-то, как ловко провели рыдающего от обиды, нет не за деньги, а за то, что не привезли его папу, обманутого старика. Старика, который, рыдая, видит себя мальчишкой. Мальчиком, держащим за шершавую, такую родную, большую, теплую руку солдата, своего самого лучшего в мире отца. Он чувствует запах новой шинели и оружейной смазки. Он видит уже сухие, без слез любящие глаза матери и строгие глаза отца. Он помнит, как потом по ночам она рыдала в измятую подушку. А мальчик просил кого-то там на небе, чтобы отец пришел с войны. Он тысячи раз во сне сжимал и сжимал эту руку и смотрел в отцовские, такие спокойные глаза.

А где-то в поле, или в лесу, или уже под чьим-то коттеджем, под дорожной развязкой или, может, торговым центром с винтовкой до сих пор идет в атаку его отец, оставшийся навечно моложе сына.

Где-то среди нас прогуливает в кабаке тридцать Иудиных сребреников, ходит вроде живой человек. Он не дурак, он «пробил» тему, он знает, что чего стоит, для него война не закончена, она, как и тогда, приносит кровавый постоянный доход. Он работает, ищет тех, кто помнит, тех, кто ждет, тех, кто чувствует боль. Он ищет их, чтобы обмануть и убить. Убить веру в правду и веру в людей, Он Не Один. Их уже десятки, а вокруг них еще их семьи, близкие, друзья. С ними те, кому они доверили свою грязную тайну. Рядом те, кто, узнав, не дал в морду, кто не плюнул в глаза, не развернулся молча и не ушел навсегда, забыв про Иуду. Те,

кто, по традиции не сдал «своего». Они-то кто? А они вместе и в одном строю, в одном строю с теми, кто убил солдата и, наверное, уже убил его сына через семьдесят шесть лет. Это рядом с нами, они продукт нашего времени, они вряд ли поймут то, о чем я говорю. И они не почувствуют никакой боли, даже когда уйдет кто-то из их близких. У этих нет чувств.

Мы все перестаем чувствовать. Мы посмотрели сюжет по телевизору, мы даже, безусловно, возмутились вопиющим и пошли заниматься своими делами. А что мы должны? Что мы можем? Мы же не органы, не полиция? Мы, мы должны на секунду, на долю секунды почувствовать боль и обиду семидесятилетнего мальчика, у которого опять, как много лет назад, убили отца. Сына, дочь свою за руку возьмите. В глаза ей/ему посмотрите и почувствуйте. Как вырвали навсегда из детской ладони ту теплую большую руку, которую он держал во сне десятки лет. Выстрелили в навсегда запомнившееся добрым и спокойным лицо отца, превратив его в кровавое месиво ужаса и предательства. Убили походя, между делом, убили за какие-то поганые тысячи нарисованных бумажек. Убили не немцы-нацисты, вражины из-за бугра. Свои. Свои убили, внуки. Насмерть, наглухо, навсегда. Убили, подарив, а потом растоптав надежду. Эти проклятые, подлые пули пострашней вражьих. Они убивают всех. Убивают и живых, и павших, и тех, кто еще не родился.

Кого может это воспитать? Это обокравшее убитого солдата? Продавшее за деньги, за копеечные гроши его память? Он воспитает еще худшее нечто! И это нечто будет жить уже среди наших детей!

Так что? Закончилась война? Мы с вами, может, ее закончили, сидя в тепле у компьютера? Мы вот взяли и решили, что всё, хватит, надоело про войну, хочу позитив и про котиков? Мы, как страусы, башку, забитую айфонами, тачками, заботами о новогодних подарках, воткнули в песок и торчим задом кверху. А она-то вот она! Рядом, стерва, дышит, она очнулась через десятилетия и руками живых старика напавал — хрясь! И денежку в карман — хлоп! Она запахом затхлой гнили человеческих пороков так завоня-

ла, что вокруг нее стая Этих, как мухи, закружилась. И не отсидеться! Придется рано или поздно решать: или встать в строй молчаливых пособников мрази и потерять человеческое, или почувствовать. Почувствовать, как больно второй раз умирать и опять терять самое дорогое. А Этим, кто свою человеческую сущность на деньги сменял, я так скажу. Вы сдохнете, да, именно не умрете, а сдохнете. Только человек право умереть имеет, твари — они сдыхают. А когда вы сдохнете, те, чью память вы растоптали, будут молча смотреть, брезгливо запахнув простреленные солдатские шинели, смотреть с холодным, могильным презрением, как вас поволокнут, в соплях и слюнях упирающихся, в черную пропасть забвения.

Человеческая жизнь — это только дорога в вечность. Верующий ты или атеист — не страшно сейчас. Страшно станет, когда пробьет час, а он пробьет для каждого. Что там, за порогом?

И война не закончена, пока на ней погибают, пока ждут возвращения с войны, и мы, живые, только можем приблизить ее окончание, почувствовать боль и помочь одним вернуться, а другим дожидаться.



Туман

Туман, простейшее с физической точки зрения природное явление. Казалось бы просто насыщенный водой воздух. А сколько мистики связано в человеческом понимании с туманом. А какая это красота?

Утро. Тихий осенний лес. Воздух как будто замер и не двигается. Тишина до звона сковала пространство. Как будто из другого измерения в воздухе проплывает желтый опавший лист и беззвучно ложится на землю. Деревья в высоте своих крон окутаны туманом. Небо сравнялось с землей и резкий, гортанный крик ворона в тишине звучит нереально и инородно в тишине.

Белая равнина укрытого снегом зимнего болота. Серое небо рухнуло на землю туманом. Белизна вверху, белизна под ногами. И ты в бесконечности какого-то космического пространства. Только хруст снега под сапогами вырывает в реальность и черные росчерки одиноких хилых сосен торчками стоящие на болоте.

Ярко красная полоса нарождающегося летнего утра, откуда-то из-за леса, разгоняет по черным дырам теней кло-

чья утреннего тумана. Стрелы лучей солнца, пробиваясь через листья густого подлеска, яркими иглами дырявят пуховую пелену. Сбрасывая литры воды, листья поворачиваются к восходящему светилу, как ладонями раздвигая туман, и начинают утро. Тени кутаясь в обрывки туманной шали, как страшные ночные жители уползают, нехотя уступая место свету.

Туман. Для меня это явление несет в себе еще и философский смысл. Туман окутывает души. Делает их серыми. Как лесной туман стирает границы реальности, туман в душах стирает индивидуальность и эмоции, тихо укладывает человека на ложе безразличия, покорности и успокоенности. В этом тумане люди бредут годами и десятилетиями и, вынырнув из него, оказываются уже на берегу вечности, а обернувшись назад, видят лишь туман. А еще в Тумане неизвестности оказались души тех, кто горел и сгорел, ярко вспыхнув, на секунду озарив мир поступком, они погрузились в туман безвременья и их мы тоже видим в утреннем тумане, видим и ведем к свету.

Туман, перемешанный с запахом копоты, сгоревшего пороха и взрывчатки, напичканный как иголками трупными миазмами, железистым вкусом свежей крови и горячей стали, сплошной пеленой плыл от реки. Причудливыми уродцами в тумане возникали расщепленные снарядами и минами стволы деревьев, кляксами страшных застывших осьминогов громоздились огромные вывороченные бомбами корневища. Утренний туман сковал звуки подарив секунды тишины и спокойствия, но не вручив надежду, дал только небольшую отсрочку.

В воронке лежало шесть тел. Выгнутой дугой от края до края. Шесть пар одинаковых солдатских ботинок, шесть разодранных в черных подпалинах солдатских гимнастерок. Шесть белых, одинаковых в молочной пелене солдатских лиц. Посредине ряда тел черным тире земляной полосы пропуск. Это его место. Тройка гранат железными, рубчатыми яйцами динозавра горкой на бруствере воронки. Покрытый редкими каплями воды, лаковый приклад ППШ, ждал своего хозяина. Опустив голову, сосредоточенно хмурясь рассеченным осколком лбом, он старательно выводил

на обрывке бумажки, пристроенном на колене, буквы. Писал, поднимал глаза, вглядывался в белое пятно: лицо товарища лежавшего на дне ямы и писал. Одна фамилия, вторая, третья, шестая. Васин, Юрочкин, Балахнин, Мустафин, Залозных. Каждый раз он замирал на секунду задумавшись будто, что то вспоминая и продолжал писать. Поставив цифру семь, кратко чиркнул — и Я. Подумав секунду, ниже аккуратно дополнил: «Моя фамилия Евдокимов Петр Ильич рождения 1908 года город Камень на Оби, Алтайский край.». Закончив писать, он достал из пистончика на брюках маленький черный пенал раскрутил его, аккуратно скрутил обрывок в трубочку, обернул своей заполненной раньше запиской, опустил обе записки в тубус плотно завернул крышку и подумав немного убрал в нагрудный карман. Рука, оправляя клапан кармана на мгновение замерла на груди и он почувствовал ровные глухие удары мощного, молодого сердца. Тут, тут, тут долбила в груди жизнь. Туго стучала, под потным сукном солдатской рубахи, будто птица рвалась в розовеющее новым днем небо. Жить, жить, жить мчалась по венам кровь. Хлопнув по карману, он встряхнул головой в заляпанной грязью каске, будто вместе с уползающим вдаль к болоту туманом прогоняя какое то наваждение. Расслабил напряженную для упора в стенку воронки ногу и тихо сполз на дно. На свое место.

Оуп, оуп, оуп... Ухнули в тишине утра первые минометные охи. И когда приближающиеся к земле мины начали свою воющую песню, он сорвал с бруствера ПППШ, вжался в стену, прикрыв его от грязи своей бухающей сердцем грудью. А дальше был бой, короткий, страшный и для него последний. Для него и для скольких-то тех, в серых кителях и глубоких касках. Тех, кто очень хотел, что бы он Евдокимов Петр Ильич из Алтайского края, выполз к ним на коленях. Чтобы умолял их разрешить и дальше биться, его крепкому молодому сердцу. Чтобы он и его дети, угодливо улыбаясь новым хозяевам жизни, прислуживали им в их новых русских поместьях. Но он не захотел. Иссеченное осколками в груди сердце гулко последний раз ударило в сломанную клетку ребер и душа, освободившейся птицей, рванула в голубое небо.

Когда их нашли и прочитали записку, я просто не мог осознать. Какую силищу надо иметь в своей душе. Какую веру и волю. Чтобы глядя на осенний лес, тихо журчащую речку, глубокое голубое небо, сказать всему этому — нет! Не в боевом запале, надрывая сердце адовым всплеском адреналина упасть на плюющееся огнем пулеметное дуло, не жарясь в кабине горящего самолета теряя себя от дикой боли опустить ручку управления кинув машину на вражескую колонну. А вот так: тихо, буднично, как на работе. Собрать тела, погибших друзей в воронку, сесть на брустер, пересчитать патроны и гранаты развернуть клочок бумаги, свернуть самокрутку и пыхтя махоркой вычеркнуть себя из списка живых. Слюнявя карандаш, четко осознавать. Встань подними руки в гору, крикни «Сталин капут». И топай: живи, трудись, лопай, пей, дыши. Как в тысячах километрах от своего родного Алтая, в Ленинградской болотине себе, ни кому-то, не на митинге, не с трибуны для красоты, а себе одному, своим погибшим друзьям сказать. Нет! Выше жизни честь! Такие это были люди.

Они не говорили. Спроси тогда этих мужиков со всей России, что такое патриотизм, что такое любовь к Родине, они и объяснить-то толком не смогли бы. Они по-солдатски, по-мужички душой это знали и чувствовали те вещи, которые мы всей страной во всех телевизорах никак самим себе объяснить не можем. Уровень патриотизма нельзя поднять или опустить, он или живет в тебе, тукается тяжело в груди вместе с сердцем, рвется в мозг от несправедливости и фальши, скрипит зубами от злости; либо его нет. А поднимается и опускается это уровень доходов у лавочников на трибунах у братских могил. От жизни за Родину отказаться? Да многие и от служебного автомобиля за нее не откажутся...

На внуках гениев природа отдыхает. Может она возьмет и встрепенется на правнуках? Надеюсь. Честь, Долг и Родина с осознания этих трех слов должен начинаться мужик. И тогда Туман будет просто красивым природным явлением.



Офицер

Собирать историю по крупичкам. Что это значит? Что за крупички? Кто их потерял? И зачем их искать?

Теряют, забывают или специально коверкают историю потомки. Зачем? Да по разным причинам. Проигравшие, стоявшие на стороне врага — для того, чтобы обелить себя. Трусы — чтобы оправдать свою трусость. Некоторые, просто поймав нужную волну в информационном потоке, пытаются возвыситься за счет осквернения памяти павших. Кто-то просто стремится заработать денег на «горячих» темах. Ведь мертвые не могут за себя постоять. Но есть среди потомков те, кто изо дня в день собирает и восстанавливает настоящую историю по тем самым крупичкам.

Иногда это история судьбы одного человека. Иногда она помогает вернуть доброе имя целой группе людей, организации, да и стране в целом.

Влажный, сырой, темный лес под Любанью. Покрытые мхом и изъязвленные наростами стволы кривых деревьев. Рыжая ржавь военного железа. Красные, опухшие от

холода руки, перебирающие болотную жижу. Черная подушка прелых листьев и хвои. Рябь и чертики в глазах от напряжения. Не упустить среди тысяч ненужных деталей то, что и есть крупичка истории.

Серебряным огоньком вспышка, и вот озябшие руки бережно стирают тину и грязь с серебряного кругляша. «За отвагу» — самая почетная солдатская медаль. Редкость в 1942-м году, году поражений, жертв, отступлений и «котлов», являвшаяся бесспорным знаком отличия самых отважных. Номер, а за ним имя, судьба, подвиг и трагедия.

Истошный вой мин. Грязные султаны разрывов один за одним накрывают редкую цепочку стрелковых ячеек. Вонь поднятой со дна, как из преисподней, вековой болотной жижи. На дне — свернувшиеся личинками тела солдат. Разрывы, разрывы, разрывы. И всё, каждая мина, каждый снаряд, кажется, в тебя. И вдруг как обвал, как лавина рухнувшая в уши тишина. И она кажется еще страшней после грохота смерти, потому что за ней опять смерть.

Там, впереди, встали и двинулись вперед вражеские цепи. Винтовку из-под себя, на бруствер, туда же последнюю гранату, щелчок и на взвод. Гудящая под каской голова, засыпанные песком и тиной глаза, как из амбразуры ДОТа, смотрят в винтовочный прицел, ловя на кончике ствола серые пятна вражеских солдат в цепи. Еще день. Нужно простоять еще день. Ведь там втискивается в скрипящие подводы, белея бинтами, истекающий кровью медсанбатов полк. Все, кто может держать оружие, здесь, на его последнем рубеже. Там за спиной лишь раненые и «хозари». И вдруг слева, с края цепочки редких ячеек истошный крик: «Командира убило!!!!» И фигура на кончике винтовочного ствола дернулась и исчезла. И страх, места которому не было в самом трудном бою, схватил за сердце холодной, ледяной лапой. «Как же одни? Как без командира?»

И вот первая тень метнулась из ячейки в тыл, за ней вторая, третья. Скоро избитая, потерявшая командира, а с ним и надежду рота в панике подставит спины под очереди немецких пулеметов. «Стоять! — Властный голос

остановил бегущих. — «Занять оборону! Приготовиться к бою!»

Командир с орденом Боевого Красного Знамени и самой почетной медалью — «За отвагу». «Особист», — прошелестело по солдатским ячейкам. Бегущие ящерицами скользнули в свои окопчики. Его знал и уважал весь полк, этого молчаливого и нелюдимого командира. Орден за бои с японцами, медаль уже здесь, на Любанских рубежах. В полку все знали, что старший лейтенант госбезопасности Усов Серафим Афанасьевич свои награды заслужил не за пытки и травлю солдат и командиров. Что не раз, невзирая на нагоняи от начальства, он заменял выбывших строевых командиров в бою. И вот опять он здесь. Не грузит там, в тылу, ящики с высосанными из пальца расстрельными делами. Не пакует баулы и тюки в командирскую «эмку», вон он здесь, с ними, с наганом в руке. Он с ними, теми, кто вряд ли сможет отсюда выйти. Еще несколько дней рота под командой единственного офицера сдерживала врага. Поднималась в штыки, рубила саперными лопатками немцев, давая полку возможность отойти и выжить. Он так и лег в одну воронку со своими солдатами. Забрызганный своей и вражеской кровью, не ушедший с рубежа и не бросивший солдат, Командир. Он, чью память и славу будут десятилетия втаптывать в грязь. Показывать на экране его и его павших товарищей как зажавшихся тыловых крыс, увешанных незаслуженными орденами. Внушать их внукам и правнукам комплекс вины за дела их предков. Целую организацию, тысячи настоящих героев, сделают палачами и трусами. Офицеры особых отделов НКВД встречали свою смерть в бою плечом к плечу с простыми солдатами. За свой последний бой старший лейтенант госбезопасности Усов Серафим Афанасьевич был посмертно представлен к награждению высшей наградой Советского Союза — орденом Ленина. Но даже статус офицера самой «кровавой» организации не позволил ему ее получить. Был суровый год, считалось, что в отступлениях не может быть героев. Посмертно Командира наградили орденом Отечественной войны I степени. Его судьбу, как крупницу истории,

вернули и восстановили ребята поисковики экспедиции «Любань».

А те, кто сейчас носит в кармане удостоверение офицера военной контрразведки, должны гордиться своими погонами. И стараться быть достойными тех, кто семьдесят семь лет назад вставал в одну цепь с солдатами, примкнув штык к винтовке и оставив в нагане последний патрон для себя. Вечная слава старшему лейтенанту НКВД Серафиму Афанасьевичу Усову — навечно Командиру погибшей, но выполнившей свой долг роты.



Победоносцы и потомки победителей

Весна 1945-го. Германия. Город, где только что прошла война, в руинах. На зубах еще скрипит кирпичная пыль, в воздухе пахнет порохом и сгоревшей взрывчаткой. На перекрестке, опустив ствол к земле, сгоревший советский танк. Запах горелой резины, краски и паленого человеческого мяса. Из окон свисают белые простыни. На перекрестке, среди руин, стоит полевая кухня. В нескольких местах пробитые осколками и пулями, погнутые жестяные крылья над стертыми о фронтовые дороги почти в ноль протекторами колес.

Пожилой по военным меркам, лет сорока, усатый ефрейтор с единственной медалью «За боевые заслуги» и пятью нашивками за ранения насыпает кашу в подставленные черпаки, тарелки, кастрюльки. Дети, женщины, старики, отходя от кухни, пряча глаза к земле, тихо шепчут: «Данке». Ефрейтор, поднимая взгляд в весеннее небо, видит, а может, хочет видеть там, среди ватных облаков, улыбки женщины и троих светловолосых детей: двух девочек и мальчика. Их сожгли заживо в колхозном гумне далеко

отсюда, в его родной Белоруссии. Сжигал, их может быть, отец вон тех мальчика с девочкой, бережно несущих домой кастрюлю с солдатской кашей, или сын вон того старика, трясушимися от голода руками несущего ко рту кусок солдатского черного хлеба из ржи, добытой потом и кровью детьми и женщинами далеко за Уралом.

В руинах серыми тенями работают лопатами пленные немецкие солдаты. Один из них робко подошел к молодому сержанту с орденами Славы всех трех степеней на выцветшей почти добела гимнастерке и жалобно протянул: «Раухен битте».

«Совсем пацан», — подумал приписавший себе в военкомате год семнадцати летний сержант, прошедший от Днепра до Берлина, и протянул немцу пачку «Казбека». А два дня назад этот немец из подвала фаустпатроном сжег экипаж стоящего на улице танка, в котором были такие же восемнадцати летние пацаны. А младший лейтенант, командир танка, заживо сгорая у орудия, за секунду до смерти думал об умершей в блокадном Ленинграде маме — тихой и строгой школьной учительнице.

А потом был Парад на Красной площади, по которой шли Победители, сверкая орденами и медалями, летели к подножию Мавзолея немецкие штандарты. Были слезы скорби по погибшим и слезы радости Победы. Были милосердие к побежденным и восстановленная из руин Великая страна, был полет в космос. Это были Победители.

2017 год. Май. По Красной площади грохочет техника, идут строгие колонны молодых, крепких солдат и офицеров. Блестят новые боевые награды. В скорбной тишине проходит Бессмертный полк, а с портретов молодыми глазами смотрят они — Победители. Дорогая немецкая иномарка, на багажнике наклейка, где в сексуальной позе нагнул свастику серп и молот, и надпись: «Если нужно, повторим!», а за рулем успешный делец, чьи бульдозеры и экскаваторы даже сегодня — 9 Мая, роют песок с костями тех, кто добывал эту Победу. Повторим что? 22 июня 1941 года? Плюющуюся огнем, разрушенную до основания, в пыль, но не сдавшуюся Брестскую крепость? Умирающий от голода, жажды и газов, но не сдавшийся гарнизон Ад-

жимушкайских каменоломен? Полыхающий керосиновым пламенем подвиг экипажа Гастелло? Повторит кто? Кривляющиеся лбы в трусах и летных фуражках? Типа «поддержавшие» их голожопые суворовцы и студенты? А ведь они, наверное, тоже шли с портретами своих прадедов в Бессмертном полку... Стояли в почетном карауле у их могил и делали на камеру суровые лица.

Лихо заложив вираж по кольцевой, скорее к даче и шашлыкам, еще один «слуга народа». Черный джип с надписью на заднем стекле «Спасибо деду за Победу!». На заднем сиденье небрежно брошены портреты именно тех дедов, которым спасибо. Приказали всем чиновникам топать с утра в Бессмертном полку, а теперь свобода. На природу — к водке и шашлыкам. И давно уже вылетело из головы молодого успешного менеджера из областной администрации, что так и не дождалась его согласования «сумасшедшая» пожилая учительница, каждый год вывозящая школьников в «Долину смерти» Мясного Бора. Чтобы они нашли и вернули память о тех, кто не увидел развалин рейхстага. А она сама, под свою ответственность тащила их от мониторов компьютеров с голозадами переростками.

Тишина в День Победы на полях сражений.

Простая солдатская пирамидка с облупившейся красной звездой, девочки и парни в камуфляже и простые полевые цветы в руках. Они здесь просто потому, что Им так нужно. Им никто ничего не должен, Они Должны. А вечером костер, звезды и тишина. Не хочется песен и слов, и сидят у одного костра Победители и их потомки. А с трибун — «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Что мы не забыли, повторяя эти слова? Что есть честь мундира? Мужская честь? Долг перед павшими? Этот долг не в словах и портретах на площадях. Этот долг в делах и в душе. Этот долг отдал молодой лейтенант в далекой стране, защищая интересы своей Родины, не сдавшись и вызвав огонь артиллерии на себя. Отдал полицейский, не трусивший перед бандитами: «Работайте, братья!»

Вот они победили, и они Победители.

А что мы? Надписи на машинах и майках, картинки? Посты в интернете, что нам должны и обязаны? Им ни-

кто ничего не был должен, а они считали своим долгом любить свою страну и свой народ. В чем наша память о 27 миллионах погибших? Мы учли их жертвы, мы сделали свою страну сильной настолько, чтобы наши дети никогда не увидели 22 июня? Или мы просто носимся с чужой Победой, считая уже ее своей? Вспомните строки писателя-фронтовика Бориса Васильева: «Знаешь, это не победители. Это — победоносцы. Всего-навсего. Победу надо закреплять нормальным мирным трудом в разоренной стране. Иначе она окажется пирровой победой, и вчерашние побежденные вскоре начнут диктовать свою волю вчерашним победителям. Может быть, победы вообще ничему не учат? Может быть, учат только поражения?»

Да, учат только поражения. Победы — парадное пособие, а не учебное. А поражения приходится изучать, чтобы они хотя бы не повторились».

Иначе мы так и останемся победоносцами, а нашим внукам придется становиться Победителями.



Похороны по праздникам

Осеннее небо рваной замызганой дерюгой повисло над землей. Из прорех разорванных серых облаков редко выглядывало будто напуганное солнце. Как будто из этих же прорех рваными брызгами плевался дождь.

«Ангелы сикают», — грубо шутили люди внизу. Мокрая туманная взвесь без границы переходила в серо-бурую жижу на земле. Грязь и вода повсюду. Прелые листья, как островки, плавают в наполненных жидкой грязью колеях. Эту грязь месят солдатские ботинки и сапоги. Полы шинелей, выбившись из-под ремней, как шлейф неопрятной невесты, волокутся по грязи. Не в такт качаются стволы винтовок. На спинах горбами сидорá и станки пулеметов, минометные плиты и ящики, ящики, ящики. Глаза в землю. Мерный плеск, нет, не шагов, каких-то скребков сапог и ботинок.

Скрёб-чвак, скрёб-чвак. Худая лошадь, надрывая жилы, пытается выдернуть из жижи утонувшую по оси телегу, нагруженную ящиками со снарядами. Ездовой, устав материться, тупо тянул лошадь за узду. Они вдвоем хрипят, вы-

дирая ноги из липкой грязи. Машины встали еще раньше. И только солдатские сапоги и ботинки мерно месили глину, вперед, к громыхающей передовой. Только солдатские спины и плечи в мокрых, грязных шинелях были теперь единственной тяговой силой, питавшей войну, всем тем многим, в чем она нуждалась.

Лысая, безлесая, как прыщ, торчащая в ровном поле высотка. Рыжая высохшая трава, как волосы на голове неопрятного великана, клочками торчит от подножья до вершины. Наверху, плешью, немецкие траншеи — в три ряда, с теплыми добротными блиндажами. Сухо там. Дым печек и махорки сухим туманом тянется вверх. В трехстах метрах от подножья земляного прыща, у заболоченной опушки леса, драной прерывистой неровной ниткой — траншея. Над ней нет дымов. На каждое движение сверху, с высоты с треском срывается длинная пулеметная очередь. С натужным свистом летит стая минометных мин. Они взрываются не все. Некоторые с хлюпаньем плюхаются в раскисшую землю. Осклизлые нетесанные бревна стен. На потолке с рыжими подпалинами прорех — мокрая до черноты плащ-палатка. Внизу — втопанные в грязь пустые снарядные ящики, патронные цинки. Вода по стенам, внизу, сверху, в воздухе. Даже пламя коптилки из снарядной гильзы горит, с треском шипя и плюясь. Искры от разбавленного солью авиационного керосина, слитого с бака сгоревшего БТ.

У составленных в пирамиду в виде стола ящиков сидел командир. Неверное пламя коптилки костром вспыхивало в черных зрачках. Накинута на плечи шинель. Черные от грязи и крови бинты на шее. Лицо столетнего старика, только почему-то без морщин. Серые от седины волосы. Он стал командиром этой роты, когда рота стала чуть больше его взвода. Девятнадцать лет или сто? Сколько ему он уже не понимал. Рота сейчас сидела по колено в воде и грязи в тонкой ниточке топкой траншеи. Вся его рота, все сорок дошедших до высоты его солдат.

Сидела, дышала холодным, без пара, замерзшим дыханием на красные от холода скрюченные пальцы. Давилась надсадным кашлем простуженных легких. Черными зу-

бами жевала махорку, чтоб хоть чуть-чуть сбить никотиновый голод. Грызла каменные сухари. Мочилась в углы траншеи, стоя на коленках в грязи. Смотрела со дна траншейного лабиринта в драный холст серого неба и жила. Жила и сражалась. Сражалась с сытым и наглым врагом этой своей жизнью, этим своим холодным дыханием. А он смотрел на лежащий перед ним приговор его роте: «В ознаменование 25-й годовщины Великого Октября, силами третьей стрелковой роты, осуществить внезапный удар и занять высоту». И рота пошла. Сорок штыков, сорок пар глаз вырвались из утреннего тумана и взяли высоту по приказу и в ознаменование и потому, что так надо. Потому что это Приказ. Потому что это их земля. Вопреки всему взяли. Только вот удерживать ее уже было некому. А сытый, наглый, самоуверенный враг бежал. Бежал и растворился в вечности вместе с огнями Победного Салюта в Москве в мае 1945-го.

А они остались в траншеях, воронках и на склонах высоты. Их хоронили. Сначала их сверстники-Победители. Находили в предполье их белеющие кости. Тихо на деревенском кладбище, без помпы и салютов, по-солдатски махнув рюмку и накрыв граненый стакан черным, жестким послевоенным хлебом.

Потом хоронили их дети. В пахоте полей под трактором углядев погнутую винтовку и россыпь белых фаланг, долгие годы ее сжимавших. Потом дошла очередь до внуков и правнуков. Они специально приходили на давно заросшее молодым лесом, давно не паханное поле и искали их. Месили ту же холодную жижуху их засыпанных траншей. Заново расчищали их ячейки и ходы сообщения. Так же молча сидели по ночам у чахлого в сырости костра. Так же ловили глазами его красные отблески, глядя на отвоеванную ими высоту. А потом для некоторых из них, для тех, у кого в черном пенале медальона сохранилась записка, началась дорога домой. И они были счастливы. Сверху взирая на свою высоту и идя своей дорогой. Но им, погибшим в ознаменование и по поручению, отдававшим свои жизни в убийственных атаках к датам и праздникам, невозможно понять и нам им не объяснить, почему и хоронят их «ко

дню» и «в ознаменование», в связи с прибытием и по поручению.

Им там, наверху, неясно, что за «великие» люди в лакированных туфлях, белых рубашках и перламутровых галстуках заставляют их ждать по полгода своих похорон. Им не понять, а нам не объяснить, какие высоты освободили от какого страшного врага эти «великие» и «важные» люди, если им — солдатам той войны, чудом с нее через семьдесят пять лет вернувшимся, приходится на похороны свои в очередь к дате стоять. Может, кто-то из этих, безусловно, важных людей поймет, что это они должны бросать все свои, безусловно, важные для живых дела и бегом бежать, чтобы отдать дань памяти вернувшимся с войны.

Может, пора понять, что самый Важный на этой земле человек — это тот, кто отдал за эту землю свою жизнь не по поручению. А по чести, по совести и по любви к этой земле. Может, хватит делать из их похорон и их трагедии наши праздники да ярмарки. Может, пора осознать, что не для митингов они к датам у высот ложились, а ради жизни и тихой памяти. Памяти глубокой, честной и настоящей на века, а не к датам. И если бы мы пусть хоть каждую неделю, каждый месяц и день приводили своих детей на похороны одного из вернувшихся, поняли бы и мы, и они, что такое двадцать семь миллионов жизней. По одной в день. Двадцать семь миллионов дней. Не хватит тысячи жизней, чтобы всем поклониться.



Ангел смерти

«Жемчужина России». Сколько мест борется за право так называться? Множество: от Калининграда до Курил и от Мурманска до Севастополя. Но мне кажется, жемчуг хоть и красив, но не столь многогранен, чтобы передать красоту того или иного места в нашей стране. Он сильно скучен в своей красоте.

Даже если его расценивать как главное в ювелирном изделии. О жемчуге нельзя написать книги, а о любом месте в России можно.

Как сравнить с жемчугом, например, тайгу в Карелии? Ведь это просто буйство красок, которое рождает в голове бурю эмоций, и, чтобы передать эти эмоции, не хватит и тысячи слов. Изумрудные сосны перемежаются с огненно-красными кленами. Мягкий, как самый дорогой персидский ковер, мох, несущий сотни различных оттенков, местами припорошен желтыми листьями берез. Кое-где из-под мохового покрывала пробиваются суровой серостью скалы. Как вены на теле этого великана, несутся черные, голубые, синие, изумрудные ручей-

ки и речушки, и оканчиваются они ровными, глубокими зеркалами озер.

А ещё это все говорит. Говорит, когда нет шума машин, криков людей, грохота поездов и самолетов. Когда ты далеко и хочешь слушать — ты слышишь. Слышишь, как, щелкая, полетел из-под ботинка камушек, а потом с шелестом затих, уткнувшись в покрывало мха. Ты слышишь сначала тихий шорох вдалеке, а подходя ближе, понимаешь, что с тобой уже в полный голос говорит маленький водопад лесного игривого ручейка, дальше ворчит и ревет его старший брат в горной речке.

Сидя у лесного озера, глядя в его тихое зеркало, слышишь разговор деревьев. Разлапистые вечнозеленые сосны и ели как будто обнимают своими ветками пожелтевшие, почти уже голые березы и клены. Они как будто хотят их согреть и защитить от осеннего ветра. Но они завидуют их золотому, алому, такому разному убранству. Ведь их век в одном цвете. Жемчуг? Куда там.

Красноармеец Иван Ефимович Семенков, двадцати восьми лет отроду не видел в своей жизни жемчуга, да и вообще, кроме родной Рязанщины, больше похожей летом на изумруд, с ее зелеными полями и перелесками, а осенью на янтарь с золотыми налитыми колосьями. Здесь, в тайге, для него всё было ново, красиво и непривычно. После равнины, скатерти полей — скалы, сопки, тайга.

Рота врубалась в скалу. Рота, а вместе с ней Иван Семенков грызли, кололи, рубили камень. Не до красоты и лирики. Сюда шел враг. Обойдя озера, ударив во фланг основной обороны, сюда шли финны, и лишь одна рота готовилась встать у них на пути.

Под сотню винтовок да несколько ручных пулеметов — вот и вся сила. А потому надо вгрызаться в скалу, чтобы дать тылам отойти, увести обоз и раненых. Здесь не будет глубоких траншей и окопов, прочных блиндажей, дотов и минных полей. Лишь редкая цепочка выбитых в скале стрелковых ячеек по колено с хлипким, сложенным из вынутых камней бруствером. Все они понимали: им предстоит один только бой.

Страшно? Наверное, это безумно страшно, замерев на дне каменного кармана, слушать в тишине кукушку, пони-

мая, что она кукует совсем не года, а часы, даже, может, минуты твоей уходящей жизни. Он лежал, смотрел в голубое тихое небо и видел в нем родные рязанские поля, свой дом и еще много чего, такого близкого и такого важного и не очень.

Первый выстрел. Словно шелчок постушьего кнута оборвал кукушку и обрушил тишину леса. А следом низкий, нарастающий, рвущий воздух и нервы вой падающих мин, рождающий первобытный ужас. Мины падали на камни, воздух наполнился воем металла и осколками камней. Тугой зловонный запах сгоревшей взрывчатки повис над высотой. Он заползал в каменные пещеры ячеек и окутывал свернувшиеся в самых нелепых позах тела солдат. Кто-то так и не смог разогнуться и поднять укрытую руками голову в пробитой стальной каске. А остальные встали. Встали и открыли огонь по мелькающим между деревьями серым теням.

А потом было несколько часов ада. С воем и визгом камней и железа. Криками и стонами раненых, молчанием убитых. Была единственная, отчаянная и кровавая контратака. И солдат Семененков видел, как, споткнувшись, упал его сосед справа, ткнувшись в мягкий мох лицом. Он судорожно рукой сгреб его себе под щеку, как взбитую подушку и затих, будто уснул. Видел, как, встав на колени, подняв лицо к небу, на секунду замерев, грудью рухнул на камни старшина.

Иван краем глаза, ровно за секунду до того, как его ударила в грудь пуля, увидел солдата. Он выпадал из общей картины творящегося вокруг ада. Он сидел на камне, смотрел на творящийся вокруг ужас и курил. Курил, пряча огонек папиросы по старой солдатской привычке в кулаке, и смотрел голубыми пронзительными глазами, в которых была только боль, на него — Ивана.

Солдат был одет в серую шинель без петлиц и погон, так что не понять ни звания, ни рода войск. На голове его была не привычная пилотка, а старая, как у Иванова отца, старого солдата еще Императорской армии, фуражка без кокарды. Удар в грудь — секунда, запах прелой листвы и как обрыв — тишина, будто выключили

звук. И яркая вспышка. А потом он услышал: «Пойдем. Нам пора».

Открыв глаза, он с ужасом увидел внизу свое тело с огромной кровавой дырой на спине. Увидел стоящего рядом странного солдата. А за ним удивленно рассматривающего лес вокруг старшину. Увидел, как, не замечая их, мимо в тишине, как в немом кино, раззявив в крике рты, в атаку бегут его товарищи.

Он понял, что произошло, и понял: если и есть Ангел смерти, то он обязательно русский солдат. Потому что только он может понять, что такое долг, война, работа, а еще не забыть сострадание. Ведь и смерть должна понимать боль и несбывшиеся мечты.

Солдат обернулся и пошел, шелестя по мху длинными полами своей шинели. А они пошли за ним, тенями мелькая между деревьев и болотных кустов. Шли и в эту шеренгу вставали один за другим их товарищи.

Скорбный этот строй растворился в болотном тумане.

Они знали, что высоту отстояли, ночью похоронили найденных убитых и в сгущающейся темноте живые навсегда ушли, оставив в записке ротного донесения короткую фразу: «Захоронен на высоте номер..., у безымянного ручья».

А я сидел на холодных, избитых осколками и пулями камнях над их ячейками и думал. А всё же что-то не так. Не сильно ли мы занизили свой долг перед ними? Не сильно ли его пересчитали по низкой и нам удобной ставке? Не сильно ли это мало — просто найти, похоронить и помнить? Это ли или только ли это им от нас надо? Не предлагаем ли мы и детям своим этот заниженный вариант оплаты долга? Не хотят, я думаю, павшие, чтоб мы всё время рыдали над их могилами. Мало им этого! Они хотят, чтобы мы были лучше их. Честнее, сильнее, добрее. Чтобы страна, которую они нам оставили, становилась еще красивее, еще сильнее и свободнее от мерзости, страха, предательства. Хотят, чтобы жили мы, как дышали, — полной грудью, как им не довелось. И не зря их выжившие и вернувшиеся товарищи говорили и жили так: «За себя и за того парня!» А мы? Мы выбрали, как нам проще: «Помним. Гордимся! Не забудем! Не простим».

Правильно это, но мало, им мало. Не оплатим мы так долги наши. И детей наших должны другому учить, мало помнить, надо стать такими же или лучше. Создавать, творить, строить, работать. Чтобы и они могли гордиться, могли видеть, что не зря высоты они отстаивали и отвоевывали. И когда и нам солдат в выцветшей фуражке или пилотке, с пронзительными голубыми глазами на простом русском лице скажет свое «пошли», то дали б они нам возможность встать в их строй, а нам совесть позволила бы в него встать.



С Христом в партбилете

Где можно услышать тишину? В лесу? В поле? Я ее слышу на болотах. В лесу изредка хрустнет упавшая ветка, вскрикнет потревоженная этим хрустом птица. В поле шумит ветер. А на болоте жизнь замерла. Замерла много лет назад. И оно живое. Снег крупными снежинками падает на мховую подушку. И иногда кажется, слышно, как с хрустом ломаются четкие грани созданных природой идеальных кристаллов. Антрацитовая темнота черных водяных окон парит, придавая этим колодцам какую-то мистическую силу. Дорога в бездну. Или дорога в другое время. В то время, когда здесь, в туманной дымке, шли стрелковые цепи. А потом, разорвав тишину утробным воем, с визгом рвали болотную вечность снаряды и мины. Черными фонтанами на белом снегу вставали кусты разрывов. С мрачным хлюпаньем плюхались неразорвавшиеся фугасы. Они и сейчас там, глубоко на дне. Как затаившаяся в тишине смерть.

Здесь ее ощущаешь почти физически. Крики тонущих, падающих под фонтанами грязи людей. Огненными ли-

ниями впивающиеся в тела стрелы трассеров. И опять тишина на десятки лет. В черных парящих болотных окнах люди. Там, внизу, упавшие тогда, а сверху заляпанные этой грязью, но чистые душой живые. В их красных от холода, скрюченных пальцах, как из тогдашнего времени, из черноты колодца вечности, каска. В серо-зеленой краске, с пятиконечной звездой, навывлет пробитой осколком. Винтовка с примкнутым штыком. Ремень застегнут, с патронными подсумками. Горящие золотом латуни, как вчера собранные в обоймы патроны, карандаши гранатных запалов. Большие куски посеченной осколками солдатской шинели. Черные ленты обмоток парящими змеями выползают из темноты. Ботинки с кожаными зашнурованными семьдесят пять лет назад шнурками. И тело, прах, превращенный болотной кислотой в чуть улавливаемые замерзшими пальцами крупинки костных пор, и ничего... Был человек, вот он бежал, кричал, умирал, верил, любил, и только черное парящее окно в болоте и вещи, как будто перенявшие его тепло и его душу. Маленькая пуговка со звездой и почти целый нагрудный карман. Дуя на окоченевшие пальцы, ты осознаешь, что там, в черной воде, когда-то билось и остановилось человеческое сердце. Остановилось и стало этой водой, этой землей. Бережно, чтобы не оторвать, открываешь карман, а в голове каждую секунду гулками ударами отсчитывают удары человеческого сердца, и ты уже не понимаешь — твоего или это в тебе, в твоём мозгу бьется его сердце. Раскисшая в слизь бумага и вспышкой огня или крови красные корочки с полустертой, истлевшей надписью: «Всесоюзная коммунистическая партия (б)», а среди превратившихся в тлен листов маленький медный православный крестик на шелковом белом шнурке. Тишина на болоте. Только шорох падающего и растворяющегося в черных зеркалах воронок снега. Пар из раскрытых ртов живых и молчание мертвых. Кто-то из великих сказал: «На войне нет атеистов». Он прав. Часто мои товарищи находят у павших солдат Рабоче-Крестьянской красной и позже Советской Армии символы православной веры: крестики, ладанки, иконки. Как совмещали они, коммунисты и комсомольцы, идеи марксизма-ленинизма, которым верили

свято и преданно, и веру в Бога, которую эти самые учения отрицали как мракобесие? Не знаю. Могу лишь предположить. Вера в Бога обещает нам рай после смерти. А они, эти солдаты, хотели и строили этот рай на земле. Ведь недаром в западных областях Белоруссии старые люди приход Красной Армии называли приходом Христова воинства.

Не верите? Спросите стариков. Прочтите Бориса Васильева «В списках не значился». Почему? Да потому, что в этих молодых Советских солдатах они видели освободителей от польского панства, от немецкой барщины и концлагерей, от несправедливости и лжи. А я не вижу в этом ничего странного и противоестественного. Ведь коммунизм и его догмы — это перефразированные десять библейских заповедей.

Что получилось? Может, здесь дело в исполнении? Человек слаб, и исполнение этих заповедей было доверено людям с их слабостями, грехами и пороками. А солдат на войне за секунду, за минуту до смерти знает и чувствует, к кому обратиться за помощью и поддержкой. Вот и вставляли в атаку «За Родину!», а сохранить от пули просили Господа, Христа, Аллаха, Будду или еще кого. Я думаю, их общим солдатским Богом тогда и во все времена были справедливость, честность и самопожертвование за други своя и за нас с вами, за свободу нашу. Разве не носили они с гордостью орден Святого Александра Невского? ордена Кутузова и Суворова? А Красный флаг, ставший одним из главных символов страны? Ведь в нем кровь солдат дружин Дмитрия Донского, Александра Невского, Минина и Пожарского, Суворова, Ушакова и Кутузова. Красное знамя — это не только символ Победы, это для меня теперь и символ справедливости, которая всегда торжествует.

Пáрит черной бездной болото, и текут непрошенные слезы по красным от стужи лицам, а на белом снегу алой кровью партбилет и медь православного крестика. Еще один неизвестный воин Рабоче-Крестьянской красной Армии, армии Света и справедливости!



Три свечи

Золото солнца играет на темной воде каналов. Зайчиками лучи скачут по золотым крыльям вечных сфинксов у древнего, со своей неповторимой красотой моста. Лучи пляшут в их счастливых глазах. Молодая красивая женщина в белом воздушном платье и мужчина в тенниске и летних льняных брюках, смеясь, подбрасывают над лужами, оставленными теплым ночным дождем, мальчика в смешной матроске. Малыш залиvisto хохочет. Так, как могут смеяться только дети. Иногда на секунду там, в недостижимой ребенку высоте, их глаза встречаются и взгляды спрашивают и тут же отвечают: «Любишь? — Люблю! Счастлив? — Безмерно». А ребенок, с маминими голубыми глазами и папиними тонкими, упрямыми губами, всепонимающе глядя на них снизу вверх, с мудростью четырехлетнего человечка, замолкает, давая им насладиться друг другом. Они Счастливы! Хохоча и дурачась, все трое бегут по проспекту туда, где у черной трубы репродуктора почему-то собрались люди. Они подходят и замолкают, улыбки стирают тяжелые слова, падающие, как камни, на Счастли-

вых людей. Только на лице ребенка, со смешно облазящим от солнца конопатым носом улыбка держится дольше и, превращаясь в испуг, исчезает уже навсегда.

Мужчина посмотрел в ее ставшие вдруг какими-то тихими глаза, из которых, блестя под еще мирным солнцем, покатались ручейки слез, и прошептал: «Война». Вздохнув рукой вихры сына и поцеловав ее в соленую щеку, он шагнул в траншею Невского пятачка. А город из мира шагнул в войну.

Как будто льдом выдуло из черных труб репродукторов это страшное слово, забрав Любовь и выпустив Ненависть.

Заиндевевшее, покрытое толстым слоем льда черное окно, перечеркнутое крест-накрест бумажными полосками. Красные блики огня из приоткрытой дверцы буржуйки мечутся на высоком потолке старой ленинградской квартиры. На кровати укутанный в страшную хламиду из женских платьев, кофт и шалей маленький старик. Бледное, как полотно лицо с черными, навсегда остановившимися глазами. Черный провал открытого, как в последнем крике, рта. Скелет, обтянутый серой кожей. Замороженный дыханием смерти.

За столом женщина. С методичностью робота распарывает белое летнее платье на погребальный саван для сына. Пустой взгляд уперся в лежащие на столе два кусочка черного блокадного хлеба. Ее и его. Не успела! Не спасла! Погасшая свеча. Пар из искусанных губ, как медленно уходящая из нее жизнь. А кругом холод и лед. Холод и ледяное дыхание Войны. Это оно задуло свечу их жизни. Сына и его отца.

Серый бланк похоронки принес однорукий почтальон. Молча положил на пустой стол и вышел. А сквозняк хлопнувшей в парадной двери затушил свечу. Как война затушила жизнь. Мальчик уже не мог встать, и она не боялась, что он увидит серый листок на столе и все поймет. Поймет, что где-то там, где громяхают орудия, его отец встал из ледяной траншеи и сделал свой последний шаг сюда, к нему, к умирающему городу. Сделал этот шаг, но не успел. Встал и упал навзничь, глядя стекленеющим взглядом в серое небо.

Его шаг не спас сына, но спас других, чужих сыновей. А ей надо жить. Зачем? Чтобы мстить! Чтобы навсегда заткнуть смердящую пасть Войны. Чтобы помнить о них и о своем Счастье. И попробовать, пусть ценой своей уже сломанной жизни, подарить это счастье другим.

Потом был фронт. Были окопы под Ленинградом, холодные болота Новгорода и Смоленска, были Польша и Германия. Было Красное знамя над рейхстагом, и была Победа. Были слезы радости и неимоверная боль от осознания потерь. Был ужас и отчаянье от возвращения в, казалось бы, ненужную и бессмысленную без них мирную жизнь. И был труд, труд, чтобы город — ИХ город, как и тысячи городов во всей этой стране, опять был счастливым. И она ходила по светлым проспектам, смотрела на молодых счастливых людей, потерянно улыбалась им, и ее любимые были рядом с ней.

Были долгие вечера в пустой квартире, и она зажигала две свечи и говорила с ними. И во многих окнах горели тогда в тишине одинокие свечи. А когда на Пискаревском кладбище зажгли Вечный огонь, она увидела в нем их двоих, веселого мальчика в матроске и молодого мужчину. А еще там были миллионы чьих-то отцов, мужей, сыновей, матерей, и она говорила с ними. Она тихо ушла в своей квартире. Оставив на столе три погасшие свечи и два окаменевших кусочка блокадного хлеба напротив старой фотографии с тремя счастливыми людьми и серый бланк похоронки. Она тоже стала частью нашей памяти, частью Вечного огня, который зажгли миллионы сгоревших жизней.

Это не дети плюют в Вечный огонь, не маргиналы и отморозки тушат его и заваливают цементом и мусором. Это Наши Беспамятье, Равнодушные и Черствость пытаются затушить Память. И когда погаснет Вечный Огонь, зажженный их жизнями, ворвется Война. От нее не откупиться, не спрятаться за банковскими счетами и стенами крутых особняков. Не уехать на крутой машине. Она просто рассмеется вам в лицо, как вы смеялись над стариками, что-то шепчущими у Вечного огня. Покрутит пальцем у виска, как и вы крутили, глядя на «сумасшедших», копающихся в

болотной жиже старых окопов, вырывая у той войны Память. И войдет к вам в дом, забрав самых дорогих и близких. Слизнет еще миллионы жизней. Своим зловонным ледяным дыханием выморозит миллионы домов, оставив там одиноких стариков и старух у тлеющих памятных свечей, и останутся ли люди, а у них силы зажечь по нам новый Вечный огонь?



Сытые

Грязно-желтые, покрытые палой травой поля. Серая туманная взвесь над полями. Словно усталые облака легли на землю отдохнуть и скоро снова в путь. Разбитая в хлам дорога средней полосы России, уходящая в царство мертвых деревьев или в никуда. Посреди поля, зеленым сосновым пупком высота, как яркая заплатка на рыжей, изгвазданной, порезанной пулями и осколками солдатской шинели. А под соснами скромный обелиск с почти стертыми фамилиями, именами, званиями.

Тихо... Вокруг нет живых, только мы и они. Краем высоты заплывшие, разбитые снарядами их окопы, обрушенные блиндажи, землянки, пулеметные гнезда. Отсюда их вынимали, тут и лежат теперь. Лица... Я люблю бродить и смотреть в их лица. Молодые улыбающиеся пацаны с дерзко вскинутыми подбородками, переполненные гордостью за свою новую военную форму. Задумчивые мужики, в чьих лицах мысли о доме и родных. Строгие, затянутые в португалию командиры. Все разные, а что-то одинаковое в их лицах.

Глаза... Да, у них у всех одинаковые взгляды. Как объяснить? Они светлые, человеческие, что ли. Они внутрь тебя смотрят как живые и, кажется, спрашивают: «Поговорим, солдатик?» Я это не для красного словца, вы сами сравните. Вы взгляните в миллиарды селфи в интернете, они пустые, они, как сейчас модно говорить, «ни о чем». Это просто картинки. А там — лица.

Склон, впереди, в молоке тумана, поле, а сзади, как дремлю в спину, глаза. Что же там в них? В них голод! Да, голод! В них голод и жажда! Жажда жизни. Жажда творить, создавать, жить, работать. И вопрос немой: «А ты что штаны здесь просиживаешь, на поле глядячи, философ доморощенный?» Перед глазами лентой черно-белые кадры хроники первых пятилеток. Парни, девчонки, мужчины и женщины с горящими глазами строят, ткут, покоряют вершины гор, ведут самолеты, ледоколы, машины, трактора. Хроника Великой Отечественной войны: строгие лица, раскрытые в крике рты, взрывы, дым пожаров и слезы радости в Берлине. Потом стройки возрождения, космос, БАМ, полярные станции, геологические партии. И везде улыбки и огонь в глазах. Полистайте старые газеты. Нет там и слова про патриотизм. Ну нет, и всё. Про гражданскую позицию есть, про ответственность перед страной и народом есть, про долг перед Родиной есть. Про патриотизм ни слова.

Почему? Почему они горели, а у нас глаза в пелене, с туманной поволокой? Почему талдычим мы про патриотизм на каждом шагу, а всё никак Родину не полюбим и детишек своих ее любить не научим? Всё думают они, где б потеплей пристроиться, а лучше, так и за пределами страны этой. А потому что сытые мы! Глаза нам жир застит. Закормила страна своих патриотов, зажрались они, простите. Слеты, сборы, конференции — здорово это. Но не так! Правильно, должно государство людям, добрые дела делающим, помогать, обязано просто. Но оно им должно помогать только делать, оно их на трон сажать не должно! Доброволец, волонтер — он голодный должен быть. Он должен быть готов в любую минуту. Чемодан, рюкзак, вещмешок под мышку — и на целину, в тайгу, в космос, а вот там ему

страна должна условия к труду создать. Ну не должен доброволец в добровольцы за теплой должностью и за красивой формой идти. За фуршетами, кофе-брейками, отелями и вип-трибунами. Он за возможностью в тайге в вагончике пожить должен идти. За счастье в ночи корабль между льдин вести. В радость утром в сосновом лесу под пенье птиц проснуться. За возможность гореть, а не плавиться.

А мы сытые, и дети наши, кого мы в патриоты прочим, еще больше заплывшими становятся. Мы даже понятие такое себе выдумали — «зона комфорта». Это типа где ты, как в коконе собственных исполненных желаний, прибываешь. Телевизор, компьютер, еда, тепло, душ, горячая вода. И нам-то себя выдрать из этой зоны тяжело, а уж младших сейчас клещами выдирать надо, а годков через пять и не выколупаешь. Выползут, через дорогу переползут, в какой-нибудь молодежный центр с кучей компьютеров и кондиционеров, с душами, друг перед другом пофорсят дутыми достижениями в продвижении своих страниц и количеством «лайков» и обратно по нормам. Сытые они, и дальше мы их кормим — если лагерь, то с кроватями, если работа, то непыльная и безопасная. Условия чтоб труда и отдыха соблюдались, ветерком чтоб не задуло.

Смотрел я в пелену тумана серого и вспоминал, а ведь видел я глаза горящие. Видел, и не на могилах, а живьем и недавно. Вспомнил, и совсем мне страшно стало, потому что хоть и был тот огонь живой, но злой он был и страшный. А потому что видел я его в прорезях балаклав марширующих молодых нацистов, из-под тюбанов игиловцев, у парня в Керчи, товарищей своих истребившего, адским злым огнем глаза горели. Они голодные! Голодные, злые и своей ненавистью и злобой сильные. Они сами себя из зоны комфорта вырвали. Теперь их комфорт — боль людская! Лагерь детский, где нацики пацанов малолетних учат русских убивать. Оружие, полосы препятствий, грязь, ссадины, еда из полевых кухонь, палатки старые, вода из реки и глаза пацанов, страшным задором горящие. И нет там ни проверяющих от Министерства образования, ни санстанций, ни потребнадзора. А только ненависть, злость и

голод в глазах до наших жизней. И помнятся наши мальчишки, девочки в белых курточках, с глазками, после сытного фуршета ослотившимися, на Красной площади у богатого, теплого автобуса, о любви к Родине и патриотизме рассуждающие.

Не подумайте, я не за то, чтоб в грязи и дерьме всё было, его и так у нас вокруг в достатке, да и про голод я фигурально. Голод к жизни, к свершениям, к переменам должен быть. Не должен патриот в тепле Родину любить, в тепле ее каждый гражданин любить может. Не должен в тепле и неге пребывать, пока есть в стране деревни умирающие, могилы солдатские брошенные, неубранные, а поля непашаные. Сам должен себя из привычной, проклятой зоны комфорта вырвать, а государство не за трибуну разговаривать его поставить должно, а дать ему возможность дело важное и для страны, а не для дяди упитанного в пиджаке фирменном сделать. А по-другому оставим мы за собой «сладких» мальчиков и девочек с масляными, коровьими глазами с поволокой, и придут волки и порвут и мальчиков с девочками — детей наших, а заодно и страну нашу. Страшно это. «Потому с себя начать надо, солдатик» — вот что мне в спину глаза живые с мертвых фотографий ска-зали.



Точка, ставшая многоточием

Снег скрипел под сапогами, превращаясь в следах из россыпи блестящих под солнцем алмазов в серую кашу. Солнце, выглядывая яркими лучами, пробиваясь через изумрудную зелень сосновых веток, серело на грязной изодранной одежде идущего человека. Серая тень с завязанными за спиной руками. Серое, грязное, с черными провалами глаз лицо и только рубиновые капли крови на разбитых губах и воротнике распахнутой шинели. Скрипели не его шаги в рваных, местами прожженных валенках ноги ворошили снег, по-старчески обессиленно загребая его. Скрипели начищенные до зеркального блеска сапоги конвоира, как будто только сошедшего с агитационного плаката. Он любовался ярким зимним утром, блестя на солнце «цыганским» золотом начищенной латунной амуниции. Идущий впереди со связанными руками, серой тенью человек видел красоту по-другому, он прощался с ней. Каждый неловкий, тяжелый шаг его, как удар метронома, уносил одну секунду его короткой жизни. И, петляя пунктиром и зигзагом, людей

с разными дорогами, в конце каждой из которых черной точкой яма могилы. Кто был по ту сторону ствола? Я не знаю. Я видел лишь сконцентрированную в темноте расстрельной ямы боль и страдания. Видел сохраненный темнотой могилы страх палача. А еще я видел людей. Живых людей, которые превратили чужую боль в предмет торга и механизм удовлетворения личных пустых амбиций. Они, как вороны, кружат над этой Памятью не давая поставить в тысячном многоточии точку Памяти. Они торгуют этой Памятью, выдавая ее в выгодном им свете, не давая возможности увидеть изуродованные лица павших и напуганные лица палачей. Они забывают или не знают, что каждая жизнь оканчивается одинаковой черной точкой, за гранью которой их, быть может, встретит вечный, пронизанный вековым презрением взгляд преданных ими давно ушедших людей.



Человек

Он медленно приходил в себя. Ресницы задрожали, и с них мелкими песчинками посыпалась земля. Глаза открылись, и перед глазами опять была земля. Черная торфяная жижа с запахом гнили и сгоревшей взрывчатки. Тишина. После адского огня, взрывов, треска очередей, воя мин и снарядов, тишина. Он попытался встать, но левая рука не слушалась, ногу пронзила тупая боль. Ранен. Черная рваная дыра на плече гимнастерки. Кровь вперемешку с землей. Некогда шикарные командирские галифе на бедре посечены мелкими осколками. Он перевернулся на спину. Над ним ярким прожектором светила полная луна. Свет звезд был не виден за этим ярким светилом. Тишина. Вонь болота. Она уже несколько месяцев окружения преследовала его. Смрадная вонь болота и гниющих человеческих тел. Вонь забивала ноздри и, кажется, была везде. Перевалившись на здоровое плечо, он попытался осмотреть поле боя. Он смотрел на него лежа, как бы с земли. Так, как это поле мог бы видеть муравей, бегущий по своим делам. Да он и был простым муравьем в огромном муравейнике войны.

Поле... Оно не было полем, лишь несколько месяцев назад здесь был лес. Сейчас расщепленные до самой земли снарядами деревья едва возвышались над землей. Мертвый свет луны обрисовывал на земле силуэты погибших товарищей. Раскинув ноги навзничь лежит высокий худой пулеметчик. Опустив голову в воронку, будто нагнувшись напиться, впереди виден командир в стоптанных хромовых сапогах. Прислонившись к высокому пню, так и не выпустив из рук винтовку с примкнутым штыком, опустил голову на грудь невысокий солдат с раскосыми азиатскими глазами в натянутой до бровей мятой каске. Кругом тишина и смерть. Они не прорвались. Последнее, что он помнил, — это завязавшийся бой в полосе прорыва и вспухший, как ему казалось, прямо под ногами огненный куст разрыва. Надо уходить, уползать. Утром немцы начнут зачищать поле. Голова кружилась от кровопотери и слабости, но раны не беспокоили. Просто тупо ныли. Он понимал, не выжить. Грязь в ранах, перебитые кости — почти стоцентная гангрена. Госпиталя с тысячами умирающих, голодным измученным персоналом и отсутствием медикаментов остались в пятнадцати километрах. Он видел там обрубки людей, которых по частям сжирала гангрена, а хирурги могли только все выше и выше ампутировать конечности, просто продлевая агонию человека, но выполняя свой врачебный долг. Куда ползти? Или остаться здесь и ждать утра и своей пули, походя пущенной в лоб немецким пехотинцем, шлепающим по болоту?

И он пополз. Пополз туда, где был его последний дом, где было то место, которое он мог считать единственным своим прибежищем в этом страшном муравейнике войны. Сколько он полз, человек не знал. Он уже не имел имени, звания, возраста. Он просто оставался человеком, и, пока на боку его висела, болтаясь и цепляясь за корни, кобура с пистолетом, он был солдатом. К брошенной перед прорывом у просеки штабной машине он выполз тоже ночью. Узнал ее среди десятков, сотен брошенных машин по притулившемуся у воронки орудийному передку. Он помнил, как хмурый старшина подогнал этот передок к их машине, выпряг из него измученную еще больше людей худую ло-

шадь и, приставив ей к уху карабин, выстрелил в смиренно опущенную к земле голову. Лошадь съели. Съели, будто это был маленький цыпленок или голубь, за час. Не оставив даже следов. Старшина ушел с первой колонной в прорыв, и лишь передок остался, будто специально для него, последнего из немногих выживших.

Их полуторка с тентованным кузовом стояла здесь, в предболотье, в низине, огромным ящиком возвышаясь на фоне сосен и звездного неба. Да, он понял: он видит звезды. Луна не заслоняет их свет своим прожектором, он был рад звездам и тому, что дошел к чему-то близкому, как дом. Рядом со снятым задним бортом горой лежали офицерские чемоданы. Их выпотрошенное перед уходом нутро было местами втоптанно в грязь и даже в неярком свете звезд напоминало неопрятную свалку. Он представил, как в его вещах утром брезгливо будет рыться немецкий солдат или литовский легионер СС. И понял, что он должен сделать. Припадая на раненую ногу, здоровой рукой помогая себе встать, он поднялся по борту полуторки и сбросил на землю канистру с машинным маслом. Бросил ее на кучу вещей, открыл пробку и, слушая, как тягуче булькает выливающееся черным ручейком масло, лежал на борту машины и отдыхал. Нашарив в кармане чудом уцелевшую зажигалку, чиркнул и поджег белый измазанный маслом лист. Тот медленно, с потрескиванием стал разгораться. Постепенно занимался огонь над всей кучей. И в рождающемся пламени он увидел свой чемодан и первым подтолкнул его в огонь. Затрещало пламя. Будто шагреновая кожа, сморщилась и поползла в разные стороны обшивка чемодана. И из него, как из распоротого живота, в огонь высыпалась, будто последний раз желая напомнить ему о чем-то или же сделать еще больней, его жизнь.

Как в немом кино, листаемые языками костра, сгорали фотографии. Мелькали близкие и навсегда оставшиеся за чертой войны и мира лица. Мама, отец, сестра. Чуть дольше огонь дал ему посмотреть на Ее фотографию. Вот сползла в огонь красивая шерстяная гимнастерка с новыми цветными петлицами, вот, блеснув на огне, в черноту уже накопившихся внизу углей соскочила серебрянная бабуш-

кина ложка. Он стирал свою жизнь, стирал, чтобы в ней не рылись и к ней не прикасались руки врага. В блуждающем свете огня, привалившись спиной к спущенному колесу машины, сидел человек. На черном, обросшем щетиной лице горели огнем нечеловеческой силы и воли к жизни глаза. Он прощался с жизнью и красотой ночи, он стирал себя, чтобы остаться человеком и солдатом. А может, их всех стерла война, чья-то злость, алчность, чья-то черная зависть и жажда власти над всеми?

Через семьдесят шесть лет у обочины давно заросшей фронтовой дороги найдут три человеческих зуба, кошелек с монетками, несколько пуговиц, застегнутый офицерский ремень. Это всё, что не стерло время. А над ним, склонив головы с мыслями о нем, стояли новые люди, его правнуки. Рядом у сгоревшей машины будут найдены сгоревшие в пепел вещи и маленькая домашняя чайная ложечка. Их, оставшихся навсегда Людьми, стерла война, их стирает время, но их оживляет простая человеческая память. Оживите их... Они ждут.



Земные чувства

Мы познакомились случайно. В нашей жизни часто бывают такие неожиданные знакомства. Знакомство началось с обломков деревянных элементов с остатками железных кронштейнов, которые принесли челябинские поисковики в лагерь. Обломки были от его самолета, самолета ЛаГГ-3. Утром, стоя у небольшого углубления на краю болотца, по телефону связавшись с Ильей Прокофьевым, я впервые услышал его имя — старший сержант Алексей Алексеевич Зеленский. Сбит в районе деревни Мостки, упал в районе деревни Кузино. И хоть тогда это было только предположение, я почему-то был уверен, что там, внизу, именно он. А может, очень хотел чтобы там оказался он, семьдесят шесть лет числящийся без вести пропавшим.

Почему? А откуда ж мне знать. Вроде когда самолет пустой, думаешь: вот здорово, спасся пилот, жив. А списки посмотришь, где одни «не вернулся с боевого задания», и думаешь: хоть бы одного вернуть. Странная такая внутренняя коллизия.

А потом была долгая и тяжелая работа многих людей, молодых и не очень. Мужчин и женщин, парней и девочек. Небольшая ямка превратилась в котлован. Были звонки и сообщения, как телеграммы, приближающие встречу: «Углубились на два метра, нашли посадочную фару, детали крыла. Углубились на три метра, запах бензина и разложения. Нашли планшет». А в наградном описан один из боев, за который двадцатилетний парень был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Я сидел под сосной на краю все разрастающейся ямы. Внизу, как в шахте, стоял крепкий рабочий гул, скрежет лопат, шум поднимаемых ведер с глиной. Вокруг, как муравьи, женщины, девочки и ребята помладше перебирали руками каждый комок породы.

Самолетная яма пахнет. Она имеет свой тяжелый запах. Запах гниения человеческого тела и запах горючего. Это запах подвига, боли, гибели в небе. Странно, да? Погибнуть в чистом, голубом, прозрачном небе, а лежать глубоко-глубоко в земле в обнимку со своей боевой машиной. Я как настоящий бездельник сидел под сосной и сквозь ее зеленую крону смотрел на это самое голубое небо. Слушал шорох ветра и думал. Рядом, напевая себе под нос что-то военное, пацаненок лет десяти усиленно перебирал грунт. Иногда он тоже замолкал, очищал какую-нибудь маленькую деталь и, щурясь от косых солнечных лучей, смотрел на небо.

Десятки напряженных глаз из-за разрытых взрывами брустверов траншей смотрели в даль, в голубое небо. Изгвазданные грязью каски, серые от земли лица солдат, руки цвета земли и напряженные тела. Они наблюдали, как там, далеко, за линией фронта, шел бой. Бой в небе. Мелкими мошками крутились в глубине неба самолеты. Где чей? Солдаты по опыту знали, что немецких «мошек» там больше. Страна не оправилась еще от первого года поражений. Слишком много мы оставили у границы. Слишком коварен был первый удар. Звуков этого боя не было слышно, чуть зудел лишь далекий звон десятков гудящих на предельных оборотах моторов. Изредка за одной из мелких черных точек вспухал длинный дымный

хвост, и она в тишине устремлялась к земле. Иногда в небе мелькал одинокий одуванчик парашюта. Вдруг одна из точек вывалилась из общей свалки и, припадая на одно крыло, теряя высоту, распуская почти прозрачный шлейф, потянулась к передовой. «Наш! Бак пробили. Бензин прет, домой тянет» — пробурчал пожилой солдат, прислонившись к стенке окопа, наблюдая за боем, сидя на корточках и приложив козырьком руку к каске. «Дай Бог ему доковылять, — утер слезящиеся глаза сидящий на патронных ящиках пулеметчик. А вот и по нашу душу летят. Ща начнут нас в землю закапывать». Он показал взглядом на крадущийся над лесом немецкий корректировщик «костыль». И стал аккуратно снимать с бруствера пулемет. Глаза немецкой артиллерии — «Хеншель-126» он же «костыль», принялся за свою работу, барражируя вдоль наших позиций и выявляя цели, одной из которых и должен был стать пулеметный расчет. Шум немецкого мотора, работающего на малых оборотах, то затихал, то нарастал приближаясь. Вдруг ружейно-пулеметным огнем плюнула немецкая траншея. Бойцы пригнулись, но, не услышав привычного посвиста пуль, начали робко подниматься над бруствером. Немцы палили в небо. А там, всё еще разматывая за собой белесый шлейф уходящего из пробоев бензина, к занятому своей работой «костылю» подбирался наш истребитель.

«Вот парень, сам-то чуть летит. Куда ты? Домой тяни», — зашептали в траншее. Очнувшись от ступора, закрутился стрелок в задней кабине «костыля», и к «ястребку» тугой нитью потянулась пулеметная трасса. Немцы в траншее перестали стрелять, боясь задеть своего. В нашей траншее сотни солдатских рук побелели, сжав то, что в них было: винтовки, пулеметы, комья земли с бруствера. ЛаГГ повернул нос, не обращая внимания на огонь стрелка. Ду-ду-ду, тррр-трр-трр, нос окрасился огнем, дунули «березины» и шкасы. Брызнуло на солнце разбитое остекление кабины, «Костыль» покрылся дырами пробоев, споткнулся, как о стену, выплюнул из пробитых баков облако пламени и быстро, теряя и без того малую высоту, рухнул на нейтралку. Рев сотен солдатских глоток «ураааа!» извергла из пропа-

сти траншея. ЛаГГ, заложив вираж, пыля керосином, чуть качнул крыльями, тенью скользнул над траншеей и скрылся за лесом.

День был нелегкий. Озлобленные потерей корректировщика немцы весь день наобум утюжили траншею 105-мм гаубицами, крыли нейтралку и окопы боевого охранения из минометов, лупили по всему, что двигалось, из стрелкового. Но и этот день войны подошел к концу. В сумерках, лениво догорая ломаной кучей хлама, чадил у немецких траншей «костыль». Устало ворочая в котелке ложкой, задумчиво глядя на черный маслянистый дым от обломков, боец — первый номер «максима» сказал: «А ведь этот день нам летчик подарил, а может, и всю жизнь, сколь ее еще нам намеряно. Господь таких смелых ведет».

А через несколько месяцев, отражая очередную атаку, выцеливая среди черных кустов разрывов вражескую цепь, оглохнув от стрельбы и грохота разрывов, он не заметил, как высоко в небе, распуская черный чадающий шлейф дыма, теряя высоту, летел самолет. А в кабине с разбитым пулями фонарем, забрызганной алыми каплями крови, молодой парень, зажав слабеющими коленями ручку управления, единственной здоровой рукой размазывал по лицу горячее масло, бьющее из расстрелянного двигателя. Выл, скалился, пытаясь протереть навсегда уже выжженные глаза. Проваливаясь от потери крови в бездну и выныривая из тумана, шарил рукой по кабине, пытаясь спасти горящий, бьющийся в агонии самолет. Пламя лизало сапоги, но он не чувствовал ничего, пребывая в горячке боя. И вот летчик улыбнулся бескровными, белыми губами, закинул окровавленную, покрытую волдырями ожогов голову, взглянул в небо. И, как будто поняв, увидев или услышав оттуда что-то важное, тихо закрыл невидящие глаза и всем ослабшим телом, покорно, будто засыпая, навалился на ручку. Убитой птицей, ломая кроны вековых деревьев, самолет рухнул в лес. Алексей Зеленский уже не чувствовал, как ломалось на куски его молодое тело, как его рвали в клочья обломки разлетающегося от удара двигателя, как то, что осталось от молодого двадцатилетнего парня, навеки спрессовало в один

ком с пахнущим порохом железом, поглотила земля. Он не чувствовал. Но почувствовал на секунду я, когда увидел его имя в комсомольском билете. Почувствовал Иван Дьяков, глядя на его фотографию из изорванного планшета. Почувствовал Артур Ольховский, разбирая его вещи. Почувствовали еще десятки парней и девчонок со всей страны, те, кто вынимал его из ямы. Почувствовал и мальчишка на отвале ямы, затихнув на секунду, глядя в небо и замерев от крика внизу: «Нашли!!!!» На секунду, на миг эта боль вспышкой, разрывом ворвалась в мозг, скрутила и порвала мышцы и затмила голубое небо.

И когда оно опять встало перед глазами, мы знали, чье оно, это небо. Чтобы любить — нужно чувствовать, чтобы ненавидеть — нужно чувствовать, чтобы понять — нужно почувствовать. Чтобы жить — нужно Чувствовать!!! И не только свою боль, — боль ближнего своего и боль тех, кто закрыл тебя собой много лет назад, дав право жить.



Яма

Триста пятьдесят два человека, триста пятьдесят две судьбы, сваленные в яму, засыпанные землей и поросшие лесом. Это всего лишь в ста метрах от оживленной дороги. Двести метров от дачного поселка, в который превратилась деревня Мишкино. Всего тридцать километров от миллионного города, за который они умирали.

Два месяца почти каждый день мы смотрели в их глаза. В пустые глазницы в надвинутых на лоб ржавых, рассыпающихся от времени касках, истлевших горелых танкошлемах. Два месяца выносил их оттуда на руках, разбирая по косточкам, простой мужик Саня Першин. Два месяца, как на свидание, с ритуалом: «Ну что, покурим, мужики, и за дело!» Сигарету в зубы, вторую в бруствер и помолчать. Почти каждый день, разбирая по косточке, отделяя в мешанине трупной слизи и обрывках неистлевшей униформы, говорим с ними. «Ну расскажи что-нибудь о себе, солдатик!» Саня с ними говорит, мы молчим, он тут главный. Почти каждый день судьба, одна за другой, как книга

с важным уроком. Важным настолько, что нельзя пропустить ни страницы. Валя Худанин первым вышел, рукавицы на руках у него были вязанные, неуставные. Сестру его нашли, а она письма его с фронта переслала. Маму он просил прислать ему варежки и носки шерстяные. По семье скучал сильно. Дошли, видать, варежки. Двадцать лет ему было, два из них на фронте, пулеметчик. Наверху лежал. А рядом, на нем сверху под корнями офицер безымянный, дерево сквозь него проросло. Открылась яма, преет на жаре, клубится трупными миазмами. Топорщится валенками несопругими, пальчики высыпаются из валенок в портянки семьдесят пять лет назад замотанные.

Говорят о себе солдатики. Жора Ночевко — земляк мой, из Смоленска. В Книге памяти Смоленской области о семье его упоминание есть: расстреляны немцами бабушка и жена. Не к кому даже на погост вернуться. Вот она вам, война и ценности западного мира — нет семьи целой, была, и вычеркнули. Вы вот ему, в черной от разложившейся плоти шинели, в пустые глазницы загляните и расскажите, глядя на распахнутый, как в жутком хохоте, рот оскаленный, про то, как пиво бы сейчас баварское пили, коли тогда бы немцам покорились. Днями и ночами в голове яма. Во сне кажется, лица с фотографий перед глазами стоят. Живые лица людей в костюмах и гимнастерках, а утром они же с раздавленными черепами, с ржавыми гранатами на расщепленных осколках тазах, со звездочками с истлевших шапок на голых черепах.

Ветер хорошо трупы выдувает. Волосы, местами на черепах оставшиеся, шевелит. Прочитает кто-то — сумасшедшие, скажет. Может. Но люди они для нас. Живые еще, потому как не похоронены доселе. А не похоронен, так живой, значит. Женщины... Три их тут было. Страшно это, когда женщина, мать, сестра, дочь, любимая вниз головой в яму скинута. Просто как кукла сломанная в кучу, в грязь, во мрак. Люди ли творили это??? Тихо посидим, покурим, помолчим. Саркофаг бы стеклянный над ямой этой сделать и водить всех сюда с первого класса и водить весь мир. А своих в первую очередь. Чтoб смотрели в глаза эти и клятву, как присягу, давали: «Не

врать, не лицемерить, не предавать!» А как нарушишь, так и будешь во сне каждый день возвращаться к яме этой. Долго не отпустит она.

Нитки золотые из жижи тянутся, и погончик с лычками сержантскими и эмблемами танковыми, валенки обрезанные и клоками горелые. Комбеза обрывки обгоревшие, не сгорел танкист в пепел, с корешами из «махры» пехотной в яму лег, редкая судьба для «танкача», не пепел — гроб похороним.

Жилет меховой покроя гражданского на ребрах следующего солдата, гамаши в валенках, намотано на ноги всего. Больной был, поди, артрит может, вон как берегся. Россыпью из кармана по ребрам шестеренки часовые. Мастеровой мужик был, рукастый. Здоровье на фронте берег. Непросто это, на фронте здоровье солдатское — это достояние народное, его беречь надо. Беречь — это не значит лелеять, а в атаку он со всеми встал и в яму со всеми лег. Смотрим на блестящие шестеренки и думаем, сколько могли еще эти руки сделать, починить, создать... Кто право кому дал мужиков и женщин наших в эти ямы укладывать??? И мат густой над ямой...

Золотом латуни из черной жижи патроны ПТР из под-сумка. Чьи? Вон мужичок лежит крепенький, скоро дойдем до него, сейчас вот матросика в ботиночках хромо-вых наружу вынесем... Вот он, родной, и говорит он: «Павел Лазарев я, номер расчета ПТР». А через несколько дней фото. Парень чернявый, красивый, в фуражке красноармейской. Брови черные, лицо — не у каждого актера нынче такой анфас найдется. Родил бы детей много, дом бы держал на плечах своих крепких, жену на руках носил, вот бы... Ээээх! Ты полежи, Паша, а мы покурим. Есть нам о чем подумать. Что б было со страной нашей, останься Вы живы. Как бы жили мы, если б Вы, молодые, красивые, крепкие, дальше бы страну строили? Точно по-другому. Да и мы бы другие были, не стали бы некоторые бездушно пустыми куклами, Вы бы не дали.

И еще посидим, покурим, дальше подумаем, что б было с землей этой, не ляг бы Вы в ямы по всей стране огромной. Предай или плюнь на все каждый из Вас. Мы бы в ямах

силосом пахучим лежали, а большинства и вовсе бы не родилось.

Дальше справа налево Саня ползет, узлы из человеческих останков расплетая, книгу страшную по страничкам истории судеб человеческих листая. Солдат Мухамбетов в обнимку с другим лежит. На имама отучился, а когда мечети закрыли, в школе детям физику преподавал, директором школы был. Мешала ему вера его вместе с «неверными» в бой за Родину идти? В яме этой лечь с товарищами своими, чтоб детишки дальше физику учили, в космос первые дверь открыли? А мы что? Посидим, дорогой солдат Мухамбетов, чайку выпьем да покурим еще до горечи во рту, дым слезы выбивает, а может, и не дым вовсе, ложись, дорогой, выходи на свет. Ждут тебя.

В ребра вросши, кругляшом белым медаль солдатская «За отвагу». Баланев Федор Иванович, сапер, 1905 г. р. Гранатами дот немецкий закидал. Смотрю и думаю, вижу, как размеренно, спокойно, по-мужицки этот дядька с немчурой разбирался. Он работу свою хорошо делать привык, а для солдата война — это работа. Каждый день думаю, каждый день я смотрю в яму и понимаю: знает враг, что за главное богатство у страны этой. Люди ее богатство, и люди — самое главное оружие страны этой. Люди — это и есть Оружие Победы. Потому и косили они народ под корень и сейчас выкашивают. Не открыто, нет, умнее и хитрее они стали. Души они выкашивают. Покупают, искривляют, обманывают, ломают, продают души наши. И здесь, в яме грязной, вонючей, чистые души лежат, через них и у нас шанс очиститься появляется. Маленький, но шанс.



Солнце будто выскочило из-за леса. В этот день оно не плавно гигантским огненным шаром поднималось над верхушками деревьев, лучами разгоняя тень по подлескам, кустам и пням, а просто ярко осветило дикий лес. Птицы, точно соревнуясь в музыкальном конкурсе, щебетали на все голоса. За месяц пребывания в лесу мы не слышали такого концерта. Праздник. Сегодня тут главный праздник. Праздник тех, кто даже о нем не знал. И здесь сегодня для нас главное место празднования. Именно здесь — в глуши и тишине. Здесь десяток заросших, угвазданных глиной мужиков, сто тринадцать солдат и женщина с двумя детьми, навечно оставшимися детьми. «Парадным маршем» мимо самодельного креста, увенчанного ржавой, пробитой солдатской каской, под которым лежит сто шестнадцать человек, прошлепал изношенными траками старый, грязный тягач. Он с «парада», прям как в 41-м, пошел на передовую, туда, где она гремела семьдесят семь лет назад. Пошел вывозить других. Когда по Красной площади шел Бессмертный полк, мы грузили их в тягач. В тишине мы молча вытянулись в цепочку

и бережно передавали их друг другу. Может, кто-то в этот момент нес их портреты по площади какого-то города.

А мы? Мы видели их лица в своих душах. И каждому они виделись по-своему. Вот стоит сержант, артиллерист с мужественным взрослым лицом, в новой фуражке, в ней его и нашли в воронке у дороги. Вот двое низкорослых мужичков-саперов в валенках и шинелях, они строили узкоколейку, там и лежали. Вот высокий сержант в старых, но крепких сапогах, красноармеец в сбитых ботинках и женщина с двумя детьми: пятилетней девочкой, которую она держит за руку, и мальчиком на руках. Их нашли всех вместе в воронке. Лица? Мы их видим, но каждый представляет свое. Они проходят через наши руки, души и сердца Бессмертным полком. Нашим Бессмертным полком, у каждого своим и единым для всех.

Мы смертельно устали. Неправда, что мы устаем физически. Совсем не о том говорят журналисты, описывая нашу работу. Не о грязи и болотах надо говорить. После пыльных офисов физическая работа в радость. Мы устаем морально. Мы, если делаем свое дело по-настоящему, проживаем тут не одну жизнь и не одну смерть. Я смотрю на лица пятидесятилетних мужиков, ребят помладше и вижу, как за две-три недели из безмятежно-счастливых, озаренных радостью встречи и предстоящими приключениями эти лица стали как будто черно-белыми, как на старых фотографиях или в хронике. Эти черно-белые глаза опять видели войну, ее последствия.

Мы опять пережили сто шестнадцать смертей. Сегодня День Победы! Их победы. И мы тут, в лесу, у разбитой в хлам фронтовой дороги, у Них в гостях, на Их празднике, к которому мы всеми силами стараемся быть причастными или примазаться, кто как.

А когда в сумерках далеко в городе раскатами грома гремел салют, нам он казался раскатами далекой артподготовки. В черно-белых глазах отражались огоньки свечей у солдатского креста. Пятиминутной истерикой природы брызнул дождь, а может это небо всплакнуло.

Несколько черно-белых лиц в тишине смотрели в алеющую углями лужу костра. А я думал. Хотят ли они воз-

вращаться в наш мир? Не тошно ли Им? Ведь даже нам, живым до физически ощутимой боли сложно уезжать из Их леса. Хотят ли Они, оставив по воронкам и окопам еще не найденных товарищей, поехать туда, где самых близких, тех, кто по-настоящему ждал и верил, уже давно нет? Хотят ли Они в тот мир, в котором нам, живым, самим сложно и тошно? Я думал, почему все эти салюты и митинги проходят на площадях и в городах? Они для живых? Чтобы помнили? Помнили о дате? Мне кажется, нужно помнить о людях, а для того чтобы помнить, нужно их чувствовать, а для того чтобы чувствовать нужно быть к ним ближе, а что может быть ближе места, где они до сих пор идут в свою последнюю атаку?

Если бы здесь, на передовых, прошли митинги, салюты и Бессмертные полки, это бы запомнили на веки вечные и живые, и Павшие. А так мы делаем праздник для себя, как нам удобно и как нам хочется. Я чувствовал, а может, решил, что чувствую, что и Они вместе со мной не хотят уходить из своего леса, от своих товарищей. Оттуда, где чувства искренние, где дружба настоящая, где «Родина» и «государство» — неразделимые понятия. И здесь было наше с Ними настоящее 9 Мая: торжественное, светлое и траурно-глубокое осознанием потери.



Вещмешок

Лес, тишина, осень. Золотая? Этого мало, осень, она яркая. Осень — это не золото, это как будто открыл старую бабушкину шкатулку с драгоценностями и смотришь на сотни красок, тонов. Смотришь — и не можешь взгляд отвести. Осень только в городе серая и мерзкая. Впрочем, как и лето — душное, а зима хлипкая. Только на природе любое время года прекрасно. Только в диком своем первозданном виде: в лесах, полях, горах — любое время года прекрасно. Но самое яркое, бесспорно, осень.

Бродя по осеннему лесу, мы ищем войну, ее следы, съеденные войной жизни. Там, где война была позиционной, линия фронта задерживалась, — это просто. На долгие столетия земля осталась изрытой и вспаханной железом войны. А искать следы отступающих частей, выбирающихся из котлов окружения, всегда сложнее.

Под ногами шуршат разноцветные листья, ветки кустов, цепляясь за одежду и обувь, как будто не пускают куда-то. Как будто лес, охраняя свой покой и свои тайны, задерживает тебя. Речки и ручьи, как вспухшие на натру-

женном теле вены, разлились от дождей. Вздумшиеся болота тянут ноги вниз, чавкают голодными псами, мешают идти, всасывают сапоги.

Оступаясь о прикрытые листьями коряги и поваленные деревья, спотыкаешься и валишься в мягкую, пахнущую прелью землю. Километры блужданий, и тишина, никаких следов. Отчаянный писк прибора, разворошенные листья, мох, дерн. Кружка, котелок, ложка, бутылочка от чего-то, помазок, бритва — солдатский вещмешок. За два часа всё вокруг перерыто, перекопано, руками передан весь дерн, как пылесосом, металлоискателем проползано всё вокруг, и тишина. Тишина такая же как была километры до и будет километры после.

Сидя в тишине на опавшей листве у поваленного дерева, вдыхая горький табачный дым, трясущимися от адреналина руками мусоля окурки, я вдруг услышал вдали уверенные короткие очереди немецкого пулемета, редкие нестройные залпы винтовок. Увидел черные, голые, обледеневшие ветви уснувших на зиму деревьев. Испуганная стрельбой одинокая птица, взлетев с ветки, осыпала вниз легкий, чистый, белый снег. Пулемет зло огрызнулся несколько раз, и наступила тишина. Птица, покружив над лесом, опять уселась на дереве, но, не успев замерзнуть, тревожно вспорхнула вновь.

Треск ломающихся кустов, и черное пятно человеческого тела вывалилось из подлеска. Загнанно хрипя простуженным лёгкими, проваливаясь в снег, озираясь в направлении недавней стрельбы, шел или плелся человек. Рыжие от огня, изодранные, в подпалинах грязные полы шинели мели снег и, как хвост огромной птицы, расстилались сзади, когда человек проваливался глубоко в снег. Разбитые, перевязанные красным немецким телефонным проводом носы солдатских ботинок мелькали под изгвазданными черной грязью обмотками. Сбившиеся на живот подсумки, расстегнутый ворот шинели, из-под которого выглядывал застиранный воротник гимнастерки с петлицами защитного цвета. Натянутая на глаза ушанка с зеленой звездой. Человек согнувшись нес на спине другого человека.

Споткнувшись о пень, он упал. Повозился в снегу и сел, привалившись к поваленному дереву.

Подтянул ближе свою ношу, освободил товарища от висевшего у него на спине вещмешка, скинув его у дерева. Привалил податливое тело к стволу поудобнее и затих, глядя в серое небо. Заросшее щетиной лицо с провалившимися глазами. Пар, вырываясь изо рта, растворяется в морозном воздухе. Ствол брошенной в снег винтовки, растопив было снег, тут же замерзая, покрывает ее тонким слоем льда. Человек недавно стрелял. Отдышавшись несколько минут, встав на четвереньки, он склонился над вторым. Пар едва поднимался над лицом раненого, дыхание прерывистое и неглубокое, глаза на обтянутом землистого цвета кожей черепа были закрыты; со стороны казалось, что это сама смерть в солдатском обличье таращится на небо пустыми глазницами. Раненый застыл. Человек рванул на груди разорванную пулей шинель, сунул под нее руку и, как обжегшись, резко выдернул ее из шинели. По черной, с въевшейся грязью руке нереально яркими, алыми каплями стекала кровь. Красные капли падали в белый снег и, сворачиваясь шариками, прожигая своим теплом белые снежинки, исчезали в толстом слое снега.

Человек развязал тесемки вещмешка, порывшись в нем, вытащил несвежую нижнюю солдатскую рубашу и стал зубами рвать ее на куски. Любопытная птица, смешно склонив на бок голову, черными бусинками глаз наблюдала, как два человека смешно возились у присыпанного снегом поваленного дерева. Потратив последние силы на перевязку, тяжело дыша, человек сгреб рукой снег с дерева и откинувшись навзничь, стал жадно жевать, утоляя жажду.

Они лежали на снегу голова к голове, глядя в серое небо, сверху, смешно наклонив голову, на них смотрела лесная птица. Где-то совсем рядом был враг. Где-то гремели орудия и шли в атаку роты. Где-то выли, пикируя с небес, самолеты и рвали гусеницами землю танки. А здесь была тишина.

Вдалеке сухо стрельнула сломанная ветка. Человек вздрогнул, птица, опять осыпав с веток снег, испуганно

упорхнула. Взвалив свою ношу, подобрав винтовку, проваливаясь в снегу, человек двинулся в глубь леса.

Клубы пара опять вырывались из натруженных легких, а сверху, у него на спине, стекленеющими глазами в серое небо смотрел Друг.

Лес погрузился в тишину, только цепочка следов, измятый у дерева снег и брошенный солдатский мешок нарушали идиллию зимней сказки.

О чем это всё? К чему эти непрофессиональные описания? Эти фантазии, не подкрепленные ничем? Станет ли кто-то это читать и нужно ли оно кому-то, кроме меня и моих друзей? Я не знаю. Я просто не могу не рассказать о тех тысячах следов, которые оставила война в нашей стране. Большинство этих следов обрываются, не ведут никуда. Как оборвались, уйдя в никуда, миллионы человеческих жизней.

А ведь если бы мы не потратили даром столько десятилетий, то большинство этих следов можно было бы прочесть. Прочесть — и узнать правду. А сейчас эти следы, пока ещё явно видные, где-то кровоточащие следы боли нашего народа, пока еще не дают нам окончательно стать пустыми и бесчувственными. Так и этот брошенный, одинокий на десятки километров, в диком лесу оставленный вещмешок с нехитрым солдатским скарбом сюда принес Человек. А каждый человек, защищавший свою Родину, оставивший на земле след, и этот след достойны памяти.



А я бы смог?

За сопкой заполошно затарахтели сороки. Лес, просыпаясь, наполнялся своими привычными звуками. Но там, за сопкой, что-то большое, тревожное неведомой силой приближалось к Безымянному ручью. Здесь, у ручья, еще не было слышно звуков, лишь сжавшийся, будто тугой в предчувствии воздух давал всем лесным обитателям время бежать от надвигавшегося Нечто. Медведь, недовольно рыча и оборачиваясь на сопку, уходил вверх по ручью будто презирая себя за трусость перед темным Нечто, недовольным рыком оправдываясь сам перед собой. Живность поменьше просто привычно пряталась по своим логовам, убежищам, не испытывая моральных терзаний. Но и эта вечно скрывающаяся от всех лесная мелочь по-звериному, чутьем понимала, что приближающееся намного страшнее самого сильного лесного пожара. Приближалась будто бы сама Смерть.

За сопкой по тайге ползла колонна. Колонна в двести машин: телеги и грузовики с ранеными, орудия на передках и форкопах грузовиков, полевые кухни, мастерские и

радиостанции. Город на колесах, дивизия. Параллельно машинам по лесу шли измученные люди. Война и приказ двинули эту такую неповоротливую в девственной тайге махину в тихий осенний лес, навсегда изменив жизни тысяч людей.

Враг шел по пятам, он опережал мелкими разведгруппами, устраивал засады по ходу движения. Он считал редкие арьергардные заслоны и шел по следу, как хорошо натасканный охотничий пес по кровавому следу подранка. А дивизия и была подранком, обескровленная в оборонительных боях первых недель боев, она, как раненый зверь, все глубже заползала в Карельскую тайгу. Каплями человеческих жизней оставляя по тайге след.

Ночью дивизия, выкручивая жилы из солдатских рук, на себе перетаскивающих через сотни болот и болотцев машины, имущество и вооружение, сбивая сотнями пар ботинок и сапог в черные ручьи троп болотные, моховые поляны, шла вперед и отрывалась от авангарда врага. Но с первым солнечным лучом авиация находила среди изумрудно-янтарного осеннего леса живую черную змею колонного пути. Вырывая из тела тайги целые клочья, начинала бить артиллерия. Черные столбы вонючей болотной жижи вставали справа, слева и среди идущих людей и машин. Превращая в черные статуи живых и навеки хороня павших. Лошади рвались с поводьев и дико ржали, вставая на дыбы, задирая в небо держащих эти поводья черных от грязи людей. Срывались вместе с телегами со свежеположенной гати и с диким ржанием тонули.

Люди умирали тихо. Разрыв, черный столб, бугор серой шинели в черной болотной ране, слабый всплеск и пузыри на воде. Мат, крики живых, вой и вопли раненых с оторванными ногами и руками. Алые до рези в глазах на черных телах раны с ослепительно-белыми торчащими сколами костей. Скрежет зубов от бессильной злобы, от ненависти к себе за отсутствие возможности ответить, дать сдачи, рвануть на себя затвор и, до боли стиснув приклад белым от напряжения пальцем, нажать на спуск винтовки. Ненависть эта, выливаясь с силой взвода, сталкивается с гати заглохшую полуторку, груженную снарядами. За

пять минут перегружает телегу с ранеными, стягивает ее с просеки вместе с убитыми лошадьми. Ненависть эта за погибших так запросто, без «ответки» товарищей, как пла-та за свой тупой, ноющий многодневный страх, делает шаг вперед при команде: «Добровольцы, выйти из строя!» Эта команда звучит каждый вечер, когда гул артиллерии смол-кает и вой самолетов покидает голубое Карельское небо. И каждый вечер взвод добровольцев остается на высоте и провожает уходящую колонну, чтобы дать ей шанс и полу-чить шанс отомстить самим.

Лишнее: противогазы, вещмешки летят на землю. Такие дорогие и важные, казалось бы, в жизни вещи перестают иметь всякую ценность, когда ты сделал из строя шаг впе-ред. Этот шаг, наверное, самый важный в жизни на Земле и в жизни после, именно этот шаг навсегда убивает пороч-ные чувства: страх, ложь, подлость, трусость, зависть, ли-цемерие. Этот шаг, как поганую змею, давит всё порочное в человеке, возвышая его над собою и над другими. Самый важный в жизни шаг, самый осознанный — и зачастую по-следний.

С ревом, криками, стонами раненых, сиплыми коман-дами, натужным кашлем людей и ржанием измученных лошадей уходила в темноту, но к жизни не оборачиваясь, колонна. А они, сделавшие свой главный шаг, покурив в наступившей темноте, расправив плечи, отряхнувшись от теперь ненужного в их новой, короткой жизни хлама, ку-цым строем двинулись «седлать» высоту.

Мы сидели на поваленной ветром древней сосне, и Они проходили мимо нас. Под ногами у нас остались брошен-ные ими противогазы и ненужные там, на высотке, вещи. А потом на высоте гремел бой, и мы видели этот бой. Виде-ли Их, сделавших этот, такой важный шаг.

Быть поисковиком сейчас модно. Сотни молодых людей едут в леса проникнуться духом войны, подвига, роман-тики. Наверное, это хорошо. Только вот понятие «модно»? Только вот истинная мотивация?

Я спрашивал молодых ребят и девчонок, приехавших во фронтовой лес: «Что вы видите здесь, вокруг себя?» Разные были ответы. «Красивую природу. Красивый лес. Много

зверей и птиц». Это здорово, что они видят красоту. Но это немного не то. Или совсем не то. И это не брюзжание «ухо-дящей эпохи». Чтобы искать и находить, нужно видеть во-йну. Нужно у заплывшей воронки увидеть взрыв, почув-ствовать тухлый запах сгоревшей взрывчатки, нужно до мелочей увидеть полет раскаленных осколков, и тогда ты найдешь, может быть в десятках метрах от нее, убитых ими солдат. Нужно не просто так молчать в минуту молчания и снимать шапку на братской могиле. Нужно снимать шапку перед строем сделавших свой главный шаг, снимать шапку и видеть этот строй. Нужно не просто молчать и думать о новом айфоне или о том, как я круто в школе, институте расскажу о своей поездке «на вахту». Нужно, просто не-обходимо думать о Них, говорить с Ними и говорить Им «спасибо» за сделанный этот шаг. Нужно ехать не за ро-мантикой, а на работу, такую, после которой не то что на ночные посиделки сил нет. Их нет на то, чтобы перед сном чаю попить. А ночью перед глазами строй и лица, лица, лица одно за одним.

Необходимо каждый день задавать себе один и тот же вопрос: «А смог бы я сделать этот самый главный и важ-ный шаг?» И чем сложнее будет на него честно ответить, чем дольше не будет однозначного ответа, тем честнее ты будешь перед Ними и перед собой.

Мы, многие, до сих пор не ответили.

13-3301/6
1-3. **СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ!**

Убей изменника Власова!

Генерал Власов перебежал к немецко-фашистским захватчикам — самым злобным врагам России. Власов хочет, чтобы наша страна была под сапогом у немцев, чтобы русские люди были немецкими рабами.

Советская родина никому не прощает измены.

УБЕЙ ВЛАСОВА!

Гос.
Публичная
Библиотека

В Праге чиновник, пусть и одиозный и даже с виду не очень нормальный, но представитель официальной власти, всерьез вынашивает идею установки памятника генералу А. Власову. В России господин Быков говорит о Власове как о человеке, достойном книги серии «Жизнь замечательных людей». Это что? Грязный пиар или попытка переписать историю? Зачем это? Кому и для чего это нужно?

Юность и молодость моя выпала на девяностые годы, развал Великой страны, потеря незыблемых идей и ценностей... Как все молодые люди, я был максималистом. Жаждал перемен, критиковал бюрократию в комсомоле и партии. Но, когда все рухнуло и пошло наперекосяк, когда со всех сторон воспитанные во мне идеалы подверглись гонениям, я, как многие тогда, бросился разбираться. Одним из всплывших из небытия был бывший командующий Второй Ударной армией, предавший свою страну и добровольно сотрудничавший с нацистами бывший генерал-лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии,

повешенный по приговору военного трибунала Андрей Власов. Я читал всё подряд, что выходило тогда в печати об этом человеке, и весь контекст «исследований» вел к тому, что он спаситель России и борец с режимом.

Спустя годы моя поисковая судьба завела меня в Мясной Бор, где уже очень давно с перерывами я и обретаюсь, а в последнее время, можно сказать, и живу. Так кто он для меня, генерал Власов, теперь? А что тогда, что теперь он для меня безусловный предатель и трус. А после того как я с товарищами выносил оттуда преданных им солдат, после того как долгие вечера у костра слушал рассказы Александра Николаевича и Светланы Орловых об их первых походах в «Долину смерти», туда, где погибла 2-я Ударная — это утверждение стало в моей голове незыблемо.

Десятки тысяч солдат ковром тел усыпали «Долину смерти». В два, три слоя, я ничуть не утрирую: посмотрите на старые поисковые фотографии, там лежали павшие. Солдаты и командиры, до конца выполнившие свой долг, долг, облаченный в приказ командующего армией, его, генерала Власова, приказ. Тысячи раненых, добитых немцами и брошенных своим командующим в госпиталях и санбатах. Тысячи умерших в плену, но не предавших. Я не просто сыплю лозунгами. Я видел и на горбу своем выносил эти кости. «При чём тут Власов?» — спросят оппоненты.

«Его подставили, послали командовать обреченной армией». Чушь это! Его послали потому, что верили в созданный пропагандой и успешно поддерживаемый им самим образ спасителя Москвы, военачальника, в самой сложной обстановке способного спасти армию. Послали, как послали Жукова на самые тяжелые участки. А Власов? Что он предпринял, чтобы изменить критическую ситуацию? Сотни найденных поисковиками схронов с оружием и боеприпасами, медикаментами и имуществом, оставленные там, где были последние стоянки частей перед гибелью. И это тогда, когда во всех воспоминаниях звучит как набат: «Не хватало всего... патронов, снарядов, гранат, медикаментов». А ведь они были, но руководство армией было утрачено и командование не владело ситуацией, не знало, что, где и сколько есть!

На фотографии в момент пленения Власов не выглядит изможденным, а посмотрите на фото его солдат — живые скелеты, но или ранены, или с винтовками в руках. Армия голодала, армия, но не ее командующий. Решив сдать в плен, он своих солдат послал на прорыв, приказал сражаться до конца. А сдавшись ни слова не замолвил перед своими новыми хозяевами о тысячах умирающих своих раненых. Первыми он предал не страну и граждан этой страны, первыми он предал своих солдат, своих боевых товарищей.

Многие скажут: а как бы ты повел себя, умник? Я много об этом думал. Я честно не знаю, что бы и как было, окажись я в условиях концлагеря, пыток, голода, рабского труда — нечеловеческих условий. Не знаю. Наверное, самый верный выход для офицера — это пуля в висок. Но ведь Власова не пытали, не мучили и не истязали. Не гноили в лагерях, как тысячи его солдат. Он добровольно и осознанно пошел на сотрудничество с нацистами и лихо вплеся в неимоверную чушь под названием «Конгресс освобожденных народов России», а потом в «Русскую освободительную армию», которой по факту-то и не существовало почти до конца войны. И когда его в этой клоунской шинели с красными отворотами, выбритого и лощеного, возили, как «попку», по лагерям, где он агитировал измученных людей встать на путь предательства, там, в этих лагерях, гнили несломленные его солдаты, гнили, выполняя его, Власова, последний приказ: «Прорваться любой ценой!»

И они прорвались, перенесли все ужасы нацистских лагерей, и многие из них поехали прямиком в Колымские лагеря, так как на них уже стояло клеймо «власовец», а те, кому повезло, до конца своих дней боялись сказать о том, что воевали во 2-й Ударной. Молчали о подвигах своих погибших товарищей. А брошенная своим непосредственным командиром армия белела костями вдоль железной дороги от Мясного Бора до Любани.

Я не говорю сейчас о политике, о которой так много говорил Власов и говорят сейчас его последователи и защитники. Я говорю о всем понятных простых вещах: отношении солдата и командира, боевом товариществе и братстве.

А говоря об идейности бывшего генерала РККА Власова, достаточно почитать его показания на суде, приговорившем его к повешению, там всё четко: опять отрекся, теперь от Гитлера и идей «освобождения России от большевизма», тогда смалодушничал в трудной ситуации. И на фото опять же не избит, не изможден. Так где и какие идеи и идеалы у теперь уже дважды предателя?

Теперь кому это нужно? Мы живем в мире и в границах, признанных в соответствии с международными договорами на основании результатов Второй мировой войны. В этой войне нацизм признан преступной и античеловеческой идеологией, а победителем признан Советский народ. Стоит нам всем сейчас пройти мимо и промолчать, просто не обратить внимания на то, как предатель Власов становится «борцом с большевизмом за освобождение России», «освободителем Праги». Как тут же десятки тысяч советских солдат, погибших в последние дни войны в боях с нацистами в Чехии, становятся оккупантами. А двадцать семь миллионов граждан Советского Союза, погибших в годы войны, многие из которых погибли от рук именно предателей-власовцев, так вот эти двадцать семь миллионов автоматически становятся извергами-большевиками, еще хуже нацистов, которых и уничтожил «Власов-освободитель», освобождая от ига большевизма Россию. А дальше? Власов же вместе с нацистами освобождал Россию, так, может, и они не такие плохие? Может Гитлер действительно спасал Европу от «страшного» большевизма? А может, и он в лагерях топил печи крематория этими «страшными большевиками» правильно? А раз всё так? Не пора ли вернуть немцам Калининград, японцам Курилы? Не пора ли соседям украинцам, кроме проблем с Донбассом, пораздать соседям западные области, отошедшие им по итогам Второй мировой? Не пора ли белорусам подвинуться до Минска? Вот к чему ведут игры с историей. К чему могут привести вытянутые из помойки этой истории, отмытые и установленные на пьедестал личности предателей. Ничего в теперешнем мире не говорится и не делается просто так!



Главная находка

Наверное, каждому, кто занимается поиском, раз за разом задают один и тот же вопрос: «Какая ваша самая главная находка?»

И большинство не задумываясь отвечает: «Солдатский медальон! Солдатская судьба!» Так же всегда отвечал и я. Да, медальон, судьба солдата — это итог осязаемый и осязуемый, но я понял, что есть еще что-то, лично для меня. Что-то настолько важное, что я сам, наверное, не сразу понял.

Это был рядовой выезд, так называемая экспедиция выходного дня. Когда уже нет сил сидеть в четырех стенах, когда лес просто бурлит в крови и надо, просто очень надо, невзирая на погоду и проблемы, вырваться «на войну».

Ноябрь. Лес засыпает или уже уснул. Недавно желтый ковер из листьев уже почернел, и всё вокруг, включая пасмурное, будто заштрихованное серым небо, напоминает сделанный простым карандашом набросок или черно-белое фото. Даже шороха листьев не слышно, они промокли, и ты идешь, утопая в прели, беззвучно. Любой

хруст сломанной ветки выстрелом раздается в тишине, заставляя вздрагивать.

День шел к концу, и мысли о возвращении в город, к его суете и шуму, уже портили настроение. Небо из светло-серого превращалось в чернильно-черное. Будто губка впитывала черноту земли и деревьев, стирая границы реальности. И вот кто-то решил показать чудо, показать или свершить. Дать понять нам, смертным, что даже наше настроение и образы ничто по сравнению с необъяснимым нечто.

Лес стал белым. Крупные снежинки за минуты белой стеной соединили небо и черную землю. Кто-то устал от скуки и серости и вылил на серость белой незапятнанной чистоты. Видеть эту, казалось бы, мелочь, сидя у костерка в лесу, — это как стать свидетелем чуда. Это как оказаться внутри чуда. Наверное, я не смогу передать все чувства, когда на твоих глазах все меняется преображаясь и хочется замереть, боясь спугнуть это действо. И снежинка на обшлага куртки — это часть этого чуда.

Буквально последний взмах металлоискателя, сигнал. Друзья зовут на выход, в сгущающихся сумерках уже не видны силуэты. Смазанная зимняя стрелковая ячейка, не достававшая и тогда до колен взрослого человека. Патроны, обрывки подзума винтовки Токарева, поясной ремень и в довершение, гвоздем в голову, останки человека — солдат. Или нет, не так: Солдат. Пока это и есть его имя.

Остаться? Работать в темноте нельзя, рискуешь потерять важное, пропустить, не заметить на черной земле. Надо вернуться и сделать. Уходя и отмечая ориентиры, я каким-то краем сознания увидел на белом от первого снега покрывале леса черное пятно ячейки. Снег таял, не замерзая в том месте, где лежал Солдат. Мы уехали.

Прошедшие до следующей поездки два дня — это были дни какого-то переосмысления. Вспоминая черное пятно на белом снегу, я реально осознавал, что оставил в лесу Человека. Оставил товарища, Друга, оставил Солдата одного в темном, заснеженном лесу.

Опять лес, он уже не такой, как два дня назад. Он свеж, красив искрящимся снегом, он осязаем пушистыми, снеж-

ными шапками на ветвях. Даже воздух стал другим, звенящим и морозным. Чудо свершилось, и вот она, зима. Белое покрывало и черная пропалина на нем.

Что это? Точка в его, Солдата, жизни? Запятая в моей? Или, может, это точка в одной части моей и многоточие в его? Ремень, ботинки, курсантские петлицы с шинели, магазин СВТ, гранаты. Грудь уходит под корни. Еще десять минут работы, и вот он передо мной. Солдат-Человек! Кто ты? Как погиб, я уже примерно понимаю. Но кто назовет твое имя? Я смотрел на него и понял, что впервые за многие годы работы в поиске я вижу Человека. Не просто останки погибшего, не анатомический набор костей, говорящих о том, что это погибший солдат, а Человека. Подняв глаза от земли, я увидел над собой голубое небо, а еще полчаса назад оно было серым. А кто-то рядом сказал: «Сегодня ж Казанская. День Казанской Богоматери».

А когда мы вместе с ним выходили из леса, наш друг сообщил, что у него родился сын! Это не художественный вымысел для красоты слога. Так и было.

Может, это совпадения, мы привыкли всё облекать в понятные нам смыслы. А я понял, что для меня — нет. Для меня так должно быть. И мне не нужны больше научные объяснения физики процессов. Я нашел Человека. Да, для всех он остался безымянным. А для меня он — Солдат. А Там все имена известны. Его похоронили с товарищами из курсантской бригады. Я был уже тогда вдвое старше его, но он, навеки девятнадцатилетний помог мне совершить самую главную находку — я нашел себя. Увидев его. Почувствовав его боль, одиночество, его мужество и, наверное, его разочарование во мне, во многих из нас, живущих. Осознав, насколько он лучше, чище, красивее меня. Я понял, что мне делать и как стараться жить. Теперь больше всего я боюсь потерять себя. Подвести Его, Их всех и отступить.

Мы не ангелы. И меня кидает эта жизнь справа налево и вверх-вниз, но нужно стараться быть лучше. Что мы, живые ищем, и иногда не ходим, прожив целую жизнь, а уходя, понимаем, когда и где прошли мимо, навсегда потеряв

себя? Это главное я не могу описать, может, это то, что мы называем «душа». Может, это простое человеческое добро, радость жизни. Может, это тот, вечно искомый смысл жизни, который на разных этапах мы то теряем, то находим и ошибаемся раз за разом. Это нечто мне помог найти Солдат. Самая главная моя находка в поиске, это то, что я нашел Себя. Спасибо тебе, Солдат.



Год Памяти и Славы

Вот минул непростой 2019 год. Что я вынес из этого года? Может, самое главное в жизни. Я для себя понял, почему нам приходится воевать за Память. Мы сами отказываемся от Побед, добытых Павшими, и это касается не только Победы в Великой Отечественной войне, это стало у нас традицией.

Вспомните Первую мировую войну. Ведь мы должны были и были в лагере Победителей. Но революция одна, вторая, наше отречение от прошлого позволили нашим бывшим союзникам вычеркнуть нас из состава Победителей. А почему нет? Ведь тогдашнее руководство страны отринуло многовековую историю России как неправильную и нуждающуюся в забвении даже у себя на Родине. А они? Они и рады стараться.

Что происходит с Победой в Великой Отечественной? А то же самое, только медленнее, инертнее. Но путь тот же. В России после 1991 года в полный рост, на государственном уровне социалистический путь развития обсуждается как неверный и всё громче как преступный.

А преступники не могут быть победителями, это уже транслируется за пределами нашей страны. Мы на государственном уровне пыжимся выкружить эту Победу в поисках глубокой русской идеи, а ведь тогда ее не было. Были идеи интернационализма и коммунизма. И именно за эти идеи и за свою социалистическую Родину легли пацаны и девчонки 1923–1927 годов рождения. И не стоит лепить про веру в Россию и Бога. Они верили только в Советскую власть, в ту власть, которая их воспитала, собрала по подворотням разрушенной гражданской войной страны, отмыла, обула, одела, выкормила и выучила. Дала всем равные возможности: строить, созидать, постигать науку, развиваться. Они воевали за Государство, потому что в их головах СССР — Родина была неотделима от государственной машины СССР. А у нас сейчас у большинства Родина — Россия, это то, за что я готов умирать, а государство Россия с ее властью и всеми сопутствующими инструментами власти вызывает сомнение. Как многие говорят сейчас: «За Родину я готов идти воевать. А за Президента, за чиновников, за власть имущих — нет!» А это и есть государство.

Думая о них, восемнадцати летних, шедших на пулеметы, я вдруг осознал то, о чем никогда не думал. Мы все, когда нам плохо, какими бы мы внешне ни были атеистами, в трудную минуту обращаемся к Богу. К Христу, Аллаху, Будде, просто к Высшему разуму. Мы все в глубине души верим в загробную жизнь, верим в вечность. А Они верили в себя и в своих товарищей. Они верили только в то, что видели. И шли на смерть, осознавая, что всё: дальше темнота, дальше черное Ничто! Их так учили, так воспитывали, с таким пониманием Их вырастили. Только представьте себе это. Когда я это осознал, для меня Их подвиг, и без того бесценный, стал безграничным и отошел еще дальше от моего осознания своей глубины. Они шли умирать только ради будущего, то есть ради нас с вами. Чем платят Им ныне живущие? А тем, что пытаются представить Их обманутым коммунистами, комиссарами во главе со Сталиным стадом. Которое, безголосое и бессловесное, гнали на убой «кровавые» энкаведэшники, размахивая наганами. А теперь представьте себе дивизию

со всем вооружением в десять–пятнадцать тысяч человек и пусть тысячу особистов и комиссаров с наганами, гонящих Их на смерть. Вышло бы у Них хоть что-то, если бы у пятнадцати тысяч не было веры в правильность своего поступка? Да ничего бы не вышло. А этих, шедших на пулеметы, были миллионы. А потом, кто были эти особисты и комиссары ротного, батальонного, полкового звена? Посмотрите в списках погибших. Это такие же восемнадцати–двадцатилетние лейтенанты и капитаны, воспитанные Советской властью и за нее поднимавшиеся вместе со стрелковыми цепями в атаки. Не гнал их никто, сами шли, веря в нас, в такое набившее у нас оскомину светлое будущее. То светлое будущее, которым мы с вами и являемся.

Каждое следующее поколение в России не умеет уважать выбор предыдущих поколений. Меряет их поступки и пытается подтянуть под свое мироощущение и современные реалии. А также всячески исковеркать, подогнав под выгодные нам постулаты, те причины, которые позволяли предкам совершать великие дела. Может, чтоб свою немощь оправдать?

Любой социальный строй — это идея и люди эту идею отстаивающие. Люди, готовые вести остальных избранным путем. Идеи все в своем большинстве хороши и красивы. А вот исполнители — люди... Вот и пришел момент развала сначала Российской империи, а потом СССР, и если за империю нашлись те, кто долгие годы воевал как за идею, то за СССР встали единицы. Значит, та идея изжила себя или ее дискредитировали исполнители, предали, вольно или невольно, перед теми, кто должен защищать эту идею. Но ведь те, кто отдал в свое время за нее жизни, они и были самыми чистыми носителями той идеи, и останься они живы, всё могло бы быть по-другому. Не имеем мы права подвергать сомнению их честность и веру. И не имеем права другим давать повод сомневаться и унижать их убеждения.

Победили — Советские солдаты, под Красным знаменем ведомые коммунистическими идеалами, и это Их путь. А вот что было после — это уже другая история. Следую-

щий 2020 год объявлен годом Памяти и Славы; если честно, я не совсем понимаю, чем он отличается от других. В прошедшем было меньше Памяти? Или у них, Павших, было меньше Славы? Но раз уж так помнить и славить мы должны Красное знамя Советского Союза над рейхстагом, Советского солдата, освободившего мир не назло и вопреки своему руководству, а ради Светлого будущего для всего Мира! Такой он был, Советский солдат — комсомолец, коммунист, беспартийный.



История и география

Путешествия по миру — это интересно, познавательно, захватывающе и красиво. Это встреча с новой, другой культурой, людьми этой культуры, это история других народов. Наша страна уникальна тем, что здесь через историю страны можно изучить географию почти всего мира и даже познакомиться с людьми из других стран, не лучшими, но, наверное, и не самыми худшими их представителями.

Архангельская тайга. Сосны и ели, чистый, шуршащий мхом и черничником подлесок. Зелень ковра с сиреневыми пятнами ягод, душистый, терпкий, пахнущий смолой и многогравьем воздух. Посреди леса приземистая деревянная часовня, как скит монаха-схимника. Ряд безымянных крестов и скромная мраморная табличка, с которой смотрит на меня молодой парень. Надпись на английском: «Волонтер королевских вооруженных сил», австралиец, дата смерти — 1919 год. Что тебе нужно было в нашей тайге? Почему ты решил, что можешь прийти сюда? Зачем ты полез туда, где сами мы не могли разобраться и до сих пор спорим, кто прав, кто виноват, в той братоубийственной войне? Почему, встав добро-

вольно в строй таких же молодых американцев, англичан, вы, нарушив все человеческие и союзнические обязательства, приперлись в нашу страну наводить свой порядок, грабить и убивать наших сограждан в самое тяжелое для нас время? Что вам нужно было здесь, за тысячи километров от своего дома? Жалко ли мне тебя? Нисколько! Вот тебе наша земля.

Новгородская область, предболотье. Квашня под ногами, залитые жижей, смазанные воронки и траншеи. Мириады летучих кровососов. Островки травы и гигантский «укроп» борщевика. Сизые, в жиже размазанные по стенкам воронки, перемешанные со стреляными гильзами и ошметками солдатского снаряжения колотые кости. Белым в черном месиве блестят молодые зубы сплюсненного взрывом черепа. Сгнивший, разбитый немецкий стальной шлем и чуть угадывающаяся на нем эмблема с испанским флагом. Веселый чернявый испанец, молодой, крепкий, выросший под горячим солнцем. Что тебе нужно было в этих болотах? Сколько жизней забрал ты на этой земле? Чей отец, сын, муж, брат остался в этом болоте после твоего выстрела? Доброволец! Земля наша приняла, обняла и размазала все мечты и стремления. Съела болотной жижей зачерненную морским солнцем кожу, осколками мины расшвыряла поющую в душе веселую испанскую песню.

Ручьи Новгородчины, весной превращающиеся в бурные реки. Тишина в диком, непроходимом буреломе леса. Запах прели, сырости и забвения. Здесь не пахнет корицей и горячим шоколадом, здесь нет порядка и строгости брюссельских улочек. Свернувшись калачиком от очереди из «максима» или «дегтяря» в живот, обнимая свой позвоночник, здесь сидит бельгийский тоже доброволец, только уже СС. Что ты видел в последние минуты своей жизни, сжимая в окровавленных крепких руках вонючую трубку кишок? О чем думал? Уж точно не об этих наших бескрайних лесах и болотах. Думал ли ты о том, какой ты был дурак, придя сюда наводить свой порядок на нашей земле, а не освободить от немцев свою? Плакал ли о матери, жене, девушке? Да в принципе мне всё равно, меня беспокоит, скольких ты убил, ограбил, изнасиловал моих земляков. А тебе лежать здесь, если не заберут бывшие хозяева.

В нескольких десятках километров отсюда, в таких же болотных плавнях с набитыми новгородским торфом разъявленными ртами, удоблив своими разодранными осколками и пулями телами землю, в черной пучине вечности гниют добровольцы из Нидерландов и Латвии. Нужна она была вам, наша земля, наши женщины и старики? Наелись? Что Вам не хватало дома?

Карелия. Тишина болотных ламбин, стройность и прелесть поросших елями суровых скал. Ряды разрытых могил, сваленные в беспорядке на дно кости, белеющие под дождем и ветром. Россыпь солдатских жетонов в черной от земли руке местного. Сс, сс, сс, норвеги-викинги, охотники-финны, банкиры-шведы и часовщики-швейцарцы. «Что это?» — задаю вопрос. «Контрибуция», — смеется человек с лопатой. Не по-человечески? Наверное, да. Но вправе ли я его осуждать? Не знаю. Ведь потомки этих «добровольцев-помощников» сейчас ровняют с землей памятники и могилы наших дедов и прадедов, ценой своей жизни вернувших их странам свободу. Ведь там солдата-освободителя приравняли к фашистам и с визгом, как на диком шабаше, рушат их скульптуры. Жалко ли мне их? Однозначно — нет! Кто звал их сюда? Молодых, здоровых, сильных? Могущих столько пользы принести своим странам. Сколько горя они принесли моей земле, сделав на той войне хоть один выстрел в цель! Отобрав чью-то жизнь.

Брянские леса. Окопы и блиндажи по берегам реки. Гильзы со странной маркировкой. И ответ, полный неподдельной ненависти, в почти бесцветных глазах старушки, как выстрел, как плевков: «Звери! Венгры! Хуже немцев народ тиранили!» Еще одни «просвещенные» европейские добровольцы.

Сталинград — итальянцы, Крым — румыны. Французы под Москвой. Литовцы и эстонцы под Псковом и еще много где. Вот вам география через историю, только одного века и двух войн, целью которых была наша страна. Кто мы такие, чтобы сейчас говорить о примирении и прощении? Мы не горели в тех танках, не наши кишки наматывались на штыки этих «добровольцев свободного мира». Я, может, скажу жуть, но я бы вывалил все эти иностранные

кости в огромную гору, а поверьте, она была бы огромной. В огромную кучу, как мусор, на границе с нашими соседями. Вывалил так, чтоб было это видно из рейхстага и с Эйфелевой башни, а оттуда транслировалось в Вашингтон и дальше. Вывалил бы, как есть, в гнилых пробитых касках разных эпох и войн, стран и армий, с оскаленными черепами, пробитыми пулями и осколками лбами и затылками. Вывалил и накрыл стеклянным саркофагом навечно. А на флагштоках — государственные флаги стран-участниц, у мусорной кучи добровольцев поставил. Чтобы помнили, чтобы не забывали, что мы живем так, как хотим мы. При царе, Сталине, Брежнев, других. И если нам не понравится, мы сами в силах разобраться в своей жизни. Нам не нужны «помощники» со штыками на винтовках.

Демократия, свобода слова и человека? А вы там не подумали, что всё, что несется на чужую землю на штыках из другой страны, — это всё равно нацизм, фашизм, национализм. Потому что это вы там решили, что нам так лучше, а нас не спросили. А как решат там горячие головы новую нам идею притащить, пусть на кучу свою посмотрят — и, может, охолонут. Не политкорректно? Негуманно и не по-человечьи? А гуманно каждые несколько десятков лет сжигать к чертям пол моей страны? Корректно убивать лучших мужчин и женщин, неразумных детей и стариков? Каждый раз прикрываясь какой-нибудь красивой политкорректной хренью? Корректно уже несколько сотен лет всему миру загаживать мозги, показывая мою страну страшной и дикой? Корректно и культурно врать и лицемерить, когда от нас что-то надо, а потом бить русскому в спину, как в двух последних мировых войнах? А потом ложью отбирать проплаченную нашей кровью Победу и перевернуть написанную судьбами наших дедов историю. И готовить свое население к новой войне, загаживая ему мозги ложью.

Может, новая орда «добровольцев», глядя на эту кучу, задумается: а надо ли оно им? Дикость? А не дикость сжигать инакомыслящих живьем, разрушать целые государства ради своих амбиций, травить газом и убивать детей для пропаганды и дешевого пиара?

Может, если бы хоть раз мы проявили ту дикость, что нам приписывают наши соседи, не началась бы новая война? Может мы слишком мягкими и культурными были с палачами своей страны? Разжигание ненависти? Нет. Жажда справедливости. Ведь простить можно врага, осознавшего свою вину и ставшего пусть не другом, но хорошим соседом. Наши соседи спокойны ли? Виноваты политики? Простые люди ни при чем? Гитлер тоже был политик, а простые немцы, австрийцы, финны, итальянцы, венгры, румыны, испанцы и другие рвали и жгли мою страну, воздавая ему, одержимому кровопийце, хвалу: «Хайль Гитлер!» Там что-то изменилось? Стали другими политики или другие простые люди, этих политиков избравшие? Судя по последним событиям — Нет! Кто-то не забудет вкнуть, что «гляньте, как живут побежденные, — в чистоте и неге». Так они потому и живут так, что нашу, победившую фашизм страну, разоренную, сожженную войной, потерявшую треть трудоспособного населения, бросили на произвол судьбы.

Самим восстанавливать разрушенное, ополчились всем своим цивилизованным миром, втянули в новую «холодную войну», которая сжирала ресурсы похлеще любой горячей. А потом ударили в спину, через купленных предателей, пытаюсь скинуть в новую пропасть. Вспомните, кто и когда помогал нам в наших бедах просто по-соседски и безвозмездно? Кто протягивал руку помощи? Единицы! Остальные или наживались на нас, или били подло в спину, высылая на стороне врага или самостоятельно экспедиционные корпуса с карательными функциями.

Истерика? Нет, правда, только правда! И она в том, что сами, только сами мы можем навести у себя порядок, а все наши соседи, только и ждут, когда мы перегрыземся меж собой, чтобы прислать нам сюда новых «волонтеров-помощников» и добить нас окончательно.

Где в этом мире есть страна, в которой по могилам ее уничтоженных врагов можно изучать географию всего мира? Примирение и прощение, как показывает история, ведут к забвению, а забвение — к новой войне, новым жертвам и потерям простивших и забывших.



Многие, кто читает мои заметки, наверное, с определенной долей сарказма про себя говорят: «Вот умник. А выход где? Не всем же по лесам шараться, надо семьи кормить. Это тебе хорошо — ни кола ни двора». Наверное, есть и в этом доля правды.

Но я могу сказать что сделать. Даже не для себя, а для будущего, да и для прошлого получится. Мы привыкли все пенять на государство, на чиновников, на что-то большое, которое всем должно. В последнее время все взялись разбираться, кто кому должен больше, и тут разобраться оказалось ну совсем непросто. А я сейчас говорю о долге, который вообще безотносителен к званию, положению, классовой, национальной и религиозной принадлежности. Я про человеческий долг. Долг перед ушедшими людьми. Перед теми, кто был до нас. Перед теми, кто без громких слов просто взял и разменял свою жизнь на нашу.

Именно так: свою жизнь вместо моей. Просто взяли и закрыли нас своей грудью. Это понять необходимо каждому. Не они бы — и не было бы нас. А мы и этот долг пытаемся

на кого-то возложить. Почему мы не пытаемся перевалить заботу о могилах наших ушедших в мирное время родных на попечение государству? Таких мыслей у нас не возникает. А ведь они всю жизнь трудились на благо страны. А заботу о погибших солдатах, наших предках и их могилах мы на себя лично почему-то возлагаем в последнюю очередь. Мы ежедневно открываем в соцсетях тысячи сообществ, посвященных всякой всячине. Есть куча тематических сообществ: поисковиков, краеведов, историков. Мы годы жизни проводим в интернете, рассматривая всякую хрень. Мы читаем такую чушь, что иногда диву даешься. Только потеряв десять-пятнадцать минут на изучение очередной сопли, понимаем, что это чушь. А вот сообщества внуков воинов N-ского полка, погибших в бою у деревни Деревенской 12–15 ...бря 1941 года, я не видел; может, где и есть, но я не видел.

А что сложного? Да ничего. А что даст? Да в моем понимании много! Первое — это общность людей, связанных общей историей, памятью, общей целью. Второе — это поможет многим обрести утраченные страницы своей семейной истории. Ведь у кого-нибудь могут сохраниться фотографии, письма, воспоминания о тех событиях, и ими можно будет обменяться. В-третьих, хотя бы раз в год можно будет собраться на могиле и навести для начала там просто порядок своими руками. А потом можно и сделать там ремонт. Это одному сложно потянуть, а с миру по нитке — бедному рубахе. В конце концов, потребовать: чиновники куда внимательнее относятся к просьбам и законным требованиям сообщества, чем одиночки. Тем более сообщества, которое не просто требует, а само готово выполнять некую работу. В-четвертых, вы дарите своим детям их историю и дарите им группу их ровесников, может быть, по всему миру, с которыми их уже объединяет не только место на этой земле, но и общая память, которую вы им вручаете, и, кто бы ни собирался ее опошлить и перевернуть, сделать это будет намного сложнее. Вы дарите своим детям возможность гордиться вами! Быть с ними ближе, делать вместе настоящее серьезное дело. А им очень важно вами гордиться. И если хотя бы раз в несколько лет вместо Тур-

ции и Египта вы привезете их в мае на берег красивой тихой реки где-нибудь в центре России и встретите с ними восход 9 Мая у костра рядом с чистым, пусть скромным памятником, где выбита фамилия их прадеда, то и ваши внуки там же могут услышать рассказ о вас. А это шаг в Вечность.

Может, конечно, я и пребываю в мире иллюзий. Но, мне кажется, попробовать стоит. Хотя часть долгов отдать.

А что делать тем, у кого нет своих могил? Ну ведь мы понимаем, что главное все же человеческая Память. И ее очень просто привязать к месту. Просто нужно изучить историю и принять, что среди десятков, сотен, тысяч неизвестных где-то лежит и ваш. Идите туда, не ждите, ищите или просто решите, что вот этот — мой! Думаю, так.



Как приходит война

Солнечное утро бабьего лета. Наверное, самое красивое время года. Зелень уже устала, налилась богатым изумрудом, а солнце уже подарило листьям свою золотую яркость. Лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, теряются в этом золоте, и ты видишь тысячи солнечных зайчиков на фоне глубокой синевы неба. Из-под тени деревьев, весело щебеча и заливаясь смехом, высыпает стайка ребят — мальчишек и девчонок пятнадцати-семнадцати лет; хохоча и в шутку толкаясь, она штурмует туристический автобус. Следом за детьми, невозмутимо судача о своих взрослых делах, из аллеи выходят педагоги и степенно шествуют на свои места. Автобус, как межконтинентальный лайнер, чужой в этой лесной красоте, величественно выплывает на фарватер трассы.

Идиллия? Да. Всё бы хорошо, но тенистая аллея, которую только что покинули ребята и взрослые, это — воинское захоронение «Синявинские высоты», где похоронены десятки тысяч их сверстников. Не должно там быть поводов для смеха. Не нашли, видно, верных слов педагоги и

экскурсоводы, не задели нужные струны. Или молодости не свойственна грусть? Конечно. Молодости свойственна беспечность и жажда жизни. Но еще молодости свойственна чувственность и глубина познания. Так что происходит и кто в этом виноват? Почему в сети аккаунт какой-то недалекой девицы имеет тысячи, миллионы подписчиков, а она просто ест на камеру и красит ногти? Почему ролики, где люди падают, тонут, ломают себе кости, набирают сотни тысяч смеющихся смайликов в комментариях? Почему поколение «андроидо-айфонов» перестало чувствовать? Мы не нашли верных слов? Или, боясь поранить их нежную психику, не стали им рассказывать страшную правду? Или, поддавшись общемировому желанию нести позитив, мы и трагедии превратили в комедии? Почему думать, сопереживать и чувствовать получается у них, только когда это касается их лично? Мне часто — и, наверное, правильно — говорят, что я зря обобщаю и всех мажу одним цветом. Да, наверное, есть исключения, но я говорю о массовой тенденции. Даже общаясь с лучшими из молодежи, я понимаю, что чувства заменил виртуальный мир общей радости.

Не хочется читать, смотреть о «плохом», о тяжелом. Котики, киски, ногти, веселые картинки, ролики с дебилами, ради сотни лишних лайков сжигающими себе волосы на голове или прыгающими с крыши в летний бассейн. И как закуска на «тяжелое»: рассуждения о жизни какого-нибудь чудо-блогера-сопняка, из года в год набивающего себе подписчиков, не выходящего из-за клавиатуры дальше туалетной комнаты.

А ведь именно «плохое», страшное и, как нам кажется, неприятное дает пищу для работы мозга и того, что мы называем «душа». Именно сложные в понимании проблемы рождают чувства.

Как заменить компьютерный эрзац на настоящую жизнь? Кто-то скажет: а зачем? Это прошлый век, и к чему эта грусть и слезы, старик? Потому что все искусственное создано кем-то, создано с какой-то целью. Искусственный позитив и искусственная радость без ощущения чужой боли — это наркотик, а ломка от него страшная. Беда всег-

да приходит вдруг. И не переживший чужую боль свою может и не вынести.

Помните кадры хроники начала войны? Да, той далекой, а для пятнадцати-семнадцатилетних почти канувшей в Лету войны? Солнечный день, люди, стоящие у репродукторов, плачущие женщины и суровые мужчины и парни. Так началась война для большей части страны. Для тех, до кого не долетели снаряды и бомбардировщики, груженные тоннами смерти. Для тех, кому судьба подарила время на осознание. А ведь для других она началась по-другому. Кому-то она не дала шанса даже проснуться. Кого-то разбудила осколками выбитых взрывной волной стекол в лицо. Рваным осколком в живот. Горящей балкой обрушившейся крыши на рядом стоящую кровать любимой. Криком заживо сгорающей матери в соседней комнате. Кого-то пнула под дых пулеметной очередью по крыше и алыми кляксами крови на белой ночной рубашке ребенка.

Война и беда по пятам гнались за людьми черными тенями «мессеров» и грохотом их пулеметов, сметающих с запруженных беженцами дорог тела матерей, сыновей, отцов. Оставляя в придорожных канавах кулями сломанных кукол тех, кто бежал от войны. Война добиралась и до тех, кто слушал о ее начале у репродукторов. И ее появление было еще страшнее.

Семьдесят восемь лет назад бабье лето было таким же ярким, солнечным и теплым. И семнадцать лет — они такие же семнадцать. У тихой реки люди жили по хуторам. Лес подпирал их дома, и они жались к воде на высоких обрывистых берегах. Пыльная дорога как будто сопровождала реки или, кривляясь над ней, повторяла ее течение, давая людям выбор, как ходить в гости или по делам на соседние хутора: по пыльной тверди или по тихой черной глади. Топая ногами или размахивая руками с веслами.

Домишки прятались под массивными деревьями в тень. А люди приобрели неторопливый характер тихой, размеренной реки. И только дети и подростки периодически нарушали эту природную идиллию своими шалостями, но приходил возраст, и они также перенимали размеренность мыслей и поступков. Война, вывалившаяся из чер-

ного репродуктора в центральной усадьбе, протарахтела на скрипящей подводе почтальона по хуторам. Постучалась во все двери и осела на столах серыми извещениями военкоматовских повесток.

Мужики, увязав сидорá, утóпали ей навстречу. Бабы и девки утерли слезы и заняли мужицкие места в хозяйстве. Парни подгоняли мыслями календари, желая побыстрее рвануть на встречу с войной, подвигом и славой. Семнадцать лет — это мечты, мечты о любви, будущем, мечты о признании и славе. Но война приползла из леса. Оттуда, где пыльная дорога выскакивала на тихий берег. Выпрыгнула в тишину ревом моторов, пыльным, дымным столбом. Оборвала выстрелом запыленный лай незлобного домашнего любимца Барбоса, превратила басовитый лай в жалобный предсмертный скулеж.

Солдатским кованым сапогом с размаху ударила в живот выбежавшую из дома на шум мать. Твою милую, добрую мать. И когда она, согнувшись от нестерпимой боли, упала в пыль, походя, между делом осматривая двор, проткнула ее грудь немецким штыком. Ту грудь, в которую ты уткнувшись плакал от детских обид, которая укрывала тебя маленького от всех обид только познаваемого такого интересного и страшного мира. Война под пьяное ржание чужих солдат выволокла за волосы рыдающую сестру, повалила ее в пыль десятками грязных рук, срывая с нее одежду. Выбила тебе зубы пахнущим порохом, ружейной смазкой и кровью матери кулаком. Осекла твой порыв защитить свое, отправив в полузабытие сотрясения мозга. Она глумилась и хохотала над твоим бессилием, насилая такое родное тело прямо на твоих глазах. А потом сбросила в колодец, как сломанную куклу.

Вжикнуло огнеметной струей в разбитое окно родного дома, и в реве пламени ты слышал нечеловеческий вой заживо сгорающего младшего брата. Смешного, пухлого карапуза, который будил тебя утром своими тысячами вопросов. Который гордился тобой как старшим и пугал сверстников во дворе твоим приходом. Кто вынесет это? Кто переживет и не сойдет с ума? Кто в нашем мире всеобщей бестолковой радости может даже подумывать, что та-

кое возможно? А Они смогли. Смогли и вставали в строй. Мстили и шли вперед, освобождая свою землю. В 12,14,17 лет приписывали себе возраст, брали в руки винтовки и автоматы, ложились в братские могилы у Синявинских и других высот. Кто и для чего создает иллюзию радости, беззаботности, беспамятства и бесчувственности?

Каждая новая война страшнее и кровавей предыдущей. Канули в веках красивые и благородные рыцари, кавалергарды и уланы, отпускающие восвояси поверженного врага. На их место пришли холеные хлыщы с черепами на фуражках и с зонтиками из выдубленной человеческой кожи. Для них человек всё, включая удобрения. Кроме человека. С каждым веком люди больше и больше звереют, получив власть оружия.

Кто придет следом за черными мундирами? И готовы ли мы, весело смеющиеся на могилах тех, кто остановил предыдущих, остановить новых? Не стоит ли нам посто-ять в тишине у звездочек на Их могилах и подумать, уви-дев Их Беду Их глазами? Не стоит ли опустить свои глаза в книгу, которая учит чувствам, а не пялиться на тупой бесчувственный экран «великой беспричинной радости»? Не пора ли в семнадцать лет думать о будущем, своем бу-дущем, будущем своих детей, а не ржать над кем-то хи-тро обставленным настоящим? Наверное, пришло время познавать настоящих друзей, а не кривляющиеся аватар-ки неизвестных. Пора влюбляться в живую красоту, а не офотешопленные тела. Необходимо учиться у людей, за-служивших своими делами на благо других, а не плетущих чушь перед видеокамерами бездельников, на нашем вре-мени, потраченном на их бездумное созерцание, лепящих себе состояния на безбедную жизнь.

Семнадцать лет они всегда семнадцать. В семнадцать лет пора понять, кто ты есть и кем будешь, иначе придет Беда, рванет на себя дверь с маху, и некому будет защитить, по-тому что всем вокруг радостно и весело на твоём праздни-ке Беды.



Поиграем в блокаду

Очередной раз новостная лента социальной сети приглашает меня и всех желающих при-нять участие в новомодном мероприятии — квест. Квест «Блокада Ленинграда», организаторы — круп-ная молодежная организация, гарантирует всем хорошее настроение.

Что ж тошно-то так? Может, потому, что я не могу пред-ставить свое хорошее настроение, вспоминая рассказы бабушки, пережившей Блокаду? Может, потому, что при слове «Блокада» у меня перед глазами кадры хроники с трупами детей и стариков на заснеженных улицах Ленин-града? Санки с замотанными в простыни телами взрослых, а в санки эти впряжены голодные дети. Наверное, потому, что я вижу истлевшие тела девчонок в воронке у исчезнув-шей деревни Новая Кереть, — это те, кто рвался к городу, чтоб эту самую Блокаду прорвать. Точно мне тошно пото-му, что меня до сих пор преследует трупный смрад из ямы, куда немцы скинули тела трехсот девяносто пяти парней и девушек — тех, кто прорвал эту Блокаду.

Так откуда может быть хорошее настроение? Наверное, оттого, что она всё же была прорвана эта Блокада. Безусловно! Но только не я ее прорвал! Я имею с этим событием лишь одну связь. Я знаю, как это было, я знаю, чего это стоило, и я горжусь, что я прямой потомок тех, кто свою жизнь отдал за то, чтобы это закончилось.

Так зачем тогда все эти квест-чудеса? Что участник должен совершить в этом квесте, чтобы появилось хорошее настроение? У магазина отобрать у ослабевшей матери хлебные карточки, чтобы самому выжить, а семью обречь на голодную смерть? Обменять на барахолке на украденные со склада продукты у изможденной тридцати летней «старухи» обручальное кольцо — последнюю память о раздавленном немецким танком под Синявином муже? Может, надо дожидаться, когда умрет твоя мать, и держать ее тело незахороненным в квартире, чтобы еще месяц отоваривать ее карточки, каждый день сходя с ума, разговаривая с трупом? Подсвечивать ракетами немецким самолетам госпиталя, подставляя их по бомбы, а потом жрать втихоря немецкую тушенку? Или, может, нужно сдать в плен, как генерал Власов, и служить врагу за водку и кашу, сдавая сотнями своих соотечественников? Это что, весело? Что может доставить радость в умирающем городе, специально, планомерно уничтожаемом врагом?

А просто кто-то из моего поколения сказал очень (без иронии) хорошим и молодым, равнодушным ребятам по-креативить на тему войны с целью привлечь своих сверстников в тему. Плохо? — Да нет, хорошо. Только коряво! Креативность (от *англ.* creative — творческий) — творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.

Обратите внимание: «новых, отклоняющихся от традиционных»! Традиционно война — это страшно! Блокада — это трагедия массы людей. Так почему получилось, что должно быть весело? Нас воспитывали те, кто войну

пережил и прошел, те, кто ребенком, лишившись близких, устранял последствия этой войны, делал всё, чтобы она не повторилась. Они даже своими редкими рассказами, книгами, которые они написали, фильмами, которые они снимали, научили нас чувствовать свой подвиг и свою боль, боль за нас, тогда еще не родившихся.

Наши же квесты проходили во дворе и в лесу. С деревянным, а то и с настоящим ржавым автоматом в руках. И первая кровь с разбитых коленок, из разрезанных пальцев и разбитых в «рукопашной» губ, она была за мир! За то, чтоб фашисты не убили маму, за то, чтоб хромой, не слышащий от контузии дед смог дожить в мире до ста лет. Мы ненавидели войну, не боялись, а ненавидели. Ненавидели как самое страшное проявление зла. Мы скрипели зубами от злости в кинотеатре, смотря кино о войне, мы тихо со злостью плакали, глядя на горы детских трупов у печей крематориев концлагерей на фото и в хронике. А потом хватали деревянный автомат и бились с «врагом» до последнего.

Они сначала научили нас чувствовать, а потом уже мы устроили квест. Наша, в первую очередь именно наша, старших, проблема в том, что мы не научили их чувствовать. Не нашли нужных слов, аллегорий, примеров, дел. Не сняли нужных фильмов, не написали настоящих книг. Не смогли убедить, заставить, наконец, посмотреть те фильмы, что смотрели мы, и прочесть те книги, которые мы читали. Для того чтобы они почувствовали и поняли. Мы не сделали это системно и вместо этого сами предлагаем им суррогат.

Квест (*англ.* quest — поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета) — один из способов построения сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к определенной цели. Мы предлагаем им поискать, поиграть. Что они могут найти, не зная и не чувствуя? Ну, может, то, что им «покреативят» наши соседи? Это же модно, быть, думать, говорить не как все. Например, они могут «накреативить», «квестануть», что все жертвы были напрасны и нечего было умирать от голода в холодном городе, надо было «лечь под немца и пили бы баварское».

Откуда им знать про немецкий «просвещённый» план «Ост»? Даже если слышали, на них не дышали холодом его цитаты об уничтожении всех людей на территории нашей страны. Этот лед не отражался в их глазах синей, расплывшейся татуировкой цифр лагерного номера на дряблой коже деда, получившего этот номер девятнадцатилетним пацаном. Они не чувствовали, как холодела и вздрагивала его ладонь от лая овчарки, когда он водил вас за руку в парк на День Победы. Мы не объяснили им, почему они плакали в самый светлый Свой праздник, в День Победы.

Мы сами толкаем их, неподготовленных, в поиск другой, отличной от традиционной схемы. Это мы поощряем их «творчество» на тему тех понятий, которые должны были дать прочувствовать системно и вдолбить четкие параметры и границы этой системы вместе со знаниями и духовностью. И может быть они не стали бы «креативить» и лепить на баннеры и открытки ко Дню Победы фото солдат из СС и немецкие танки, лепить по принципу: «зато не заезжено, зато не как у всех, зато я отличился».

Наша вина в том, что мы сами перестаем чувствовать и чем больше у нас дел, тем меньше чувств. Чем выше должность, тем меньше времени на то, что, как нам кажется, не очень важно или для нас безусловно. Мы предлагаем им то, что проще, считая их, молодых этого века, более примитивными, что ли. Нам кажется, что в цифровой век чувства утратили свою актуальность и стали немодными. Придумываем им какие-то примитивные бегалки, даже не попытавшись заглянуть в их души. Не дав им возможности понять и почувствовать, как когда-то эту возможность дали нам.

Я не фанатик и не поклонник теории заговоров, но я уверен, что если мы сами, мы — последние, кого воспитывали Победители, в семье, в школе, в общественных организациях, на работе и на службе, не передадим им чувства и дух той войны и той Победы, то их поиски, стремление к самовыражению и креативности приведут их к нашим врагам. И уже враги дадут им почувствовать сладкий вкус баварского в предательстве своей истории. В предательстве за признание своей «креативности».

Дайте им возможность хотя бы на примере своей семьи почувствовать боль потери. Потери близкого человека. Деда, прадеда. Расскажите им о них так, чтобы они почувствовали свою с ними близость. Чтобы они плакали от жалости, что никогда не смогли с ними встретиться. Чтобы они смогли почувствовать ту боль, которую чувствовали мы, глядя шрамы на теле деда. Чтобы самой страшной потерей для них была потеря их не вернувшегося с войны предка, их ровесника.

Что за «мазохизм», почему всё через боль? А потому, что только так, раз не хватает слов, ума и упущено время! Только почувствовавший чужую боль, пришедшую из тьмы десятилетий, поймет, где смеяться, а где плакать. Только тогда осознает, каким кровавым поносом выходило бы «баварское». Только тогда появится и в их молодых душах четкая грань незыблемых эмоций на Сталинград, Брестскую крепость, Блокаду. И станут тогда они смеяться сквозь слезы в День Победы и скорбеть, и сжимать зубы от ненависти 22 июня. Найдите слова и время, и когда-нибудь они вас отблагодарят. И те, кто останется жить дальше, и те, кого уже нет.

Да, я так считаю — и имею на это право! Да, я нетолерантен и ненавижу всех тех, кто убивал, грабил и жег на моей земле, и мне плевать, сколько прошло лет, я знаю, что нам это будет икаться еще долго. Мне не нужны мягкие, обтекаемые формулировки и советы на иностранном языке, как и чему я должен учить, как и что я должен отмечать! Я не люблю чуждые мне иностранные слова и понятия, чья трактовка всегда двойка, так же как и их ценности. Я хочу, чтобы наши дети знали и чувствовали душой свою историю.



Квестэссенция

Сценарий квеста «Как услышать тишину?» посвящается полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 27 января любого года.

Молодые и не очень чиновники, отказав себе в плотном завтраке, грузятся в своих красивущих костюмах в свои не менее качественные автомобили, берут с собой своих, в первую очередь своих любимых детей. Выдвигаются на расстояние всего сорок километров от Санкт-Петербурга. Идут пешком по разбитой фронтовой дороге к урочищу Гонтовая Липка. Молча... Не несут чушь про штрафбаты и заградотряды. Просто тихо шлепают модельными туфлями по подмерзшим лужам, сворачивают у памятника у Рощи Круглая и молча встают у воронок.

Собрав в кулак все свое воображение, смотрят на избитый воронками лес. А потом, закрыв глаза, представляют, стоя в зимней тишине, как из-под ног уходит земля. Как хлопком разрыва, поселив в контуженную голову тишину, будто в немом фильме, черными фонтанами обрамленных огнем разрывов взлетает земля. Справа, слева, за

спиной. Как в нос бьет запах сгоревшего тола, вонь сотен потревоженных разлагающихся трупов, болотной жижи. Представляют, как рядом окровавленными куклами, иссеченными осколками, падают люди: свои, близкие, родные люди. Видят, как из полузасыпанных траншей пульсирующими огнем точками лупят пулеметы, как огненными шмелями летят трассеры и впиваются в падающие тела.

Представив это, открывают глаза и осознают, откуда здесь и на всей этой земле Тишина.

Возвращаясь, подмерзшие на морозном ветру, они вместе с детишками жуют взятый из дома в рамках квеста кусок черного хлеба весом 125 грамм. Нет, не из жмыха и картофельных очисток, а обычного, простого хлеба. Жуют и представляют, что больше сегодня еды не будет, о чем предупреждают своих детей. Они все вместе заходят на воинское кладбище на Синявинских высотах и в тишине смотрят в лица тех, кто лег здесь за Тишину. Смотрят им в глаза и клянутся никогда больше не играть в смерть и войну, никогда не устраивать из трагедии развлечения, никогда не нести чушь, называя это сохранением истории и воспитанием патриотизма. Перед мертвыми клянутся и перед своими детьми клянутся не лицемерить и не врать.

Прочитав об очередном сценарии квеста «Блокада Ленинграда» для школьников, с зубодробительным сценарием, почитав комментарии в защиту сего мероприятия от некоего молодого защитника действия, называющего в ходе обсуждения оппонентов «коллеги», у меня вопрос. До каких пор вы не будете слышать тех, кто в теме? До каких пор самоуверенно и нагло будете нести чушь, обманывая наших детей? Считая их недалекими дебилами. До каких пор своими новомодными тусовками на военную тему будете лишать их возможности чувствовать и учиться? Вам не хватает слов, ума и воображения рассказать об ужасах войны и Блокады словами? Тогда вам не место около детей!

В торговлю, на рынок, в офис! Коллеги? Да нет, мои коллеги двумя словами у вывернутой наружу воронки заставляют плакать самого «отпетого» школьного хулигана. Мои

коллеги одними рассказами о Тишине и людях, ее подаривших, не повышая голоса, рассказывают о войне так, что рыдают директора школ и губернаторы. А дети десятилетиями ездят в леса слушать Тишину и привозят в эти леса уже своих детей. Мои коллеги, невзирая на творимые вами препоны берут пацанов и девчонок в лес, обучая их настоящей дружбе, любви, честности.

Говорят на Руси: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Так вы чужой детский лоб расшибаете, прикрывая все творимое Вами дерьмо шторами патриотизма. И, ловко лицемеря, затыкаете рот думающим людям: «Кому не нравится — тот пятая колонна, Родину не любит».

Любим мы Родину. Вас, недалеких, делающих все кое-как, для галочки или вообще ничего не делающих, не любим. Больше скажу — ненавижим. Ненавижим как самого главного врага, как диверсанта и предателя, как червя, залезшего в самое сердце и пожирающего не плоть, а чувства. Врага, топчущего память и уничтожающего будущее. Ваша любовь по датам хуже предательства!

На что надежда? На здравый смысл? Нет. На что? Уже не знаю. На себя. На своих товарищей. На то, что кто-то из нас успеет вашим детям рассказать правду, а те, глядя вам в старости в глаза, скажут: «Ты трус и предатель!»

Уймитесь. Не соображаете — позовите тех, кто чувствует. Попросите их сделать правильно и по-настоящему. Они рядом, их тысячи, они не возьмут с вас денег, а с экономленных купите краски для памятника и пойдите со своими детьми поклониться подарившим Тишину!



Мужское и женское

Дождь в лесу не кончается с уходом облаков, это не поле, не город. Проснешься, лежишь, глядя в потолок палатки, и слышишь, как капли барабанят по тенту. Размышляешь о всяком. Солнце уже гоняет по лесу тени, а капли всё падают и падают с мокрых ветвей. Так уютно в нагретом за ночь спальнике, столько всего переплетено в мыслях. Здорово слышать, как просыпается лагерь. По одной вжикают молнии палаток «ветеранов», им раньше всех не спится. Шлепают по грязи шаги, кряхтят старички, натягивая сапоги и берцы. Чиркают спички и зажигалки. И вот с утренним кашлем заядлых курильщиков тянется табачный дымок. Хрустят ветки, и костерком потянуло. Забрэнчали котелки, и молнии завжикали одна за другой пулеметными очередями. Заелозила, зашебурилась, бестолково захихикала и забегала молодежь. Лагерь проснулся. Деревья, палая трава, походный скarb будто усыпаны пригоршнями бриллиантов дождевых капель, и в их глубине искрится солнце.

Утренняя суета разбуженного муравейника. Деды тянут молча свой чаек с сигареточкой, их походное всё с вечера

собрано, вот и есть минутки лишние на созерцание. Молодежь мечется, собирая инструмент и провизию. Всегда, когда поисковый лагерь стоит на ближних тыловых позициях, среди старых засыпанных блиндажей и землянок, очень просто представить эти места семьдесят пять лет назад. Просто мысленно переодеваешь поисковиков в ватники, шинели и пилотки. А яркие туристические палатки — в зеленый брезент. Рычащий прогреваемым двигателем тягач без особого напряжения воображения становится эвакуационным танком, лишенным башни. Тарахтящие на холостом ходу «квадрики» — посыльными мотоциклами. А сами поисковики — бойцами, с тем же делением на молодых — салаг, опытных середнячков и бывалых, никуда не спешащих, но всегда и везде успевающих стариков. Вот тебе и ближний тыл затихшего впереди фронта.

Туда, к передовой, и собирается вся эта тыловая шатия-братия — хоронить убитых в бою. Порывав моторами, вывалив из под колес килограммы грязи, умчались вперед квадроциклы. Бережно погрузив свои инструменты в кузов, с достоинством полезли на броню старики. С веселыми, бестолковыми смешками и тычками полезли внутрь тягача молодые. Первые ходки после начала экспедиции проходят в тишине, каждый думает о своем. В середине вахты молодежь больше трещит без умолку, пытаюсь перекричать рев дизеля, потом больше молчит, переваривая увиденное и прочувствованное, экономит силы. Километры к фронту, та же, что и семьдесят пять лет назад, разбитая колея. Та же грязь, местами те же, но подросшие ввысь и вширь деревья. Ржавь военного железа по обочинам и кустам. Россыпи бриллиантовых капель с изумрудом свежей, только-только начавшей пробиваться листвы. Ловкий маневр в колее — и тягач, сдав задом, стих. С грохотом посыпались люди на землю. Разбирая свои инструменты, вытягиваются в шеренгу, хлюпая водой, тянутся к передовой. Так же, как семьдесят пять лет назад. Весело помахивая металлоискателями, с легкими, короткими финскими лопатками вперед ломанулись спортивные парни лет семнадцати-девятнадцати. А сзади, навьючив на себя лопаты, рюкзаки с обедом, котлами на всех, обвешанные экспузаци-

онными наборами, запасными сухими вещами, тентами для раскопов, не менее задорно и весело выдвигаются девчонки.

И вроде и сердцу бы радоваться, а что-то не то. А что же? А всё просто. Ни один из пацанов не предложил своей помощи. Просто взял свое и пошел. Ни на секунду не вспомнив о том, что это женщины, это девочки, девушки — это красота и нежность.

А где-то в метре, может, там, за плачущей соком березой, в этом же месте, но семьдесят пять лет назад, здесь, но в параллельной реальности, рядом, только руку протяни, под падающими с неба серыми струями дождя в грязь мутной воды опускали тела. Тела молодых девчонок. Десять! Хрупкие от скудной армейской диеты голодной, окруженной армии телá. Косы толще руки, сапоги, набитые мхом, чтоб не болтались. Изорванные осколками девичьи тела. Десять не ставших матерями. Опускали в жижу мужики. Опускали, и слезы, мешаясь с дождевыми каплями, падали в яму. Старшина — единственный мужик в этом жутком строю ушедших — лег с ними.

Это не сказка, не аллегория, не сценарий к фильму. Их подняли у бывшей деревни Новая Кереть Саша Орлов со своими ребятами и девчонками. Вынули из болота, бережно оплетая серые черепа русыми, каштановыми, черными как смоль сохранившимися в вечности, тогда семьдесят пять лет назад, заплетенными косами.

Как Вам такая машина времени? В руках девичья коса, которую девчонка, вставшая под пулеметную очередь, смеясь и шутя, заплетала 75 лет назад. Посеревшая от болотной жижи, но пережившая свою хозяйку. Как Вам сапоги, в носках которых вместе с тонкими пальчиками сохранился сухим набитый туда 75 лет назад мох?

Страшно? И мне страшно. Мне страшно. Страшно, что сейчас девчонкам и женщинам приходится быть мужиками. Страшно, что войны нет, а мужики утратили мужское. Страшно, что парни перестали быть сильными. Что женщинам приходится быть сильными в мирное время. Страшно, что, пытаюсь воспитывать детей, мы упускаем или уже упустили главное. Их нужно воспитывать мужчинами и женщинами.

Мужчина — это не особь с бородой, в первую очередь мужскими должны быть поступки. Мужчина должен позволить женщине быть слабой, а для этого он должен стать сильным. Сильным духом, сильным физически и сильным в умении прощать женщине ее слабости. На нашей земле женщине столько раз приходилось быть сильной, чтобы защитить своих детей, свою семью, что нам, мужчинам, нужно сделать всё, чтобы сейчас, в мирное время, женщина могла быть женщиной. Меня бесят женоподобные, напудренные мужские лица по телевизору, кривляния особей мужского пола, мужики, судачащие, как бабульки у подъезда, распускающие сплетни в коллективах.

Я ношу бороду более десяти лет, и мне хочется ее сбрить из-за повальной бородатости мальчиков в коротких брючках в облипочку. Мне хочется дать подзатыльник типа парню с брутальной бородой, закатившему кассирше на заправке истерику из-за того, что вперед него в очереди пропустили женщину.

Задрали напояженные бруталы! И даже в лесу лучшие представители молодого поколения не могут извлечь из себя мужское. Потому что оно туда не вложено родителями, не вбито в уличных стычках и драках, не засунуто школьными коллективами. Потому что с экранов исчез культ мужчины. Сильного своими делами, а не только мышцами и бородой. Растите мужчин. Родители — в своих детях. Парни — в себе.

А женщины? Женщины станут опять мягкими и хрупкими сами, как только почувствуют, что рядом мужик! И дай Бог, нам не придется больше складывать их тела в ямы.



Пока горит ОГОНЬ

Белое, черное, красное. Три фона — цвета войны. Белый снег, белые лица людей, черные провалы глаз на уставших от смерти лицах. Черные тела на белом снегу. Черный смрадный дым от горящих домов, танков, машин. Черные ямы воронок, траншей, ячеек. Черная грязь на руках солдат. Красная, алая кровь из рваных ран на белой коже. Красный огонь в горящих деревнях, городах. Белые осколки костей в ярко-алых рваных ранах, черная земля, набившаяся в эти раны. Красный огонь ярости в глазах, белый оскал зубов в алых разъявленных в крике рукопашной ртах. Черная злость, алая ярость, белый покой. Красное, черное, белое...

Черная линия траншей на белом снегу, черные точки солдатских тел в стрелковой цепи, редкой пунктирной линией оторвавшейся от кромки леса и наползающей на траншею. Красные линии трассирующих очередей, соединяющих эти две черные линии и выхватывающие из цепи точки тел. Сполохи черных кустов, разрывов. Черное, белое, красное...

Черные стволы винтовок озаряются красными фонтами выстрелов, пули, вонзаясь в черные тела, рвут живую плоть, и алые фонтаны крови брызжут на белый снег. Падают одни, поднимаются другие. Шаг, другой. Упал, пополз. Неумело, вихляя откляченным задом. Лицом зарываясь в снег. Огромным черным червем, паля наугад, в сторону красных вспышек. Воя от страха, бессилия и ненависти. Ненависть и отчаяние рождают в стеклянных от страха глазах красный огонь ярости. Выстрел, разрыв, перебежка. Очередь вихрем над головой. Рваная черная нитка людской цепи, визжа и воя нечеловечески, трясась от пережитого страха, ставшего яростью, вливается в черный штрих траншеи. Визг, перерастающий в булькающий, плюющийся алой кровью, затихающий стон. Выстрел в упор, выжигающий ненависть в горящих глазах. Лязг, грохот железа, рубящего, рвущего плоть. Человеческое месиво боли, ярости, злобы. Черные пальцы, смыкающиеся на белой шее. Выдох-вдох, не пускают чужие, грязные, воняющие порохом пальцы. Ярость, боль, тишина. Огонь в глазах гаснет, оставляя в них отражение белых облаков.

Снег белым покрывалом устилает поля, крупные снежинки не тают на остывших глазах, покрывая каменные лица посмертными масками. Снег убирает, скрывает алую кровь. Черная земля поглощает тела, впитывает, всасывает их в себя. Всех — и своих и чужих. Черная земля лечит, засыпая, затягивая воронки и траншеи. Изорванные железом и болью тела становятся землей. Память редкими обелисками над везучими, умершими по документам, рваной солдатской цепью мелькает иногда в мыслях потомков.

Наполненные своими проблемами живых тысячи глаз за блестящими безразличием окнами поездов вместе с десятилетиями пролетают в пятидесяти метрах от черной траншеи, где горел огонь той самой Благородной ярости. Где этот огонь еще тлеет в пустых глазницах и сердцах живых, пришедших на этот рубеж заглянуть в них. В двухстах метрах, не затихая ни на секунду, гудит моторами черная лента шоссе. Тысячи, десятки тысяч, миллионы, сотни

миллионов глаз, душ, мыслей, жизней десятилетия проносятся мимо.

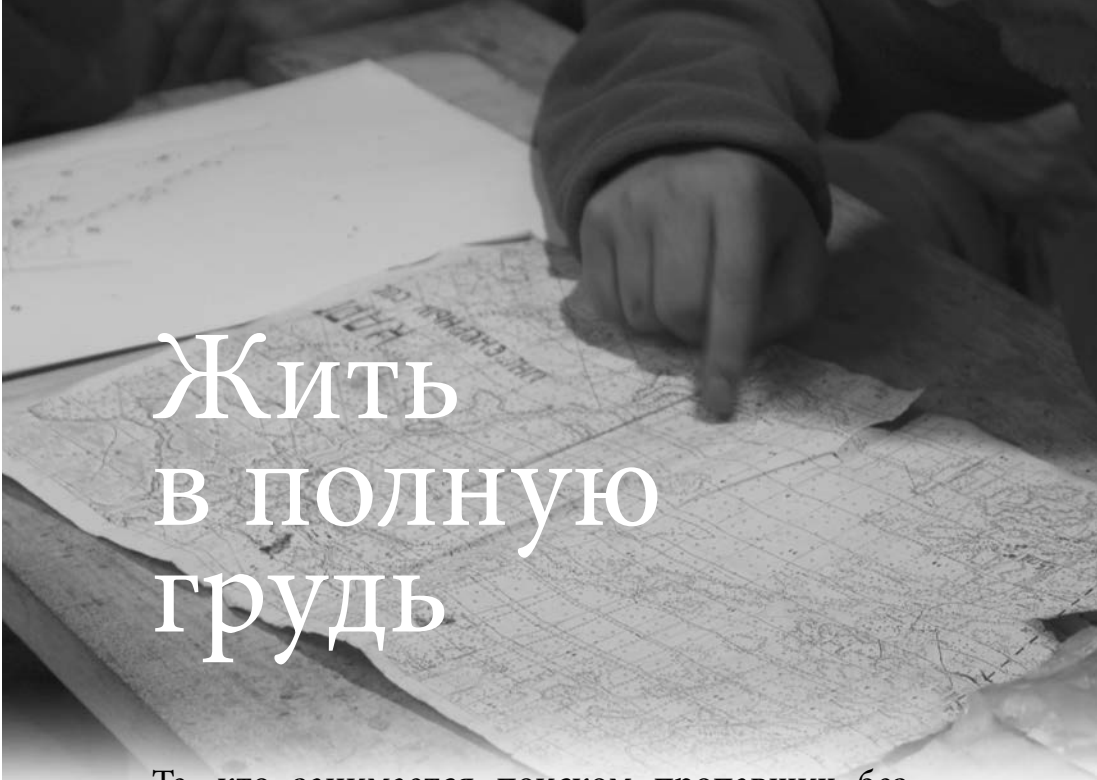
«Традиции — это передача огня, а не поклонение пеплу» — Густав Малер.

Как нам передать тот огонь? Ведь даже просто помнить недостаточно! Как из пустых, черных, остывших глазниц, вдавленных в грязь в заплывшей траншее у железной дороги, взять горевший в них огонь и передать будущему?

Ведь в них, в этих глазах, не только ярость, злоба и ненависть. В них честность, жажда справедливости и свободы, в них равнодушие и истинная любовь в своей Родине. Нужны ли им просто наши слезы? Редкие торжественные речи, пустой пафос ярких митингов ко Дню Победы и дешёвка искусственных, вечнозелёных венков на облезших от времени обелисках? Нужны ли им наши слова, зачастую наполненные лицемерием и напускной скорбью? Где в нас горевший в них огонь? Он, безусловно, есть в добровольцах и солдатах Донбасса, есть в солдатах и офицерах в Сирии. Есть в маленьких детях, безраздумий бросающихся спасать утопающих, гибнущих своих сверстников. Есть в сотнях равнодушных людей, рискующих своими жизнями ради справедливости, чужой свободы и жизни. Где он в остальных десятках миллионов нас, со стеклянными, равнодушными взглядами, проходящих мимо? Год за годом мы склоняемся над пеплом, мы нагибаем над пеплом головы наших детей, даже толком не объяснив им, что за огонь породил этот пепел. Мы, как древние жрецы, распустив волосы, посыпаям себе головы этим пеплом как по расписанию, в определенные даты. И удивляемся: почему не горит огонь? А он не загорится от лицемерия, лжи и пустых слов. Он давно почти потух. Его надо разжигать вновь.

Медленно, планомерно, аккуратно раздувать из тех маленьких угольков, которые, по счастью, еще тлеют в душах немногих. Аккуратно, бережно, чтобы не задуть, переносить их из одной души в другую. Как самое ценное хранить и беречь этих равнодушных людей и давать им возможность передать свой огонь будущему. Именно они должны смотреть на нас с экранов телевизоров, а не дешевые,

пестрые клоуны в дорогах шмотках, бесящиеся с жиру. Не дорогие шлюхи, возомнившие себя вершителями судеб. А люди, трудом своим и поступками заслужившие уважение страны. Они должны быть примером служения, а не пиявки, присосавшиеся к их делам. Человек мысли, труда, подвига должен опять стать иконой. Не галстук, пиджак, кабинет и служебная машина должны стать пределом мечтаний. А справедливость, совесть, доведенные до конца дела и уважение. Сложно? — Нет. Но на то должна быть общая воля. Иначе мы так и будем стоять с пустым взглядом у прозрачного стекла, а мимо пролетать черная земля, засыпанная пеплом.



Жить в полную грудь

Те, кто занимается поиском пропавших без вести давно, поисковики старой школы, любят тишину. Они и по лесу ходят по одному, вставая на Вахту небольшими группами таких же «стариков» или «хуторами» отдельно от общих лагерей. В их «хабаре» редко увидишь гитару или радиоприемник, там только нужное для работы. На «хуторах» нет посиделок у костра и ночных душевных разговоров. Короткое обсуждение лесных новостей, которые каждый принес со своего маршрута, изготовление только им понятных схем огрызком карандаша на куске коробки от тушенки, схем, больше похожих на наскальную живопись, но от этого не менее информативных, чем крутые генштабовские или гугловские карты. Разговор на «хуторах» почти всегда о войне и солдатах.

Почему так? Потому что надо увидеть и почувствовать войну: чтобы найти убитого, надо идти не по лесу, а по войне, надо слышать ее дыхание. Искать. Что искать? Останки погибших? Память? Или себя в этом мире и смысл своей жизни, сравнивая ее с миллионами других, более корот-

ких, но и более ярких и наполненных смыслом служения и жертвенности во имя высшей цели? Всё чаще и чаще молодежь говорит о Долге. Их так учат, они отдают Долг павшим. Долг в том, чтобы найти и захоронить останки погибшего в бою за Родину своего сверстника. Они не видят войну, она уже далеко от них, они правы в чем-то. Но их дальнейшая, только начинающаяся жизнь будет подчинена другому, другим, пока не им и не нам неизвестным целям и задачам. Так и что, у них не останется Долга перед целым выкошенным войной поколением? Дальше можно спокойно идти по жизни, изредка вспоминая о своих наполненных суровой романтикой поездках на Вахту Памяти? Исходя из этой философии — да.

Но что же происходит с единицами тех, кто остается? Кто из года в год, наплевав на отпуска и уют, едет в лес. Тех, кто немymi тенями трется у «хуторов», слушая неспешные беседы «стариков», тех, кто просит научить видеть войну. Их немного, но, по счастью, они есть. Эти понимают, что что-то не так. Что-то намного сложнее в этой работе, в этой задаче, в этой философии. Зачем, почему и как этот Долг объять?

А на «хуторах», глядя на алеющие угли затухающего костра или на белые искры звезд в иссиня-черном небе, понимают — мы здесь не для того, чтобы отдать Долг, его невозможно отдать. Мы здесь для того, чтобы осознать всю глубину этого Долга, осознать и по возможности взвалить его на себя. Попробовать за две недели пусть и в теплой палатке и спальнике, но без привычных благ цивилизации почувствовать, что такое жить четыре года в земле под дождем и снегом, под снарядами и бомбами. Хоронить товарищей и идти дальше. Орать на госпитальных столах от дикой боли в разодранном теле и через несколько недель возвращаться обратно сюда, где эта боль родилась. Видеть, как рядом снопами, навсегда валяются в болотную чернь твои товарищи, и, стиснув зубы, шаг за шагом идти на пулеметы. Осознание глубины этого неподъемного Долга приходит с каждой прошедшей через твои руки судьбой. С каждым подвигом, совершённым известным тебе по имени или оставшимся в земле безымянным солдатом.

В чем подвиг каждого? Он в целеустремленности и самопожертвовании ради будущего. И ты понимаешь: чем дольше живешь, чем больше возвращаешь и хоронишь, тем больше осознаешь, что Долг этот не оплатить. Да и не просят они оплаты, они нуждаются в осознании и Памяти. Осознание не массовый продукт, осознание любит тишину. Оно может прийти у старой, заросшей фронтовой дороги, чье направление чуть угадывается среди стволов деревьев, оно может обернуться веселым, веснушчатым лицом молодого солдата в шинели не по росту, заляпанных грязью обмотках, большой каске, не по сезону перекрашенной в белый цвет. Ухмыльнуться, глядя на тебя смеющимися глазами, подмигнуть задорно: «Ну что сидишь? Помни!» — и убежать догонять сереющий в далеком тумане в такт шагам качающийся строй. Оно может ворваться в голову воем падающего горящего самолета, промелькнуть кровью на разбитом пулями «фонаре» кабины и вспыхнуть последним взглядом с окровавленного лица навалившегося на штурвал парня в летном шлеме. Оно, осознание это, может прийти с запахом сгоревшей в огне деревни, постучаться откуда-то из самых твоих кишок отрывистыми, гортанными командами на чужом языке и осыпаться падающими в яму телами стариков, женщин и детей, надавить на голову последним залпом расстрельной команды. Осознание — это десятки, сотни, тысячи лиц, увиденных тобой в выбеленных землях, оскаленных черепах твоих соотечественников. Они тоже разные: добрые, злые, веселые и не очень, беззаботные и обремененные думами, одно у них общее — отданный Долг. Долг перед будущим и перед своей страной.

Так и что же делать с этим осознанием Долга? Да жить! Жить и становиться лучше. Жить в полную грудь, жить так, чтобы в конце пути увидеть не только свет в конце тоннеля, но и, обернувшись, видеть свет в начале пути. И усмехнувшись, припустить вдогонку за веснушчатым пареньком в смешной белой не по сезону каске и шинели не по росту.



Родные стены

Дом появился очень давно. Его построили на берегу тихой, красивой реки со спокойным, как ее течение, именем. Его фундамент был сложен из вековых валунов заботливыми, крепкими, натруженными мужскими руками пахарей. Фундамент, скрепленный раствором, с веками превратился в скальный монолит. Деревянный сруб сперва напоминал крепость с узкими окнами-бойницами. Крыша блестела на солнце золотом соломы. Нежные женские руки создали незабываемое, милое внутреннее убранство и сделали его уютным и мирным. Вместе — мужчина и женщина вбили в дубовую балку его перекрытия кованое стальное кольцо, и в нем закачалась детская люлька.

Так он и жил, крепкий, красивый, с внешностью воина и душой поэта, Дом. Вокруг него вырос сад. И весной сад наполнялся детским смехом и пчелиным жужжанием. Зимой, накинув на золото крыши белую снежную шапку, Дом нахмурился подслеповатыми окнами и пыхтел в голубое небо веселым столбиком дыма из большой, такой теплой русской печи. Дом жил, и люлька в его светлице не

останавливаясь, раскачивалась как, ходики, отсчитывая поколения. У Дома были свои часы, они отсчитывали не секунды, а десятилетия, не минуты, а столетия, не часы, а тысячелетия. А их стрелками были люлька, лес и река.

А еще каждое выросшее в люльке поколение мужчин уходило на войну. Иногда враг доходил до реки. Он врывался в дом. Вместе с ним приходил чужой запах, запах злобы, железа, крови и смерти. Потом враг бежал, а Дом сжигал в бессильной ненависти и злобе. На почерневших от жаркого пламени голых ветвях деревьев оставались висеть растерзанные тела мудрых и тихих седых стариков, хрупких женщин и маленьких детей. Позже, когда дым далеких пожаров развеивался и небо опять становилось голубым и чистым, возвращались мужчины. Они молча хоронили свои семьи. Долго тихо сидели на пепелище, невидящими глубокими глазами они смотрели на небо и реку, а по их покрытым шрамами лицам медленно текли слезы. Затем, стряхнув морок воспоминаний, загнав боль внутрь души, размазав крепкой рукой по лицу пепел и слезы, они заново возводили свой Дом. И найденное в углях кольцо вновь взлетало к притолке, и мерное покачивание люльки отмеряло секунды новых поколений. А обожженные в огне ненависти камни фундамента только становились крепче. Этот Дом у прекрасного, светлого леса вселенной, на берегу реки вечности — наша с вами Родина.

Этот Дом прекрасен своей простотой и глубок своим убранством. Но враг, который не смог его сжечь, стал хитрее. Он построил рядом другой дом из дешевой пластмассы. Обвешал его дешевыми лампочками и отгородил реку стальным забором. Рассказав о том, что в реке вода грязная, залил в своем доме пластиковый бассейн мертвой, дистиллированной, крашеной водой. Яркими, кричащими надписями на чужом языке он зовет в этот дом наших детей. Обещает им комфорт и уют, созданный чужими руками. Он рассказывает нашим детям о том, что в нашем доме сыро и затхло, что книги в шкафу покрыты вредной плесенью и опасны. И мы уже давно свалили в подвал книги, написанные нашими предками. Мы закинули на чердак иконы, на светлых ликах которых еще сохранились капли

крови наших убитых врагом дедов. И иконы перестали дарить нам свой свет. На их месте висят холодные, кричаще обнаженные мониторы, из которых враг льет грязь уже на наших отцов, да и на нас.

Мы год за годом, стесняясь и стыдливо отворачиваясь от чистых взглядов, по одному снимаем со стены портреты наших героических прадедов, заворачиваем их в полиэтилен и запихиваем в услужливо предоставленный врагом красивый кейс. Враг уговаривает наших детей выломать камни из векового фундамента и принести им за право жить в их пластиковом «чуде».

Мы сами, с упорством маньяков, отцовскими мечами выковыриваем раствор, скрепляющий камни вековых традиций. Ложью, злобой, бездуховностью, жадностью и безразличием мы погубили сад у Дома, и там двухметровыми лопухами торчит борщевик. Мы уже готовы бросить старый, нашими стараниями становящийся неудобным Дом и сбежать за забор, выломав из фундамента свой камень. И, преклонив голову, отдать его в плату за предательство и жизнь в тепле.

Но когда будет выломан последний камень из фундамента Дома, он рухнет. Соседи сожгут его обломки и сгребут их бульдозером на край вечности. А когда у нас не останется ничего своего и нам некуда будет вернуться, они выставят счет за проживание. И цена будет одна — стать рабами, прислугой, живущей в чужом доме, по чужим законам, говорящей на чужом языке и работающей за еду на благо хозяина.

Дети! Дорогие наши дети! Все, кому нет еще тридцати. Наш с вами Дом идеален. Мы оказались не очень хорошими хозяевами. Мы много сил и времени тратили и тратим на внутреннюю бестолковую перепланировку, меняя местами столовую с туалетом, а спальню с прихожей. Но мы пока не до конца разрушили фундамент. В вековых камнях этого фундамента, доставшегося нам от дедов, — честь, гордость, настоящая любовь, чистота, истинная дружба и самопожертвование. Там вера и верность долгу, присяге, товарищам. Там в подвале великие книги и открытия. Будьте лучше и умнее нас. Достаньте из сундука

портреты наших прадедов, посмотрите им в глаза и гордитесь, верьте, они этого достойны.

Вы сами в силах навести в этом Доме порядок. Делайте это как написано в старых книгах. Вышвырните весь этот заморский, аляповато-цветастый, химически-ядовитый мусор. Выведите крыс, клопов и тараканов, которые расплодились при нас, в нашем Доме. Сметите с покрывала черную от пыли паутину, прихлопните жирных с крестами пауков. Вымойте всю эту едкую, цветастую плесень из углов. Не делите между собой окна и комнаты. Дом большой, его хватит на всех и деды наши жили в нем все вместе, дружно и по совести. Не думайте, что в соседском доме будет лучше, за предательство всегда приходится платить.

Живите в своем Доме по своим законам, говоря на своем языке, растите и воспитывайте своих детей, даря им нашу красоту и нашу веру. А Дом будет вам благодарен, если вы отнесетесь к нему бережно, он откроет перед вами то, что не доверил нам, то, что еще скрыто в его тихих чуланчиках и потаенных кладовых, и это будут самые драгоценные подарки. Это самый красивый, самый большой и самый родной — наш Дом. Сберегите его и свои души, возродите его, и вы будете счастливы, глядя на чистую реку на опушке изумрудного леса, под самым голубым и чистым небом.



Одиночество

Он сидел, прислонившись к молодой сосне, и смотрел на темное небо. Он не хотел смотреть вниз. Туда, где белели осколками костей, торчавших из кровавого месива, ноги. Пулеметная очередь перечеркнула тело и жизнь. Наспех перетянутые брючным и поясным офицерским ремнями бедра давно ничего не чувствовали, а напитавшийся кровью снег вокруг был черным в темноте. И он сидел черным пятном на белом снегу. Гул фронта уже откатился на десяток километров, и орудия глухо бухали далекой грозой.

Он их не слышал, просто отметил в подсознании, что деревню они все же взяли. Он слушал накатившую тишину. Он смотрел на темный, будто истыканный мелкой иголкой звезд занавес неба и ждал солнца. Он почти физически ощущал или представлял, что это солнечный свет попытается пробиться к нему из параллельной вселенной и это не звезды, это солнечные лучи пробиваются к нему из-за штор затемнения. А может, всё же звезды и нет никакой параллельной вселенной. Увидев первый солнечный луч,

он просто тихо отойдет, и наступит вечная темнота забвения. Умирать было страшно, когда он поднял свой взвод на пулеметы сутки назад, ранним утром. Умирать было страшно до ужаса и дрожи в груди, когда он, размахивая наганом, бежал, проваливаясь по пояс в снегу, и видел, как падают его солдаты. Теперь уже было не страшно. Тело уже давно не слушалось слабых сигналов мозга.

Что-то другое, что-то внутри, где-то в груди или выше заставляло глаза смотреть на небо и торопить восход. Снег уже не таял вокруг. Звезды мерцали и гасли, а ему казалось, это кто-то отсчитывает его секунды. Когда по ногам будто ударили хлыстом и в лицо залепил снег первой и последней тогда мыслью было: «За что?» Очнувшись здесь, с наско-ро перевязанными ногами, он знал за что. Теперь, умирая или уходя за грань простого человеческого понимания, он точно знал «за что». И сейчас, в жарком бреде мечущегося сознания, он видел и говорил с давно ушедшим отцом, а тот, улыбаясь, поворачивался к крепкому мужчине в стар-рой, еще царской форме и взглядом как бы спрашивал того: «Видишь, наш-то орел!» И было почему-то понятно, что это не вернувшийся с той мировой его дед, которого он никогда не видел. Потом он увидел грустные, постарев-шие глаза матери, улыбнулся и на секунду загрустил, по-жалев ее. А когда ночное покрывало неба стало сереть, а его стекленеющие глаза наполнятся голубизной утреннего светлого неба, в первом и для него на этом свете последнем солнечном луче он увидел маленькую девочку.

Девочку, как две капли воды похожую на его Олю. Де-вочка, будто золотая капелька, текла в людском море и несла его портрет. Портрет с той самой единственной фо-тографии, которую он отправил домой. А люди кругом, празднично одетые мужчины и женщины несли тысячи портретов его товарищей. Он знал, что даже здесь, умирая один в темном, зимнем лесу, он не одинок, он знал «за что».

Он уже не видел в свете родившегося дня испятнанное серыми бугорками шинелей поле. Позже, весной, когда со-шел снег, люди, обмотав веревками и проводами разбух-шие почерневшие ноги, стали стаскивать в воронки тела его солдат. Поле надо было пахать, живых надо кормить.

Он так и сидел на опушке леса. Смотрел черными провалами выклеванных вороньем глаз на копошащихся в поле людей, а они чувствовали на себе чей-то пронзительный взгляд, передергивали плечами, но боялись идти в жуткий, разбитый снарядами лес. Долгие годы этот взгляд тревожил работавших на поле людей, бередил раны фронтовиков. Он дошел и до нас.

Мы стояли у ставшей больше в два раза сосны и смотрели в его глаза. Смотрели на лежащего с обрывками ремней на ногах, в истлевших сапогах человека, видели взгляд его голубых глаз и знали «за что». Знали, он не одинок.

Я знаю, что одиночество одиночество. То одиночество, в которое мы сами себя загоняем, отгораживаясь от чужих боли и бед. То одиночество, которое вроде как и незаметно. Ведь рядом с нами столько людей. Ну люди-то тоже заняты своими проблемами. Мы отгородились от всего экранами компьютеров и телефонов, дверями квартир и своими личными проблемами. Мы культивируем одиночество, потевряв что-то главное и одно на всех. То, что было у них.

Одиночество в нас льется с экранов и мониторов. Оно пропагандируется. Ведь одиночек в случае чего проще раздавить. Проще отобрать то, что, они думают, им ни к чему. Отобрать большое, оставив им их малое и их одиночество. Мы впадаем в депрессии именно потому, что одиночество личных забот не позволяет нам чувствовать находящихся рядом людей, зачастую даже близких. Ведь их проблемы нам ни к чему. А чего-то общего, нас всех объединяющего у нас уже нет.

Мы мучаемся в поисках смысла жизни, потому что на подсознательном уровне нормальному русскому человеку мало сладко есть и пить кровь, обогащаясь за счет других. Смысл этот, он не может быть в мелком: он не в квартире, коттедже или в банковском счете. Он в большем, в том, от чего мы отказались или что у нас отобрали. Душа, именно душа мается одиночеством, ищет применение себе, а мы опять и опять предлагаем ей суррогат в виде ста рублей, поданных нищему в метро.

Мы уговариваем себя, что такие времена, что вокруг все такие, что по-другому не прожить, что тебя будут считать

слабым или глупым. И ставим железные двери, всё больше становясь одинокими. А может, нужно, чтобы иногда тебя считали смешным и несовременным? Может, нужно просто так помочь соседу? Может, стоит вместе посадить по дереву во дворе дома? Может, этот Дом и станет тем первым большим общим, что у нас отобрали? Может, из этого общего для всех двора и к нашим детям придет осознание того огромного общего, что называется Родиной? Может, это сделанное вместе с, казалось бы, незнакомыми людьми общее дело для Всех будет важнее тысяч слов о патриотизме? Может, они, наши дети, опять станут оставлять ключ от квартиры под ковриком? Ходить в гости к соседям по праздникам просто так, без приглашения. Может, они вместе с соседским пареньком уедут покорять тайгу или строить город на Марсе? Убейте свое одиночество, и ваши дети не будут одиноки, а свой смысл в жизни они найдут вместе с соседским парнем или девчонкой, и он будет общим для всех.

Сопли? Чушь? Кто знает. Но я верю, что когда-нибудь я встречу молодого голубоглазого лейтенанта и он мне скажет: «Ну что, попьем чайку и пойдем глянем, как они там живут на Земле?» Он и сейчас где-то рядом. Он и другие: живые и павшие. И у них у всех есть одно большое на всех — Память и Родина без пафоса и митингов.



Что помнит мир спасенный

Евросоюз приравнял солдат Третьего рейха и советских солдат. Я думал, что же ими движет? Теми, кто сейчас выдает такие «уравнения». И осознал. А почему нет? Ведь для них что нацисты, что Советы, им-то какая была разница? Они работали на заводах на благо рейха как до их прихода, так и после. Они так же выращивали хлеб и скотину и кормили солдат рейха. При нацистах было даже лучше: освободились дома сожженных в концлагерях евреев, а их пепел выдали как удобрения для полей. Им-то там, в Европах, какая разница, коричневые или красные? немцы или русские? Главное — улыбаться и встречать цветами. А потом требовать контрибуцию от побежденного и громче всех кричать «ату его!». Ведь не их сыновья вставляли на пулеметы, не их дети и жены горели заживо в домах, сжигаемых солдатами рейха. Не они от голода в блокадном городе жевали столярный клей и грызли кору. Не их деды и прадеды по четыре года мерзли в окопах под пулями и бомбами..

Им-то что не равнять? Им-то реально какая разница? А когда у нас в стране начали обсуждать и вякать «де

правильное решение» те, чьи бабушки сгорали в домах и хлебах... Я живо представил себе картину. Как советский солдат улыбаясь хлопает по плечу лоснящегося от пота усталого «эсэсовца», и сменяет его у печи крематория в Польше. И в печь уже летят не евреи, а поляки, датчане, голландцы и бельгийцы. А что, топить-то надо? Удобрения для полей производить. Увидел, как гвардейская стрелковая рота въезжает в тихий французский городок и, согнав всех жителей в костел, полыхнув десяток раз из огнеметов по стенам, весело пылит к Берлину, по пути давя гусеницами колонны с немецкими беженцами. Мне прям захотелось посмотреть, как юркий «як», меняя в небе «мессершмит», полоскает очередями палатки английского госпиталя.

Что осталось бы от этой Европы, если бы советский солдат вел себя в ней как нацист? Если бы он был не освободитель, а поработоритель? Была бы сейчас вообще Европа? А еще я жалею, что мои предки посадили на скамью подсудимых в Нюрнберге только нацистов. Что туда не сели и потом не закачались на веревке те, кто помогал им прийти к власти, те, кто торговал с ними, поставляя оружие и обмундирование. Что в Сибирь и на стройки восстановления Союза поехали только солдаты, а не поехали туда все эти бельгийцы, голландцы, датчане, что трудились на своих заводах, кормя и одевая палачей. Я очень жалею, что все те в европейских странах, что молча помогали Гитлеру жечь и убивать на моей земле, ушли от ответственности за громкими криками «ату его!».

Потому сейчас их дети и плюют в спину тем, кого уже давно нет, а мы, их потомки, молча утираемся. А вот представьте, что было бы с этим долбаным Евросоюзом, если бы подобное заявление они сделали, к примеру, в 46-м году? Увидели? Нет? А я увидел! И понимаю, что мы слабаки по сравнению со своими предками. После подобного меня не разубедить, что Европа — это дешевая шлюха, которая ложится даже не под сильного, а под того, под кем ей ложится спокойно. Она готова даже продать своих стариков, таких как ветераны Войска Польского, которые вместе с нашими дедами тушили печи крематориев.

И даже если и есть там нормальные люли, то мало их, как и в годы той войны солдат Сопротивления. Время не только лечит, но и учит. А слова, что надоела эта война, что много лет уже прошло и пора успокоиться? Так запомните, пройдет еще немного времени, и наши внуки услышат, что Советский Союз напал на Европу, а доблестные солдаты войск СС ее защитили ценой своих драгоценных жизней. И на месте снесенных памятников Советскому солдату-Освободителю встанут обелиски с рунами. А возразить будет некому, потому что свою историю мы помнить не хотим. И не надо, история о себе напомним новым витком спирали, новой кровопролитной войной, или сами все отдадим в угоду толерантности.



Про пафос

Пафос (греч. πάθος — страдание, страсть, возбуждение, воодушевление) — прием обращения к эмоциям аудитории. Соответствует стилю, манере или способу выражения чувств, которые характеризуются эмоциональной возвышенностью, воодушевлением, драматизацией. Пафос представляет собой прием, при котором эстетика повествования передается через трагедию героя, его страдание и ответные эмоции зрителей. Используя пафос, автор или оратор должен вызвать у аудитории нужные чувства.

Река Волга. Воспетая в тысячах произведений: стихах, песнях — символ России. Куда лезть и что-то еще про нее писать? Я о другом. О красоте ее, величии все сказано. Я о вечности и времени.

Ржевский район, Волга здесь неширокая и тихая. В нее впадают маленькие веселые речушки с такими древними, исконно русскими именами, что, произнося их, видишь женщин с русыми косами до земли в белых платьях с узорами, босоногих детей, серьезных, с добрыми улыбками в

бородах мужчин, седовласых старцев. Кокша, Ажева, Ситинка, Добрая.

Зимой 1942/43 года эти реки несли в своих водах кровь наших солдат, реки наполнялись кровью, и Волга несла ее за тысячи километров, а в Сталинграде новые потоки солдатской крови смешивались с кровью тех, кто погиб несколько дней назад подо Ржевом, Зубцовом.

Только представьте, если взлететь, то можно увидеть тысячи километров этой реки и просто представить, что кровь отца могла смешаться с кровью сына, погибшего за тысячи километров отсюда. Жутко. Вот такая река вечности, река времени, река крови. Сейчас тут тихо, даже речки стали взрослее и степеннее, а может, это их минута молчания по тем, кто остался на их берегах. Деревень больше нет. Люди редко сюда заходят. Оплывшие траншеи и воронки заросли борщевиком. Даже птицы здесь ведут себя тише и настороженнее. Они, наверное, на генетическом уровне сторонятся таких мест. Только ранней весной тихие речушки наполняются безудержной силой талой воды и превращаются в ревущие потоки. Их мутные воды с ревом несут в Волгу всё, что оставила им зима, они будто очищают свои русла после зимней спячки. Много лет назад их воды несли и крутили тела тех, кто шагнул в Вечность.

Заболоченная пойма реки, рыжая палая трава в серых потеках половодья, мелкие нанесенные потоком палые ветви, будто сломанные руки деревьев и среди них белые кости человеческих рук. Белые кости пальцев сжимают горсти черной болотной жижи. Почерневшие лоскуты рукавов полушубка, ошметки валенок, солдатский ремень с подсумками, мундштук, несколько копеек мелочи, ржавая граната, и всё. Он упал на грудь, грудью с последним ударом сердца ударив эту землю. Впился пальцами в мерзлую землю, чтобы еще на секунду задержаться здесь. В глазах навсегда застыл белый снег.

Что я видел, разжав его пальцы? взяв его за руку в последнем рукопожатии? Я видел сухие строки рапортов и донесений с сотнями фамилий тех, кто остался здесь. Видел заснеженное поле, изрытое воронками, черные

пробоины в белом, ледяном русле речки. Водовороты черной воды и серые бугры исчезающих в этих водоворотах солдатских спин. Видел серые в красных кровавых ореолах закорючки сжавшихся от боли человеческих тел. Росчерки пулеметных трасс, обрывающиеся в телах рвущихся к высоте солдатских цепей. Видел пар из раскрытых солдатских ртов. Пар этот вился над цепью и туманом поднимался к солнцу вместе с их душами, кто быстрее.

Пафос? Как часто мы стали употреблять слова в оскорбительном тоне, даже не вникая в их смысл. Пафос? А как вам описать то, что мы чувствуем? Что написать или сказать о том, что хотим, чтобы почувствовали вы все? Воевали, шли, упали? Как просто, без пафоса рассказать, как током по жилам бьет ржавая загнутая в дугу винтовка, принятая тобой из мертвых, сжимавших ее семьдесят пять лет рук? Взял, пошел, сдал в металл? Как описать то, за что они погибали, не видя красоту природы вокруг нас? Красоту этой страны. Вы видите эту красоту? Вы слышите птиц, видите солнце в изумрудных ветвях нашего леса? А если без чувств, то зачем нам о них писать? Как можно о них, вечно живых, писать без эмоций, то есть без понятия, ставшего почему-то клеймом, без пафоса?

Мы уже давно живем без пафоса. Едим, спим, пьем, дышим, ходим на работу, и всё это почти без чувств, как роботы на автомате. Как все, потому что так надо. А как по-другому?

Здесь, в ста метрах от убитого солдата в реке, на прекрасной солнечной опушке лежало еще двенадцать человек. Как шли цепью, так и лежали с винтовками с прикнутыми штыками. Лежали прямо наверху, «став землей и травой», их растоптали грибники и ягодники, отдыхающие-шашлычники, втоптали так, что мешки наполняли мелко перемолотыми ребрами и кусочками черепов. А из-под травы торчали ноги в рыжих американских ботинках. Не видели? Может, и так. А может, и не хотели видеть. Земля, пропитанная кровью.

Пафос? Да! Я хочу, чтобы все это почувствовали. Чтобы вместе со мной разжали мертвые пальцы и увидели

снег в мертвых глазах молодого парня; может, вместе с этим движением морок спадет с душ. Быть бесчувственными стало модно. Скрывать бессердечие за напускной суровостью. Выдавать пустое бесчувствие за мужественность. Вы думаете, эти растоптанные солдаты были менее мужественными, чем тот, кто этот очерк назовет соплями и бестолковым пафосом? Да нет, они с той же силой и чувственностью, с которой на закате слушали соловья, мечтая о доме, с той же силой рвали глотки немецким пулеметчикам, дойдя до их траншей. Они чувствовали боль всех матерей и детей огромной страны, заживо сгорающих в домах Белоруссии и Украины, умирающих от голода в блокадном Ленинграде, бредущих по военным дорогам под бомбами немецких самолетов. Чувствовали и потому встали в солдатский строй. А кто сейчас чувствует эту их боль? Просто мы стали черствыми. Мы стесняемся своих чувств, мы боимся показаться слабыми, показывая свои чувства. Мы боимся насмешек, передавая свои чувства. А те, кто смеется над нами, они не чувствуют, не способны почувствовать чужую боль. Но в наказание может свалиться своя. Резкая, отрезвляюще яркая, как вспышка, своя, личная боль.

Черствых людей лечит судьба. А когда черствых становится критически много, они начинают войну. Войны всегда начинают те, кто не способен на чувства.

Чувствовать чужую боль не стыдно, тяжело, но не стыдно. Делиться чужой болью, чтобы ее передать, рассказать не о своей, личной, а о чужой трагедии сложно, но необходимо. Если, не чувствуя, врешь о чужой боли, брызжешь с трибун чужой кровью, примеряя на себя великоватую, простреленную солдатскую шинель; окропляешь толпы чужой кровью, призывая к памяти погибших, не чувствуя их и не плача по ним, тихо, незаметно утирая слезу, то это не пафос, это — ложь и лицемерие. Боль и трагедия — это всегда пафос, если эта боль стала твоей и ты хочешь ее передать.

Чужой болью нужно делиться. Свою можно скрывать, чтобы быть сильным. Боль не бывает безболезненной и неяркой, трагедия, если ее превратить в обыденность, мимо-

ходом поведая о ней, перестает быть трагедией и превращается в статистику. Имя затирается в списке сотен имен донесений и приказов. Боль уходит, становится чужой и неяркой, и опять по заснеженному полю идут серые цепи, и опять с высот, обрываясь в телах людей, летят пунктиры пулеметных очередей уже в наших детей. Если мы хотим научить своих детей чувствовать, мы должны научиться чувствовать сами, а они должны увидеть, что мы способны на чувства.



Простить?

Каждый раз в Хатыни я вспоминаю выступления: «они такие же солдаты», «столько лет прошло, что уж плохое вспоминать», «это не немцы, это полицаи», «пора простить и забыть». Мне очень бы хотелось, чтобы все эти компьютерные «все-простители» сказали это здесь, при скоплении родственников тех, кто сгорел в этих домах заживо. Дети, почти одни дети. Я бы хотел, чтобы тут были такие популярные у молодежи очки виртуальной реальности. Так как многим не хватает нынче воображения. И чтобы там они, погружившись, увидели.

Как наступает простое мартовское утро, как поют птицы и восходит солнце и начинают то тут, то там скрипеть ставни и калитки. Как из труб чистых, опрятных деревенских домов медленно начинает подниматься дым. Как по деревне плывет запах свежего хлеба. Раздаются детские голоса и смех. Деревня просыпается и оживает тысячами мирных, домашних звуков уютного, тихого быта.

Эти звуки не может убить война. Но война врывается грохотом моторов грузовиков и бронемашин. Кислым синтетическим запахом сгоревшего топлива убивает запах хлеба. Вползает, расталкивая тишину, пьяным хохотом десятков глоток и заполошной, бестолковой стрельбой. Воздух рвет от истощающего крика распятой под солдатами на глазах детей матери. Крик подхватывает визг застреленной солдатом собаки. Этот визг, захлебываясь в голубом небе, рушится на землю стоном заколотого немецким штыком старика. Кто направил этот штык? Эстонец, украинец, латыш или поляк? Мне плевать! Они звери! А всё звериное разбудил в них немец, дав в руки этот штык! Немец привел с собой орду зверей, набрал зверей здесь и дал им право насиловать, убивать и жечь. Деревня корчится и стонет. Стон превращается в вой!

Я хочу, чтобы «простившие и забывшие» своими толерантными носами почувствовали запах горячей человеческой плоти, запах перегара, чеснока и дешевого табака из глоток ржущих у горящего сарая карателей. Чтобы уши навсегда заложило от воя превращающихся в головешки детей. Чтобы глаза покраснели от черного жирного дыма. А потом навечно трафаретом в мозг: «Юзик 2 года, Рэня 7 лет». Тут, в сгоревшей хате, встаньте и скажите: «Юзик, Рэня, пора простить наших европейских партнеров, вас нет уже давно, а у нас коммерческие интересы». Скажите и будьте прокляты!

Почему мы молчим у сгоревшей семьдесят семь лет назад хаты? Почему мы, не закрывая глаз, чувствуем дым от пепелищ? Почему в тишине слышим нечеловеческий вой? Почему даже думать не хотим, чтоб простить? Потому что «забыть», «простить» и «предать» тут звучит одинаково. Потому что мне страшно забывать!

Почему здесь пусто? Одна-две машины и редкие туристы. Почему? Почему здесь нет толп европейских туристов, как у Эйфелевой башни в Париже или у Колизея в Риме? Почему раз в сто лет они прут сюда миллионными толпами жечь и убивать, а извиниться, поклониться убитым их предками приезжают единицы? Потому что им

проще забыть! Проще заставить забыть, чтоб потом можно было собрать новые миллионы убийц и насильников. А отсутствие здесь наших детей поможет им набрать армию предателей, потому что не будет в их головах и душах Рэни 7 лет, Степы 4 года и других.

Сейчас в моде реклама с клиповым мышлением. Так вот: солнце, голубое небо, запах свежего хлеба, детский смех, рев моторов, крик, стон, вой сгорающих людей, запах горящего человеческого мяса и крови, хохот палачей, грохот пулеметов, черный дым, закрывший небо и солнце, вечная тишина, звон погребальных колоколов и безлюдие по всей Земле.

Вот что значит простить!



Просто убитые

У природы есть настроение и эмоции, и человек, способный их чувствовать и видеть, их ощущает. Когда летом в солнечный день вдруг проливается искрящийся бриллиантами, бурный грибной дождь и над лесом выстраивается прекрасный мост радуги, природа счастлива и дарит счастье людям. Когда ливень вместе с опавшими листьями, шквальным ветром бросает косые струи в лицо, природа хмурится и гонит человека домой. У всего есть характер и эмоции, у всего, что имеет душу.

В лесу шел дождь, без эмоций, монотонный, мелкими струями водяной взвеси он висел пеленой, будто природа заснула, забыв выключить кран. Дождь был без чувств, он просто сыпал на землю. В лужах и траншеях рябью бездушных воронок растворялись капли, оставляя за собой за секунду скрывающиеся в этой ряби воронки. Над лесом шел стальной дождь из снарядов, он так же бесчувственно начинался с восходом и шел весь день. Методично перемалывая деревья, землю, животных и людей. Стальные капли этого дождя оставляли на земле незаживающие

следы вырванных из тела земли воняющих сгоревшей взрывчаткой, кровью, смертью и тиной воронок. Без эмоций и чувств, делая свою работу, кидал в казенник ствола орудия увесистые чушки снарядов немецкий солдат. Паря под дождем вспотевшей, мускулистой спиной, он с методичностью робота шел от ящика к орудию. Лязг затвора, рывок шнура, грохот выстрела, звон выпавшей гильзы, шаг к ящикам. В перерывах он ел солдатский обед, курил, болтал с товарищами, думал о доме и снова отправлял капли смерти, швыряя их, как дрова, в топку войны. Так же без чувств и эмоций командир батареи — немецкий офицер, склонясь над картой, заносил коррективы в карточки огня, внимательно слушая что-то из наушников радиации. И орудия замирали на минуту, послушные его командам, и поводили длинными стволами, будто вынюхивая что-то в водяном тумане. А на другом конце у радиации, укрывшись камуфляжной, изгвазданной грязью плащ-палаткой, лежал с биноклем корректировщик. У него были чувства, он проклинал упертых русских, которые месяц в полном окружении, голодные и обессиленные, в этих проклятых болотах продолжали сражаться так, будто от этого зависело что-то важное для них. Он раз за разом бурчал в микрофон поправки и координаты, а снаряды всё плотнее и плотнее ложились к забитой людьми лесной дороге. Когда он передавал новые координаты, огонь возобновлялся, черные кусты бесчувственных разрывов накрывали дорогу, люди разбегались, расползались по кустам, воронкам и канавам, а в наступившем затишье, оставляя погибших, вновь серой рекой текли вперед.

В серой солдатской реке темными и белыми пятнами гражданской одежды шли гражданские: старики, женщины, дети. Война разрушила их дома и согнала с насиженных мест, влив в серую солдатскую реку отступления. Немецкий корректировщик видел эти черные и белые пятна, он видел красные на белом фоне кресты санитарных повозок, запряженных людьми, видел такие же белые с красным бинты на телах раненых, но не испытывал чувств, кроме досады на дождь и свою солдатскую долю. Он выполнял приказ, методично наводя стволы орудий, сея смерть и

мысленно приближая свою смену, мечтая о теплом блин-даже и горячем кофе. Очередной разрыв накрыл край колонны, выплюнул в людскую реку ведро визжащих, черно-лиловых от адской температуры стальных осколков. И они, как стая потревоженных ос в мгновения нашли свои жертвы, утробно урча и шипя, остывая в человеческих телах. Темнота упала на лес, а дождь продолжал висеть серым влажным саваном.

Их уложили в воронку, двоих солдат в разорванных сталью шинелях и женщину с двумя маленькими детьми. Младшего она прижимала к груди, кусок рейнской стали, рванув на излете черный ватник на груди женщины, остывал в затихшем навсегда теле русского младенца. Второй ребенок, чуть старше, замер с раздробленной головой, держа мать за руку. Их так и положили на дне воронки всех троих — семью, целую стертую с лица земли историю, целую ветвь человеческого будущего и не одну. А в их изголовье, вечными часовыми, последним парадным расчетом двое солдат. Не было речей и митингов, уложили, помолчали, посмотрели белыми от боли глазами, скрипнули зубами в сведенных до боли челюстях, осыпали край воронки закрыв тела и пошли, каждый к своему рубежу, но у каждого навсегда в мозгу белыми пятнами на черной земле белели лица, закрываемые черным покрывалом. Я и еще несколько десятков живущих сейчас видели всех потерявших. Белые в болотной жиже кости женщины, маленький грязно-серый комок из осколков косточек младенца у нее на груди и детскую руку, навсегда зажатую в ее руке. Двое солдат часовыми у входа в вечность. Без пафоса? Не было пафоса.

Просто, разбирая этот человеческий пазл, мы нашли на груди женщины вмятую осколком икону. Я оттирал ее от болотной жижи и думал: о каких европейских ценностях нам талдычат из каждого утюга который десяток лет? Нет европейских, русских, мусульманских или японских ценностей. Есть общечеловеческие! Они просты как мир: честность, любовь, духовность. Они в том, что нельзя быть пустым и бесчувственным, они в том, что нельзя убивать людей. В том, что смерть человека — трагедия. В том, что

нормальный мужчина не может без слез и ненависти к врагу смотреть на погибших детей, стариков и женщин. Правда, она в том, что за всеми войнами в этом мире торчат уши богачей и политиков. Правда в том, что все эти уши торчат из-за границы этой страны, и именно эти уши прикрываются, как шапкой-невидимкой, рассказами о каких-то размытых европейских, демократических и других ценностях. Я еще раз видел эти ценности в воронке у Новой Керести, и я счастлив, что вместе со мной и мужиками это видели несколько молодых парней и девчонок. Ценности едины для всех нормальных людей, а всё остальное, во имя чего убивают детей, ересь, чушь, бред. И тот, кто это продвигает ценой жизни — нелюдь!

Будьте людьми: плачьте, когда больно, смейтесь, когда весело, сопереживайте чужую боль. Не будьте глупцами, не предавайте свою Родину, не несите сюда чужое, сохраните свое. Помните о них, и, может, когда-нибудь появится икона: женщина, прижимающая к груди младенца, маленькая девочка у ее ног и за спиной ее два ангела в солдатских шинелях.



Раненые

Природе плевать на человеческие беды и проблемы, природа это высший разум, он радуется своим радостям и грустит своей грустью. Мы, люди, рассказывая о чем-либо в книгах, в кино, в театральных постановках, пытаемся свои чувства перенести на природу или в своих представлениях передать так, как будто и природе не всё равно, что творится с нами. Трагедии у нас происходят в плохую погоду, и небо у нас плачет дождем, радость обязательно случается в солнечные дни. Так нам хотелось бы, так для нас понятней, так мы ощущаем себя высшими существами, созданными природой или Господом. Так мы льстим себе, что природа радуется и грустит с нами, наблюдает за нами, сопереживает нам, чувствует нашу боль и нашу радость.

С чего бы? Ведь мы не чувствуем боли природы. Мы не скорбим над гибелью растоптанного муравья или ящерицы. А для природы равны все, и она радуется чему-то своему и грустит о чем-то своем, может быть по тому же

растоптанному нами муравью. У высших сил много дел, зачастую наши не самые важные.

Кто-то наверху, наверное, нахмурился, увидев испятнанный разрывами, кристально-белый, искрящийся на солнце снег. Черными, неопрятными кляксами на белом поле зияли воронки. Глубокое голубое небо мазала черная копоть от горящих деревенских домов и сараев вместо тихого серого дыма топящихся утром печей, наполняющего чистый морозный воздух запахом хлеба, мира и жизни, в воздухе плыл запах пороха, крови и смерти. Кто-то наверху нахмурился, как художник у испорченного холста, в гневе махнул рукой, смахивая краски, и, хлопнув дверью, вышел из комнаты с установленным мольбертом в углу.

Небо заволокли серые тучи, солнце скрылось, и повалил крупный снег. Черный дым на сером фоне был уже не таким страшным. Кляксы воронок начали стираться и исчезать. Еще быстрее укрытые снегом смазались черные бугорки человеческих тел, как брызги от черных капель воронок обрамлявшие их края. Скрюченные, сломанные пополам, разорванные прямыми попаданиями на куски, они исчезали под снегом, растворяясь в вечности. Одни — пусть безвестные, но герои, другие — пусть известные, но палачи.

Чертя полозьями по свежему, рыхлому снегу две параллельные линии, по лесу ехали сани. Эти сани были как стусок человеческой боли и страдания, индикатор ужаса, мерило того, что может вынести человек. На изгвазданном кровью и кишками сене везли раненных в бою за деревню. Серые, бескровные лица в бисере лихорадочного пота. Враз провалившиеся, горящие смертным блеском, закрытые поволокой бреда глаза. Окровавленные, наспех перемотанные несвежими уже бинтами обрубки рук и ног. Футуристические конструкции самодельных лангет, развороченные осколками и пулями лица. Серая, нездорово желтая кожа с грязными подпалинами. Стоны, бредовые проклятья и матерная ругань, как осязаемый шлейф, висели над санями. Капли крови, просачиваясь через сухую траву подстилки, пятали кристально-белый снег, как бы соединяя две колеи, полосы жизни и смерти. Боль за не-

сколько мгновений превратила молодых, крепких парней и мужиков в умирающих стариков.

Возница — пожилой красноармеец из санитарной роты, нахлобучив ушанку, отгородившись от чужих страданий подвязанными тесемкой ушами шапки, подгонял уставшую, делавшую пятый рейс лошаденку. Его большое мужицкое сердце не смогло бы вместить всей увиденной им за долгие месяцы войны боли. Выскочив на опушку леса, сани подрулили к санитарным палаткам. Здесь, прислонившись к холодным стволам берез, тихо курили в кулак те, кому повезло. Те, кто вынес первые минуты и часы боли, те, кому залатали, зашили порванные чужим железом тела. Здесь металась в бреду те, кто не оправился от боли, ожидая отправки в тыл. Молоденькие санитарки и пожилые санитары в некогда белых, надетых прямо поверх ватников халатах принялись разгружать сани. Вышедший из палатки врач в залитом, именно залитом брызгами крови халате, с окровавленными, как у мясника, поднятыми кверху руками в высоких хирургических перчатках бегом смотрел на серых с красным людей в санях и руководил: «На стол. В очередь. На перевязку и в тыл. Отошел. Доходит». Как приемщик смерти или проводник жизни. А за тонкими, брезентовыми стенами палатки напряжение боли вырастало в разы. Оно несло матерным ором, рождаясь под скальпелем хирурга, оно визжало скрежетом хирургической пилы в опилках костей, смываемых кровью разрубленных вен. Было сгрызаемой вставленной в зубы палкой. Плевалось кровью простреленных легких и сипело из разорванной пулей гортани.

Смерть металась над палатками черной молнией, заходясь в экстазе этой какофонии боли, она верещала от наслаждения пинками черного блестящего сапога, гоня от палаток скромно потупящуюся жизнь. Здесь было ее место силы. Боль затихала на краю лагеря санроты. Здесь трое непризывного возраста пожилых солдат укладывали в мерзлую яму тех, кто уже затих навсегда.

Белые как снег, спокойные лица, с чуть заострившимися чертами. Стекланные, видящие теперь только даль глаза. И смерть, приняв на мгновение человеческий облик, в се-

рой шинели, скорбно опустив голову, тихо стояла, опустив в яму глаза. Без сожаления она проводила глазами сани, увозящие в тыл «счастливищиков». Что ей жалеть, ведь войне еще длиться долгих три года, и они еще обязательно встретятся. А те, кому повезло, молча смотрели, как среди тел умерших укладывают их оторванные, отпиленные руки и ноги. Те руки и ноги, которые из этой ямы еще долго, до конца жизни будут ныть и болеть. Выкручивать до зубовного скрежета несуществующие суставы. Те руки, которых будет не хватать в тяжком деревенском хозяйстве. Пальцы, которые с обидой до слез не сжать в крепкий кулак, чтобы врезать в лоснящуюся морду обнаглевшему, разожравшемуся в тылу наглецу. «Где воевал? Вторая Ударная? Власовец, что ли?» И будут пьяные слезы, размазываемые по морщинам лица искалеченной рукой, по тем, кого за долгие годы войны скосила смерть. По тем лучшим, кто не дал бы в обиду, не прошел бы мимо, прикрывшись козырьком надвинутой на глаза кепки, по ним, чьи глаза прикрыла смерть.

А смерть улетит дальше, оставив на краю леса заплыть илом из разливающегося по весне ручья три ямы. Три ямы, наполненные перенесенной человеческой болью. Три ямы с вычеркнутыми из человеческой жизни и почти уже из человеческой памяти погибшими, спорившими с самой смертью ради жизни других.

Смерть ждет своего часа, она, как наркоман, помнит испытанную в крови и боли войны эфорию, она ждет, убаюкивая Память, заставляя нас проходить мимо, надвинув кепку на глаза. И когда Память уснет, мир захлебнется в Боли.



Ровный гул мощных моторов, тихая, убаюкивающая вибрация корпуса, запахи свежей краски, масла и кожи. Шелест электрических разрядов в наушниках шлемофона. Солнечные зайчики играют в голубом небе, отражаясь от фонарей кабин купающихся в этой глубокой синеве советских самолетов. Сосредоточенные, серьезные молодые лица пилотов, давно не замечающих этой красоты. Руки на штурвале чутко откликаются на любой сигнал, который подает огромная машина.

Впереди внизу, среди редких облаков, на зелени полей и лесов черной паутиной дорог появляется город. Повинуясь прохрипевшей в шлемофоне команде, самолеты расступаются, увеличивая дистанцию в строю. Штурманы склоняются над прицелами. А небо наполняется грохотом и грязными кляксами разрывов зенитных снарядов.

Разрыв, разрыв, разрыв. Выше, впереди, ниже. Самолет вздрагивает всем корпусом, как боксер, получая пока не смертельные, но ощутимые удары. Штурман хрипит в

ларингофоны: «На боевом». Мертвой хваткой руки пилота вцепились в рога штурвала, он как будто оседлал самого дьявола, и началась игра со смертью. Теперь все — только вперед, только одним курсом, с постоянной скоростью и на одной высоте. Вперед, как по нитке, в конце которой — цель. Пятна разрывов, нащупав и как будто осознав беззащитность самолета, всё ближе и ближе, удары воздушной волны всё ощутимей и чаще. Только моторы, на счастье, поют свою монотонную песню на одной басовитой ноте. Капли пота, чертя ручейки из-под шлемофона по вискам, прячутся за воротник гимнастерки; в наушниках сквозь шелест помех голос штурмана: «Еще, еще, еще». Подчиняясь неслышной здесь, наверху, команде, враз стихают разрывы.

«Внимание! Воздух!» — шипит команда ведущего. И почти сразу ударил пулемет стрелка-радиста. С мерзким воем мелькнула над кабиной хищная тень. Горохом сыпанула по фюзеляжу пулеметная очередь. Ветер потянул из дыр, сеткой паутины пулевой в плексигласе. «Еще!» — сквозь помехи выдох штурмана.

Вновь плюнул очередью и захлебнулся, как пловец на вдохе, пулемет стрелка. Кувалдой удары по крылу, и опять рыскнула тень над кабиной. Закашлял, задержал в дикой вибрации правый мотор, чадным, липким дымом окуталась плоскость. «Сброс», — выдохнул штурман, и черные капли смерти сыпанули к земле. Самолет, будто расслабленно выдохнув после напряжения, дернулся и, повинувшись рукам пилота, с разворотом пошел вниз.

Безжизненной куклой в забрызганной кровью кабине висел на своем месте стрелок, ствол пулемета бесполезной палкой задрался в небо. Дернувшись, окутанный вязким черным дымом, подсвеченный бензиновым пламенем, оставился правый двигатель. Заваливаясь на правую плоскость, натужно завывая единственным мотором, самолет ушел к линии фронта.

Два хищных силуэта, как почуявшие беззащитную добычу шакалы, крались, прижавшись к земле снизу. Очередь, тень скользнула вперед и влево. Очередь — вторая тень следом.

Маленькая скомканная точка человеческого тела, отвалившись от разваливающейся в небе, объятай пламенем машины, повисла под куполом белого парашюта. А в огненном облаке чадающего бензинового пламени, на одной ноте с воющим от запредельной нагрузки мотором, выл сгорающий в пламени чей-то сын. Были, умирая, неродившиеся дети, внуки, правнуки, корчилось, размазывая по исковерканному железу кипящую кровь, будущее.

Хруст ломающихся под весом тела веток, удар и темнота. В мути боли рождаются голоса. Скрежет непонятных слов. Боль в ушибленном затылке и качающееся движение волочащегося по земле тела.

Разлепив слипшиеся от засохшей крови глаза, он увидел в тумане медленно возвращающегося сознания две спины в серо-зеленых шинелях. Почувствовал боль в связанных его же ремнем руках и спине, отбитой о корни, по которым его волочили за ноги двое немецких солдат. Сверху было голубое небо, искупаться в глубине которого он уже вряд ли сможет.

А потом были гортанные вопросы холеного немецкого офицера и ломаный перевод очкастого, с болезненной худобой, дергающего острым кадыком ефрейтора. Были вспышки тысячи солнц от ударов кованых сапог и спасительная тишина беспамьятства. Холодная вода на лице и бессонные ночи в холодном сарае. И когда он хохотал им в лицо, скаля окровавленные осколки выбитых зубов, очумев от боли и лишившись навсегда страха, харкал на белоснежные листы протоколов допроса кровавыми ступками отбитых легких, они, ошалело глядя на него, ежились от странного чувства непонимания и, как это ни странно, животного ужаса.

В протоколе его допроса немецкий офицер отдела разведки 1С 87-й пехотной дивизии вермахта 22 августа 1942 года напишет: «Эскадрилья, в состав которой входил унтер-офицер, имела задачу бомбить южный вокзал Ржева, а также располагающиеся поблизости развилки дорог и пересечения железнодорожных путей. Летчику унтер-офицеру 22 года, он является фанатичным солдатом, твердо убежденным в победе. В своей манере поведения он сильно

выделяется на фоне офицеров и унтер-офицеров наземных войск. Он дал эти немногочисленные показания после продолжительного допроса».

Последний раз он увидел небо, стоя у стены сарая, обессиленно привалившись к ней спиной, безразлично ожидая команды «огонь!». Там, в этом сером небе, в ту секунду, когда грянул выстрел, он увидел Красное знамя над рейхстагом, яркие вспышки салюта над Москвой. Увидел пацанов и девчонок, бережно, как самое дорогое выбирающих из горелого железа мельчайшие части тел его оставшихся в самолете товарищей. Три недели просидев в воняющей горелым маслом, бензином и разлагающейся человеческой плотью воронке. Падая в обморок от усталости и запаха, они не покидали этого своего самого главного поста. Я знаю, в эту секунду, глядя за порог земной, он улыбнулся.

Глядя на них, я уже понимал или просто очень надеялся, что здесь, в этой яме, им — будущему, которое он спас, передастся тот огонь, что горел в сердцах и душах тех ребят.

А сейчас я думаю: почему не снять фильм об этом? Рассказав вам эту трагическую, страшную, героическую историю я не соврал ни в строчке. Я, только художественно додумав, насколько хватило невеликого таланта, описал детали. Остальное — только факты, подтвержденные нашими и, что немаловажно, вражескими документами. Ясно ли из написанного, что война — это страшно? Надеюсь, да. Ясно ли, что те двадцатилетние пацаны совершали подвиги ежедневно, ежеминутно, даже не задумываясь, что совершают нечто запредельногероическое, особенно в понимании современного человека? Понятно ли, что они не задумываясь жертвовали собой ради своей Родины, страны, которая их вырастила и воспитала? Думаю, да. А еще мне лично ясно, что никто их не заставлял идти на муки, приставив пистолет к виску или пугая сибирскими лагерями. Потому что перед лицом мучительной смерти Сибирь — это шанс. Они жизни свои отдавали за нас осознанно, ясно понимая и цену и то, за что они ее платят. И глядя на сегодняшних двадцатилетних, тех, кто стоял

свою вахту в мертвой яме, я думаю, что они уверены — пока уверены, — что всё было не зря.

Зачем мы показываем их подвиг вынужденным и совершенным не во имя, а вопреки? Зачем унижаем их бесмертные полки, показывая их вечно грязным стадом под управлением и командованием сумасшедших маньяков? не понимаем, что не передать боль, что, залив экран бутафорской кровью, можно только воспитать монстра, не боящегося уже настоящей крови? Зачем обесцениваем их жертву, показывая ее вынужденной и бессмысленной?

А в чем тогда смысл нашей жизни? Есть ли он? Задумайтесь.

*Рассказ написан по материалам,
опубликованным Алексеем Пекаршем*

Рота



Зимняя ночь — это черное и белое. Это черный лист неба и приклеенный к нему белый лист земли. А на этом белом листе черными объемами жизнь рисует свои картинки или картины, а иногда иконы.

Шипя паром, на станцию вползает черная змея состава воинского эшелона. Лязг сцепок, фонтан искр из-под остановившихся колес, усталый вздох паровоза, секундная тишина замершего мгновения, пропасть, провал солдатских мыслей и мечтаний на деревянных нарах теплушек и платформах. И жизнь дает новый толчок, новый отсчет времени жизни или времени до смерти. Отсчет дан зычными командирскими криками, командами, веселым и злым матом. Горохом сыпанули на белый снег роты и батальоны. Черными крыльями взметнулись полы шинелей. Железное бряцанье оружия, минутная бестолковая суeta и муравьиные метания черных на белом фигурок, и вот солдатские коробки ровными прямоугольниками застыли напротив опустевшего эшелона. «На праааа-у! Первая рота пряаяа! Шаааагом арш!»

Монолит сто тринадцать человек, тел, душ. Сто тринадцать вселенных, волей войны объединенных в строй, в единый военный механизм, маленькую часть огромного механизма, где один человек со всеми его мыслями, чаяниями и мечтами, проблемами лишь незаметный винтик машины под названием «война».

Через два дня такой же ночью рота, нарисовав на снегу пунктир из человеческих тел, ломающейся линией встала из сугробов и в тишине рванула через скованный льдом Волхов. Люди... Был бы прибор, формирующий мысли в образы, чтобы мы увидели над этой ломаной линией человеческих тел, идущих на врага, молитвы, мысли о любимых, детях, матерях, о стакане водки, о последней сигарке, о недочиненной калитке, об убитом немцами отце. Сто тринадцать картин на темном экране неба. А с того берега, как указка, пунктирная линия трассеров, точка, точка, крючок, запятая сжавшегося от попадания тела, клякса разрыва, гаснущие картинки мыслей, взрывы и смерть вселенных человеческих жизней. Рота дошла. Влезла, выскочила, матерясь и хрипя матом и надорванными легкими. Перевалила через линию вражеских траншей.

Перевязалась, утерла кровавые сопли, хлебнула из еще согретых чужим теплом трофейных фляжек рома. Курнула в кулак, глядя с обрыва на точки и запятые чужих жизней, вздохнула хрипатыми глотками. Ссыпалась в прямоугольник походного строя, залепила прорехи в строю новыми серо-зелеными точками и двинула по разбитой военной дороге, повинувшись воле людей, вперед, в снежное марево Мясноборских болот.

Полгода рота продиралась через болота и засеки, через ручьи и речки. Рота рассыпалась в цепь, ссыпалась в осклизлые траншеи и ячейки, собиралась в поредевшие походные колонны, рассыпалась в лесу на привалах. Грызла лопатками снег и мох. Грызла мерзлую, тухлую конину и толченую осиновую кору. Хлюпала валенками, ботинками и сапогами по разбитым, превратившимся в грязевые реки дорогам Второй Ударной. Рвала спины, разгружая вручную ящики со снарядами с узкоколейки. Харкала кровью и выла от боли в арьергардных боях, сдерживая сдавлива-

ющих кольцо немцев. Рота разбрасывала точки тел у перекрестков просек, в лесных дебрях и у дорог, рота жила и воевала.

Рухнул, раскинув широко руки, засучил ногами, сдирая мох с еловых корней, затих, обняв землю в воронке от снаряда, сибиряк Будько Антон Ларионович. Чуть впереди, злыми короткими очередями выкашивая немецкие цепи, уткнулся в такой мягкий и пахнущий домом еловый ковер пулеметчик. Зашипев в человеческой крови, заскорузлый, лиловый от злости и нагрева осколок гранаты в последнем усилии сбил бакелитовую крышку солдатского медальона. Убил человека, вычеркнул его из списков, прилепив страшное «Неизвестный», и затих в плоти, отдыхая навечно, став частью человеческого тела. А чуть впереди, в самом начале боя, словив в грудь очередь из пулемета, тихо провожал облака и свою жизнь солдат-человек, вселенная. Хватаясь мутнеющим взглядом за серые облака, лоя, выпрашивая, вымаливая у Бога секунды этой жизни, этого серого с качающимися кронами сосен неба, он понимал, что еще несколько секунд — и его ждет что-то. А здесь останется лишь сделанный из медальона мундштук.

Позади, во тьме, разорванной артерией умирающего от раны человека, брызгала кровью измотанных, напряженных людьми повозок, надрывно гудящих расхристаных полуторок и ЗИСов, последняя дорога Армии. Тихая брань, стоны, лязг железа, бряцанье оружия, хлюпанье ног по раскисшей жиже, как звук рвущейся вместе с жизнью из разорванной аорты крови. Армия умирала. Чуть впереди, у тихой речушки или ручья, ослабевшими, черными от грязи и голода руками грызла землю умирающая рота.

Черно-белые пятна лиц, брошенные под деревья, словно сброшенные ангелами крылья, шинели. Пчелиным роем там, в вершинах елей и сосен, черно-белые мысли. Нет там ярких пятен мечтаний. Только черно-белые мысли о жизни, о ее уже видимом конце, о ее оценке. То, что святые старцы, монахи-схимники познавали годами и десятилетиями, остатки роты должны были осознать и осмыслить за несколько часов, роя ячейки между корнями, глядя на текущую в вечность речушку. А утром, с воем первого

снаряда, с визгом первого осколка, с шипением первого вгрызшегося с шипением в тело трассера пулеметной очереди, пойдет отсчет человеческим жизням и человеческим смертям. Один в секунду? Один в минуту? Размен или чистый минус? Тут одна минус, а там, у реки Кересть, одна в плюс. Один здесь, на последнем рубеже, свернувшись калачиком, сжимая руками рвущиеся наружу дырявые, сизые кишки, хватая щербатым ртом мокрый, ставший вдруг горячим воздух, секунда — и там перешел реку, перенесли на носилках, проскочил на машине, мечась в бреду по пробитому очередями кузову. Может, и не один, три, пять. Рота осознала свою жизнь, оценивая цену своей смерти.

А в двух километрах серыми пятнами лиц, уставившись в звездное небо стеклянными взглядами, лежали в наспех вырытых ямах и расширенных лопатами воронках те, кто уже это цену заплатил, те, кто уже знал больше, чем живые, те, кто понимал, кто перед кем в каком долгу. Хромой пожилой санитар, засыпая ямы, первую лопату с землей старался кинуть на белеющие в темноте ям лица, он всё уже знал и всё видел и был почти вместе с ними — с теми, кого он тут и отпевал, и провожал, и молча оплакал. Черная от гангрены нога, обмотанная грязными тряпками, его уже ставила с ними в один строй. А осколок бомбы, собственноручно выковырянный штыком за палаткой, чтобы не отвлекать врачей, мечущихся с красными от недосыпа глазами между носилками с белыми от боли молодыми парнями, ставил этого сорокалетнего старца в один ряд со святыми.

Взмах лопаты — и еще одно белое пятно на дне ямы скрыла черная жижа. Внизу какбудто стерли человека. И ни сотни генералов, ни правители страны, ни тысячи листов директив и приказов не смогли вернуть его имя из этой черной дыры. А смог маленький перочинный нож, на котором он нацарапал свое имя. Красноармеец Чихреев Георгий Иванович, 57-я стрелковая бригада Второй Ударной армии, пропал без вести, а по сути, героически погиб у деревни Новая Кересть. Там, где теперь нет ничего. Но это будет много позже.

Санитар сел напротив неряшливо закиданной черной землей ямы, закурил, неумело перекрестился, как это делает человек, давно чего-либо не делавший. Он знал, они его простят. Ведь там, на краю, у последней воронки, его теперь личного кладбища, он вырыл свою могилу. Нет не так, пока не могилу — свой последний рубеж. Там, срыв стенки воронки, постелив на дно лапника, насыпав незамысловатый бруствер, он оборудовал свой последний рубеж. Он будет охранять их покой столько, сколько сможет, а дальше рубеж станет его могилой. Докурив, он встал, оперся на еще царского выпуска, с любовью ухоженную мосинку и заковылял к своему рубежу. В спину ему ударил первый солнечный луч. А впереди в лесу ударили первые разрывы артподготовки у последнего хлипкого заслона. Справа и слева спешили к броду люди. Одни отворачивали от него лица, другие, наоборот, заглядывали ему в глаза, пытаясь увидеть или немного взять от него решимости, а может, просто запомнить лицо этого человека, чтобы потом рассказать детям.

У солдатского креста стояла рота. Рота сто двадцать три человека. Да, уже сто тринадцать три. Она стояла не единым строем. Это невозможно. Они стояли напротив. Стояла, как стоят боевые, линейные части и взвод обеспечения. сто тринадцать три молодых, красивых, крепких мужиков и парней в ладно пригнанной военной форме, по-доброму ухмыляясь, смотрели на десяток почти стариков, с серыми лицами, впалыми глазами, заросших месячной щетиной.

Искать ровесников следы? Да наших ровесников в армию даже тогда не брали. Я стоял и думал. Кто из нас живее? Они, светлые и честные, смертью своей всё искупившие, или мы, со своими проблемами, со своими вечными душевными метаниями. Со своим лицемерием, вынужденной и не очень ложью. Стоял и ответ был очевиден. А на краю их строя единственный близкий нам по возрасту санитар, улыбаясь в прокуренные усы, будто сказал своим: «Они другие. Не плохие, не хорошие, пока просто другие. И им Господь дал время, чтобы пожить и оценить, решить какие они, кто они. Дал не столько сколько, вам, — секунду до удара пули, мгновение вспышки разрыва,

минуты, вытекающие с кровью из разорванной осколком аорты, часы и дни горячечного бреда на еловой подстилке в сыром блиндаже медсанбата. Он их жалеет, он дал им на это жизнь! А вот когда они ее проживут, посмотрим, где им стоять!» Рота стояла, и в этой мертвой роте была одна самая-самая главная мысль: главное — в ее возвращении, главное, чтобы хоть кто-то понял. То главное, чего никогда не понимала ни одна власть на этой земле. Главное богатство этой земли — ее люди. Да, именно это всегда, при любых политических и государственных устройствах забывали все власть имущие. Главный, почти невозполнимый ресурс, бездарно сжигаемый в топках войн, революций, репрессий, восстаний, великих строек и экономических прорывов, — это люди этой страны. Женщины, мужчины, все. Склонность нашего народа к самопожертвованию, помноженная на глупость, подлость, трусость, высокомерие и лицемерие его руководителей, во все, почти во все времена опустошала и продолжает опустошать села, деревни, города. Все, почти все власть имущие, примерив на себя статус наместника Божьего, думают, что им и бессмертие Сына Божьего досталось. Ошибка в том, что бессмертна душа, а не тело. И именно душам стоять перед строем погибших, забытых, обманутых, преданных рот и батальонов.

На закат ушла рота, оставив внизу хозвзвод или похоронную команду из непризывного возраста мужиков. Они тихо стояли у солдатского креста и думали, что много работы и есть время подумать о том, кто ты!



Поисковики

Любая экспедиция начинается как праздник. Радость встречи с товарищами не может испортить ни логистика, ни погода, ни предстоящие бытовые трудности обустройства лагеря и предполагаемой ночевки на рюкзаках, если не успеешь поставиться засветло. Радость чистая, как настоящая чистая дружба. Потом будет работа, проводы уезжающих раньше срока окончания вахты. А начало — это праздник. Работа и быт отодвигают праздник со сцены, и если быть внимательным, то накапливающуюся усталость можно наблюдать и ощущать.

Никто здесь, конечно, не осознает, что устал и хочет домой; если надо и есть возможность, все будут стоять до последнего, но усталость приходит. Это не только физическая усталость, это усталость моральная, усталость от тяжелой работы, тяжелого полевого быта и той войны. Да, от войны, следы или последствия которой ты видишь каждый день. Видишь и думаешь. Думаешь, думаешь, думаешь. Кто он, этот солдат у болота? Каким он был? Кто ждал его и любил? Кого любил он? Что бы было, если бы он остался

жив? Почему ему выпало упасть навсегда и стать тенью? Тысячи вопросов вокруг этой войны. Ты устаешь, а они идут и идут.

Лагерь живых пустеет, а строй белых мешков у креста растет, и каждое утро оставшиеся уже почти молча завтракают, берут лопаты, щупы и крюки и идут на войну. Идут со своими мыслями, почти уже забив на себя, на умывания и чистку одежды, на горячую еду и быт, просто бредут, хлюпая грязными сапогами, по одному в разные стороны, а возвращаются вместе и молча ставят в строй еще один, два, три белых мешка.

Солнце робкими лучами пробивается через тент палатки. Дождя нет, и то хлеб. Солнце робкое, и ты понимаешь — оно рвется сквозь тучи. Месяц, уже почти месяц ты тут. Вылезти из спальника? Блин, там так мерзко и сыро. Еще чуточку полежу. Вот кто-то колет дрова. Длинный, наверное, первый не выдержал. Здорово, сейчас будет костер и чай. Может, покурить? Прямо в спальнике, ведь так неохота вставать. Ладно, покурим. Каждый вечер, ложаешься, думаешь: вот завтра выплыву, встану пораньше, умоюсь, побреюсь и пойду в лес. Где там... Сейчас, сейчас выползу.

Рывок, ну как рывок, вялый скачок. Быстрее в куртку, в носки и сапоги — и на улицу. А тут... ну если б не месяц тут, то здорово.

Солнце, пробившись через тучи, играет в каплях росы и вчерашнего дождя, превращая их в бриллиантовую россыпь. Тонкое покрывало тумана плавает на поляне, как пух. Усыпанные мельчайшими капельками паутинки, будто неземные украшения, блестят в ветвях и в траве. Нафиг, все к костру. Кружку в зубы и в руки — греться. Есть еще сорок минут до выхода. Дедушка вылез вторым выпихивает Босика своего, «щенилу». Тот тоже уперся, в палатке ему веселей. Леха пошел на склад за едой. Чё принесет? Да всё равно, лишь бы кишку набить. Разговоры? Да так. Типа «Куда пойдем? — Туда же. — Чё брать? — Как всегда». Устали все, синдром подводной лодки. Говорить неохота.

А дальше километры блужданий, и как награда — «тук, тук, тук», будто постучался кто-то снизу через щуп в ла-

донь. Нога, ботинок, человек. Потом на карачках в грязи рвешь ножом, ломанными не раз за месяц ногтями со страшной траурной каемкой корни. Возишься в жиже и торфе и, когда уже вроде выдохся, сядешь на кочку, дымишь тухнущей мокрой сигаретой, а вторая дымит, шипит из мха там, где голова его лежит. Сидишь и вроде как с ним разговариваешь.

— Кто ты? Скажешь?

— А чё ты сидишь куришь? Копай, мож, и скажу.

И опять туда, где билось сердце, где глаза на мир смотрели. Вот кто-то подошел и рядом в грязь плюхнулся. В четыре руки веселей. А все равно молча. Чё болтать? Мы с ним мысленно говорим. Он много что рассказать может. Он давно тут.

А вечером как-то сам по себе сварился нехитрый ужин. Почти молча, без слов и указаний, кому что делать. И несколько пар глаз уставились в костер. Рано спать. Не идет сон. Или встанешь рано. Не встанешь, а проснешься и будешь пялиться в потолок палатки, тысячный раз прогоняя в голове свою и их судьбы.

— Дед, расскажи балладу за Мясной Бор.

— Ну вас, я спать с Босиком. Пошли, Босян.

— Длинный, а ты про чё-нить.

— Не, я дров лучше на утро нарублю, вы ж ленивые, спите долго, а мне не спится.

— Ну и пошел ты.

Алеет, потрескивает костер. Тысячи звезд на небе. Люди, за что вы убиваете друг друга? Кто эти мужики и парни под крестом? Я кто в этом мире под этими звездами? Дед, Длинный, Савеля, Леха — кто они?

Как-то к нам приехали из музея механики, а мы так же уже пару недель в лесу отсидели. Без связи, без душей, туалетов, только палатки, костер и мешки у креста. Мужики через пару дней попросились на связь их вывезти к дороге проезжей. Леха за шофера с ними поехал. Вернулись все молчаливые и задумчивые, только Леха, как всегда, невозмутим. Спрашиваю:

— Чё там случилось?

— Нормально все.

А младший из них потом рассказал. Дорвались они до связи сотовой, женам, детям, тещам, друзьям, всем называют, потом, возбужденные, ввалились в машину. Веселые, довольные, делятся новостями, а Леха невозмутимо за рулем сидит и в лес таращится, папиросу покуривая.

— Лех, а ты звонить будешь?

— Кому?

— Ну, своим...

Леха, заводя машину, разворачивая ее к лесу, невозмутимо:

— Мои все там.

И мотнул головой в сторону дибунов лесных, раньше страшной передовой бывшего.

Вот они все кто мне — Свои. Мужики эти. Да, есть еще Свои, близкие, любимые. И хочется, чтоб много Своих было, чтоб всё больше тех, кто поймет без слов, с кем просто рядом посидеть за счастье. Тех, с кем ругаться-то стыдно. А спину подставить не страшно. Но мало нынче вокруг Своих. Многие под Своих рядятся только. Пыжатся, в грудь себя бьют, красивыми речами убаюкивают. Всё то в строй поставить хотят, то сами в чужой строй влезть.

А многие из Своих уже и ответить не могут.



Рядовой

Он шел впереди. Шел по камням, обходя частые воронки. Он был обычный. Среднего роста, в немного мешковатой, но опрятно сидящей шинели. Из-под разлетающихся при ходьбе пол шинели мелькали выцветшие, застиранные солдатские обмотки и чиненные не раз, но еще крепкие ботинки. За обмотку была засунута самодельная алюминевая ложка. Лица я не видел, но почему-то знал, что у него простое лицо, лицо доброе и усталое. Мы шли с ним по его высоте, его горе, его Голгофе, которую он разделит с сотнями своих товарищей.

Он сел на камень, повернувшись ко мне спиной, достал кисет, свернул самокрутку и закурил. В клубе дыма я на секунду, на миг увидел то, что видел тогда он. Додумал то, что видел здесь в тишине сам, и увидел.

Обмотанная колючей проволокой и утыканная минными полями, как новогодняя елка гирляндами и игрушками, стояла в заснеженном болоте гора. Минные ловушки, рвы, выдолбленные в камне с устанным путанкой и спиралями Бруно дном, страшные капканы на людей. Сотни каменных

укреплений, дотов и дзотов. С немецкой основательностью и финской смекалкой и коварством оборудованные позиции и укрепления передовой линии.

Столбы дымов облаками поднимались с обратного склона высоты, где бурлила жизнь ротных и батальонных тылов вгрызшегося в скалу врага. Размеры высоты и отсутствие у нас крупнокалиберной артиллерии позволяли не очень опасаться обстрелов. В передовых траншеях наблюдатели оттирали иней с оптики биноклей и стереотруб. Живой пар человеческого дыхания растворялся в морозном воздухе.

Вокруг не замерзших еще ламбин и болотных окон, черными язвами зияющих на белом снегу, курился пар, будто это были окна в преисподнюю, наполненные чернотой человеческих грехов и злых мыслей. Замерзая у кочек бугорками белых маскхалатов и горшками замазанных известью касок, замерла штурмовая группа, ночью вышедшая на рубеж атаки.

Сперва свистом наполнился воздух над головами впадающих в забвение от холода солдат. Затем донесся грохот полевых орудий и частые хлопки минометов. В шуршании второй волны налета раздались первые разрывы, и вражеские траншеи наполнились визгом железных и каменных осколков и зачернели сколами и впадинами воронок. Люди, разгоняя стылую кровь движением и адреналином, адским коктейлем ненависти, собственного страха и желанием жить, рванули вперед. Хлопнули первые ПОМЗы и «шпринги», крики и первые красные на белом пятна оторванных ног, развороченных животов. Первые сугробами нависшие на проволоки тела погибших товарищей, по не остывшим еще трупам которых лезли живые. Первая в секундной тишине окончания скудной артподготовки заполюшенная пулеметная очередь. Первый взрыв влетевшей в траншею «лимонки». Первый хрип из разорванного отточенной саперкой горла. Первый сильный выдох пропоротого штыком легкого. Первая в упор очередь из автомата в тесноте траншеи. Все это превращается в постоянный гул и становится дыханием войны здесь на долгие дни.

Захваченный плацдарм, несколько извилистых, наспех под огнем вырытых траншей, несколько сотен метров исклеванного железом камня. Непрекращающийся вой мин и снарядов, вражеских и своих недолетов. Воздух, будто в летний зной, наполненный насекомыми-кровососами, наполнен пулями, жалящими даже друг друга. Воздух трещал от напряжения и злобы. Раскаленные стволы пулеметов, автоматов и винтовок. Летящие в лица горячие гильзы, рваные, раскаленные докрасна осколки, визжащие рикошетами от камней сплюснутые пули. Война дышала кузнечным горном, обжигая своим дыханием людей, заставляя их корчиться от боли и замирать в миг смерти.

Плацдарм корчился, как сгорающая в огне кожа. Корчился, но жил. Плевался смертью, блевал кровью и кишками. Устилал камни телами и памятниками из простреленных, некогда белых касок, но продолжал жить.

Он шел на подкрепление, ночь второй или третьей волной. Не шел, а крался под невеселый салют осветительных ракет и трассирующих очередей. Шел, выполняя приказ. Шел, всё зная о плацдарме. Поднимался на скалу, понимая, что это его испытание, его Голгофа. Выпущенная ночью наугад мина разорвалась под ногами. Он тихо шагнул в огненный куст разрыва, как в ворота вечности. Дойдя до вершины своей Голгофы и оставшись у подножья земной скалы.

Их тела еще долго рвало осколками и пулями. Землю вокруг них усыпали пули разных калибров и стран. Как уснувшие на зиму шмели, зарывались в мох на долгие десятилетия. После гибели плацдарма ни наши, ни враги не смогли убрать и засыпать их тела на ставшей теперь нейтральной земле. Облако удушливого смрада накрывало передовые траншеи. И часовым у пулеметов иногда чудилось, что они слышат шевеление белых червей в человеческой плоти. Слепые, испуганные очереди новичков резали воздух над призраками плацдарма и их дырявыми, начавшими уже ржаветь касками и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м. А потом наступила тишина, тишина на долгие годы. Природа прибрала их истерзанные тела, прикрыв одеялом мягкого, как домашнее лоскутное одеяло, мха. Спрятала,

обрушив с брустверов разбитых траншей вековые валуны. Лес подарил им тишину, не став засыпать скалу буреломом и сохранив скорбными памятниками настигнутые железом деревья. Мы, живые, почти смахнули их в пучину забвения и вечная тишина окружила и наши души.

Я нашел его у подножья высоты в воронке, в которую он упал. Памятником над ним возвышались три осины, скрыв тело корнями, обняв его, прикрыв от ненастья. Мы шли с ним по скале, и он спускался со своей Голгофы, а я поднимался куда-то.

Зачем это писать? Зачем говорить то, что не видел точно, а лишь додумал? А кто и как тогда вспомнит об этих десятерых безымянных солдатах с горы Гонкашваара? Кто узнает что творилось здесь много десятилетий назад? Как передать и рассказать их правнукам, что воздух здесь гудел от железа? Что до сих пор ковром лежат притихшие пули. Как описать, что видели и чувствовали они видя как тела их товарищей красными, кровавыми облаками разрывают мины и снаряды? Видеть, чувствовать огненное дыхание войны и зловонное дыхание смерти и продолжать сражаться? Как толкнуть наши замерзшие, закишие от жира мозги к мысли: «А я что смог? Что смогу, если потребуется?» Как перестать себя убаюкивать сказкой о всемирном братстве и единении в экстазе демократии? Как скинуть с себя липкое, мерзкое, вонюче-склизкое: «Оно мое, оно мне надо?»? Как оценить сделанное ими, если оно, сделанное, перенесенное ими, не укладывается в понимание современного человека?

Мы все, каждый, как бы он ни крутил сейчас пальцем у виска, читая эти строки, встанем у подножья своей Горы, встанем и пойдем на нее рано или поздно. И кому-то придется на нее идти одному, оставив у подножья машины, квартиры, дома и горы цветных бумажек и пластиковых карт. А кто-то идет по ней всю жизнь, и, когда нас встретят на вершине, там решат, в вечность или в забвение. А билет не купить за все деньги мира. Его можно заработать в пути.



Солдатский медальон

Много написано уже нашими коллегами о солдатском медальоне. Много описано эмоций и проведено параллелей. Не претендуя на уникальность, просто попробуем обобщить. Солдатский медальон — это, наверное, единственный в мире физический предмет, в котором заключено столь много духовного. Ведь действительно, если вдуматься, то в маленьком бакелитовом футляре хранится судьба человека. В нем же часть его души. В этой маленькой вещичке — трагедия, любовь, ожидание, подвиг, смерть, безвестие, воскрешение. В ней очищение потомков, в ней, зачастую толчок в новую жизнь для тех, кто с ним столкнулся, и переоценка своей жизни.

Иногда записка этого медальона — стандартный бланк, несущий стандартную, казалось бы, информацию в заполненных стандартных графах. И даже эта, казалось бы, стандартная информация способна всколыхнуть десятки, а иногда и сотни душ живущих сейчас людей. Тех, кто прикоснулся, реально, физически прикоснулся к человеческой судьбе, заключенной в маленькую капсулу, и это прикосно-

вание, как комета, обжигает сердце сокровенным знанием и огромной ответственностью. Наверное, даже у великих философов современности, да и прошлого, не хватит всей философии мира, чтобы описать осознание этого предмета. Это как черная дыра: существует, но ее физическую сущность описать очень сложно.

Человек — обладатель его давно ступил за порог бытия и исчез, канул в эту самую космическую черную дыру под названием «безвестие». Оставив на земле людей, которые, быть может, долгие годы мучились этим самым безвестием. Страдали, любили, ждали. Они транслировали эту самую любовь в поколения его потомков. И уже потомки стали ждать, искать, гордиться и любить. И вдруг по какой-то высшей воле открывается тайна — и на записке имя, судьба, душа. Это можно сравнить с таинством рождения человека. А быть может, это и есть рождение, но не физическое, а рождение духовное. Ведь обрести это знание потомкам дорогого стоит. Некоторые отказываются от этого знания, отмахиваются от него, как от ненужного, как им кажется. Скорее всего, они просто не готовы и слабы еще, чтобы принять это знание. Ведь его принятие несет в себе ответственность. Ведь, приняв его, волей или неволей придется переоценить и себя. Достоин ли той жертвы? Оправдал ли ты те надежды, которые возлагал на тебя, физическое воплощение своего будущего, твой предок? Возлагал, осознанно жертвуя собой и делая шаг за грань понимания.

В этом пенальчике, в этих записках и часть души. В них, в их стандартных бланках записок, душа. В них слова любви, в них понимание вечности, в них прощение и надежда, а главное, что есть там и чего не хватает нам, — это уверенность! Уверенность в правильности выбранного, единственно верного пути, уверенность в будущем, в нас с вами.

Солдатский медальон — это индикатор. Он проявляет в человеке, и не в одном, а во всех, кто с ним столкнулся, все человеческие качества. Он выявляет случайных людей, предателей и пустомель. Он или делает человека лучше и чище, или выставляет напоказ его зачастую очень

тщательно скрываемые пороки. Ведь отказаться от своего предка или равнодушно отнестись к судьбе павшего в бою солдата может только пустой человек. Если вдуматься, то солдатский медальон — это даже не предмет, это реальный артефакт прошлого, который может менять настоящее и способен влиять на будущее. Он меняет людей сейчас, он сейчас меняет будущее, тех, кто, может, еще не родился, а родившись, получив информацию, скрытую в недрах медальона, сможет измениться. Сейчас он или приводит в сумасшедший восторг нашедшего, открыв ему тайну, или погружает в пучину уныния, явив черную пустоту.

Солдатский медальон — это проводник из безвестия в вечность бессмертия. Ведь стоит потомкам, открывшим имя, передать его последующим поколениям и воспитать своих детей правильно, и эта судьба, транслируемая во времени, обретет бессмертие душа человека. Память человеческая может дарить бессмертие имени. Подвиг самопожертвования совершили наши предки, дав нам возможность исполнить свой Долг — Долг Памяти, и облекли эту возможность в маленькую бакелитовую капсулу. Какой путь выберем мы? Может быть, это и есть наш философский камень?



Сорокапятка

Самое красивое и совершенное для мужчины, после женщины, — это оружие. Ничего лишнего: строгие, технологичные линии, стремительные силуэты, гордые профили стволов и станин.

Оружие прошлого у поздних поколений не вызывает трепета. Местами лишь недоумение: «Как этим можно воевать и чего бояться?» Для меня оружие Великой Отечественной войны — это предметы гордости, нашей национальной гордости.

В музее очень много различного оружия, но некоторые экземпляры просто близки, может, по духу, а может, своими историями. Среди мощных гаубиц, стройных дивизионных орудий, основательных, как крестьянин, полковых орудий эта внешне несуразная пушчонка как конек-горбунок из сказки Ершова среди арабских скакунов и першеронов.

«Сорокапятка», «Прощай, Родина», «пукалка» — так окрестила это орудие солдатская молва. Но все эти прозвища всё равно несут в себе любовь и уважение простого

солдата, встретившего войну у этих пушек. Ведь крайне сложно и не менее почетно было служить в батареях и дивизионах истребителей танков.

Я тоже ее очень люблю. Что она может рассказать? О войне, о жизни, о том времени? Мой друг научил меня чувствовать ее рассказ. Когда я глажу ее исцарапанный, с глубокими зазубринами от пуль и осколков щит, я вижу. Вижу редкую цепочку пробирающихся через вековую, бескрайнюю тайгу крепких мужчин с рюкзаками и геологическими молотками. Солнце над зеленым морем. Костер с закопченным котелком. И руки, в неясных бликах костра отмечающие на карте новое месторождение железной руды.

Языки костра отражаются в горящих жадой свершения глазах, и в этих глазах уже пламя домны Магнитки, Сталинграда, Урала. Там огненной лавой, рассыпаясь фонтанами сверкающих капель, горящая сталь превращается в сверкающий серебром прокат. А в лицах сталеваров, в их прикрытых темными очками глазах нескончаемые ряды станков. У этих станков серьезные, обстоятельные мужики с сединой в унтер-офицерских усах, как кудесники, из бездушных заготовок и болванок творят четкие линии деталей и стремительность тонких стволов. Ртутными кудрями стальная стружка. Сосредоточенные взгляды и грохот прессов. Надсадный крик заводского гудка, сотни, тысячи, миллионы суровых лиц всматриваются в черную бездну репродукторов. Оттуда, как снаряды, разрывая тишину, слова диктора: «Война!»

И вот уже эти же геологи, сталевары, слесари, токари и крестьяне на руках через ручьи и реки, впрягшись, как бурлаки, в самодельные постромки, надрывно хрипя и матерясь вполголоса, тянут исклеванную пулями пушку, выходя из вражеского кольца. Это они, похоронив у дороги своих товарищей, сняв и закопав разбитый пулей, убившей наводчика, прицел, наводили по стволу на голову немецкой колонны тонкий ствол сорокапятки. И в глазах умирающего с разорванным осколком животом, придерживающего рукой вываливающиеся сизые внутренности командира, заслоня отражение давившего пушку и тела расчета немецкого танка, вновь вспыхнули огни домны.

Домны, у которой стояли уже их жены. И новые орудия, весело подпрыгивая на брусчатке, катились за виллисами и газиками. Лихо выскакивали на улицы немецких, польских, австрийских городков. И молодые сержанты — сыновья их, оставшихся под Брестом, Минском, Смоленском и Москвой солдат, вбивали снаряды в бойницы превращенных в крепости домов. Снаряды этой пушки начали войну, задымив копотью горящих немецких танков наше небо под Брестом, поставили точку в войне, влупив в мае сорок пятого в окно рейхстага. Вот она вам и «Прощай, Родина».

Поклонитесь Им у ее щита. Прикоснитесь к ней и всмотритесь в себя. Почувствуйте и постарайтесь увидеть время Великих людей и Великих свершений.



Холод

Им казалось, что холод сковал воздух и землю, обрушился на людей 22 июня. Он вылился из жерла репродукторов вместе с объявлением о начале войны. Холод сразу заморозил лицо матери и всех, кто был постарше и понимал суть сказанного. Холод стал выплевываться в очередях за продуктами, ледяными волнами замораживая души людей, брызгал злыми стычками в бредущих бесконечными колоннами беженцев. Холод лился на землю из безразличных, пустых глаз немецкого летчика, огненными струями пулеметных очередей вгрызаясь в человеческие тела на горящих переправах. Холод сыпался на землю градом снарядов и горел безразличным огнем в глазах огнеметчика, сжигающего сарай с живыми людьми. Холод ненависти плескался в голубых глазах сержанта в училище, куда их, вчерашних школьников, направили из военкомата.

Этот холод забрался в душу сержанта летом 41-го, он выстудил сердце и наполнил его ненавистью, навеки поселив в глазах, кровавыми сгустками в грязи, раздавлен-

ные гусеницами немецких танков детские тела на дороге, по которой он отступал. И им, курсантам, этот рано посевший сержант казался глубоким стариком, хотя был их старше всего на год. На Год войны.

Холод был везде. У одних это был высокомерный холод представителя «высшей расы», наделившей себя правом Господа, безразлично и черство гася свечи жизни других людей. Для других — холод оцепенения и боли сменялся холодной ненавистью и решимостью покарать и отомстить за поруганный дом и Родину. Холод физически бился в грудь их хлипких шинелей на продуваемом всеми ветрами училищном плацу. Холод стучал солдатскими ботинками по доскам промерзшей курсантской казармы в ежедневных учебных тревогах. Холод с тихой ненавистью паром вырывался из десятков ртов командиров криком: «Коротким коли! Длинным коли!» — и блестел ледяными гранями винтовочного штыка, вспарывающего пока учебную цель.

Холод, свернувшись парящим клубком в черном углу теплушки, пыхая паром кипящего чайника, прятался от раскаленных докрасна стенок буржуйки, подвывая от страха, пытался заглянуть им в глаза, в десятки глаз, отражающих пламя печного огня. Десятки двойных разноцветных всполхов праведной ненависти готовы были принять этот холод, переварить его в сталь нервов и решимости победить.

Десятки их, даже не переодетых в командирскую форму, позавчерашних школьников, вчерашних курсантов, сегодняшних лейтенантов, встретил и проглотил фронт. Проглотил и выплюнул по взводам и ротам, батальонам, полкам, дивизиям. Разбрызгал по высоткам и болотам, по заснеженным полям и звенящим от мороза лесам. Эти серо-зеленые капли влились в такие же серо-зеленые ручейки походных колонн, слились в серо-зеленые реки и образовали серо-зеленые моря, поглотившие врага и своей волной захлестнувшие его и опрокинувшие.

Эти ручейки и реки, ударяясь о черную стену вражеских укреплений, текли дальше, оставляя после себя брызги навечнозамерзших серо-зелеными каплями тел солдат.

Вездесущий холод убивал их тела, но ни тогда, ни сейчас ничего не смог сделать с их душами, потому что, вытеснив холод и лед, в их душах горел огонь.

Его нашли в нише траншеи, укрытого солдатской шинелью, в выдавших виды солдатских ботинках и солдатском ремне с подсумками. Положив руки под щеку, поджав к животу ноги, семьдесят пять лет спал молодой лейтенант, засыпанный разрывом тяжелого снаряда. Он видел и чувствовал всепожирающий огонь и пронизывающий холод окопов, где нельзя развести огонь, где промокшая шинель каменным грузом давит на мальчишеские плечи. Холод расчетливым взглядом убийцы смотрел на него через десятки винтовочных, пулеметных и орудийных прицелов с одной целью — уничтожить лишь его маленькую человеческую, только начинающуюся жизнь. Холод забвения должен был убить и Память о нем, и ему это почти удалось. Его взвод, расплескав себя серо-зелеными каплями, навсегда остался на склонах и в траншеях безымянной высоты Северо-Западного фронта. Вмерзший телами в болотистую землю, взвод на десятилетия погрузился в холод равнодушия своих потомков. И этот холод в душах потомков, холод безразличия и лицемерия, скрывавшегося за громкими словами, был сродни холодному безразличию в глазах их врагов, смотрящих на них тогда презрительно-безразлично, походя сжигая их жизни и судьбы.

Только их сила и воля к Победе заставили врага ледяную пелену безразличия сменить на горящий в глазах ужас расплаты и страх возмездия. А что может растопить холод и лед в душах миллионов потомков, захлестнувший наши сердца безразличием к их жертвам? Может быть, огонь гнева и ненависти за бездушие в глазах наших детей? Огонь, как немой вопрос, направленный нам. Как так получилось? Что вы сделали, чтобы отдать ИМ Долг и рассказать нам об ИХ жизни и подвиге?

Над телом «спящего» лейтенанта, когда его нашли, склонились больше десятка парней и девчонок в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет и лишь троим их руководителям было за тридцать. Только трое нашли в

себе совесть и силы отказаться от своих планов на отпуск и отдых, чтобы подарить будущему право поклониться прошлому. Поклониться не просто для отчета, галочки, а честно, по-человечески. Поклониться до земли и, разогнав холод десятилетий забвения, почувствовать огонь в душе. Мы можем днями говорить о воспитании молодежи и патриотизме, но нам не воспитать будущее, не изменив себя. Нам не обмануть наших детей красивыми словами. Нам нужно начать с себя, чтобы стать примером для детей. Нам самим нужно выгнать из себя холод.

Потери

Выстрел, прыжок в распахнутый черный зев траншеи. Судорожное, захлебывающееся дыхание. Запах чужого быта, пороха, оружейной смазки и крови. Удар штыком, скрежет железа по ребрам. Темнота. Повисшее на винтовке, приколотое как бабочка в коллекции энтомолога, к стене траншеи тело молодого парня. Прыжок, очередь от живота вслед бегущей по траншее серой тени. Чужой запах пота и одеколona сзади, удар прикладом по голове сдерживает каска. Секундная темнота в глазах, подчеркнутая мутью светящихся пятен и звездочек, проходит от боли напряженных мышц рук, капли чужого и своего пота разъедают глаза. Перед лицом блестящий кончик стального клинка и оскаленное в ярости, закрывшее весь мир вокруг чужое лицо. Вся вселенная сузилась до этого лица и блестящего клинка со следами мясных консервов у рукоятки. Дрожа от напряжения, по миллиметру, клинок приближается к глазу, закрывая весь мир. Запах крови лишает сил, мышцы рвутся от напряжения, и хватка слабеет. Толчок, из горла врага стальным жалом выскакивает наш штык. Тугая струя го-

рячей крови бьет в лицо и раскрытый в крике рот в море крови.

Мат, крик, лязг, гортанная ругань на чужом языке. Удара железа о плоть, выстрелы. Обмякшее тело — в сторону, липкие от своей и чужой крови руки нащупывают выпавший автомат. Деревянный черенок малой пехотной лопатки прилип к окровавленной ладони как влитой. Рывок всем телом — и с размаху удар под срез каски в покрытый щеточкой потных рыжих волос затылок навалившегося на нашего бойца врага. Страшный скрип железа в позвонках, удар, как током, трясущегося в агонии человеческого тела, очередной фонтан крови на руки, сжимающие лопату. Как белый рафинад в вишневом варенье, разрубленные позвонки в рваной ране затылка. Шумное дыхание сзади. Разворот — блестящее лезвие рубит поросший щетиной кадык, удивленный взгляд чужих глаз покрывается смертной пеленой, кровь, гоняемая еще живым сердцем, как из бутылки шампанского, брызжет на руки и лицо. Медленно, уже безопасно разрезая гимнастерку, вместе с человеком оседает винтовка с примкнутым штыком. Лопату вниз. Мгновенно раскинув сошки на другую сторону траншеи, теплый еще от стрельбы и чужого плеча пулемет. И очереди веером надо мхом и камнями, по набегающей серой волне. Красная пелена перед глазами, тысячи ярких шаров, грохот очередей, крики людей. С другого фланга струи трассеров втыкаются в бегущие фигуры. Гильзы обжигают лицо и руки, пороховая гарь забивает легкие, мешая дышать, ноги скользят по дну и крови, мешая целиться.

Кочками замершие тела вражеских солдат. Звякнув, мертвой стальной змеей сворачивается опустевшая пулеметная лента. Дымящийся, перегретый ствол упирается в небо, руки, черные от крови, с липким чвokанием оторвались от рукоятки пулемета, и на окружающий мир рухнула тишина.

Привалившись к каменным стенам траншеи, на корточках сидели солдаты. Черные от копоти, грязи и засохшей крови лица и белые, с расширенными зрачками глаза, пустые взгляды, разорванное, прожженное обмундирование, сдвинутые, сбитые каски и пилотки. Кто-то потерянно бродил по траншее, собирая оружие, выроненное в рукопашной снаряжение.

Дергались в смертельной агонии свои и враги, стонали раненые, но в ушах живых звенела тишина. По траншее, качаясь, прошел командир, двое разведчиков провели бегом в наш тыл троих пленных. Вражеские солдаты со связанными за спиной руками смотрели себе под ноги, боясь поднять глаза. Обрушив вниз град камней, в траншею ввалился связной из батальона и подносчики, обвешанные цинками с патронами и ящиками гранат. Посыльный, по-гусиному пригнув шею, пытался вытянуться перед командиром, озираясь по сторонам, как будто стесняясь, пряча глаза, передал приказ: «Развить успех и взять высоту!» Командир удивленно поднял глаза. Как — взять? Кем? В разведку боем, с задачей взять языка, пошла неполная рота. Большая часть этой роты сейчас мешками висела на проволоке нейтралки, крихтя, зажимая кишки из распоротых животов, уползала через болота в тыл, мотала бинты на кровавые маки свежих ран или пустыми глазами таращилась в стены окопа, слушая звенящую тишину. Живые и более-менее целые хватали мыслями эту тишину и осознали, что чудом уцелели. И вот эти оглушенные смертью люди должны встать и рвануть опять под свинцовый вихрь, на мины и проволоку, редкой цепью охватывая укрепленную высоту, и взять ее. Мыслимо ли это?

Они, сидящие в траншее, всё поняли по его взгляду. Стали поправлять снаряжение, собирать брошенное оружие: свое и трофейное, вскрывать цинки, снаряжать магазины, вкручивать запалы в гранаты. Они делали это не с обреченностью, а по-деловому собранно, как будто собирались на работу, просто потому, что так надо. И они встали. Встали и, оставляя затихающих навечно товарищей, ворвались во вторую линию. И опять рубились в рукопашной и хрипели, захлебываясь в крови, и опять слушали звенящую тишину, отходя от боя, и опять обжигались о стволы и горящие гильзы, отбивая контратаки. И для всех них наступила тишина. Последние из них, скаля в жуткой улыбке окровавленными ртами белые зубы, подрывали себя гранатами, глядя сквозь ворвавшихся в траншеи вражеских солдат на заходящее солнце. Их тела долго вспухали трупными миазмами на колючей проволоке и за брустверами траншей, а когда запах стал невыносим, им накидывали на ноги проволочные петли и стягивали, зака-

пывая на старых минометных позициях, а затем устроили там помойку. Ведь у европейцев всё должно быть культурно, и даже военный мусор солдатского быта должен быть убран. А тела «недочеловеков» — это же и есть мусор. Все мы для них мусор, всегда и во все времена — мусор, по непонятной им причине владеющий огромной страной.

Штаб отписал красивую реляцию, где не было счета уничтоженному противнику, где была обозначена выполненная задача по разведке боем и взятию трех языков и где вскользь была указана цифра наших потерь в сто человек. Невзятая высота торчала кровавым пупком еще целых два года, сжирая жизни и выпуская души.

Я не знаю, стоили ли разведданные, полученные от трёх немецких егерей, жизни ста человек; тогда это было виднее. Я знаю, что всё, что было на этой земле после, всё остальное было для всех живущих на этой земле в кредит. Всё было в долг, этот кредит был оплачен ими, их жизнями, их муками. Это не банковский кредит на новую машину, не деньги займы на поездку на курорт к лазурному морю. Это кредит на жизнь. Это счастье, уже оплаченное миллионами жизней. И моя, в принципе не очень гениальная и толковая жизнь — она ими оплачена.

Те, кто шел с ними, кто успел, харкая кровью, уползти с горящих высот; те, кто родился в голодных пустых военных избах под рокот орудий и детство провел у черных рупоров репродукторов, как молитвы, слушая сводки с фронтов; те, кто пришел им на смену у станков и в полях; те, чье детство прошло на стройках восстановления разрушенной страны, — они понимали, какова цена и как оплатить этот кредит. Поэтому они полетели в космос, когда их, павших, тела еще не успели зарasti травой, они строили электростанции и поворачивали реки вспять, они делали всё, что не успели, не смогли сделать оставшиеся на высотах.

А понимаем ли мы эту цену? Задумывались ли хоть раз или принимаем эту, данную нам жизнь просто как должное? Понимаем ли мы, что, если бы не они, не было бы и нас, ведь все мы должны были быть уничтожены как нация. Что вынесли они ради каждого нашего прожитого дня? Ради того, который мы иногда клянем за неудачливость. Ради того дня,

который проводим в праздном безделье или пьяном угаре, в похмельном бреду или в бестолковом шатании по магазинам. Понимаем ли, что каждая эта минута имеет цену? Ценой этой минуты стала чья-то не менее драгоценная, чем наша, жизнь. Ее ценой стала жизнь, может быть, более талантливого и безусловно более честного человека. Эта страшная цена уже заплачена. Они не заберут эту плату, и мы это знаем. Даже если бы они могли выбирать, они бы всё равно заплатили за нас этот кредит. Они тогда, умирая, думали о нас, о тех, кого не знали и знать не могли. А мы?

Мы очень много и очень часто в последнее время говорим о Родине, о патриотизме, пытаемся учить своих детей. Мы так много и навязчиво об этом говорим, что, кажется, сами себе пытаемся объяснить, что же это такое — Родина, что же такое патриотизм. Мы продолжаем жить в кредит, уже беря этот кредит у своих детей. Отбирая у них Родину, веру в честность, порядочность, красоту. У всего есть цена, и каждому придется вернуть свой кредит перед прошлым и перед будущим. Для того чтобы отдать долг, нужно главное — осознать заплаченную цену. Закройте в тишине глаза, зажмурьтесь до черноты, посидите так пять минут и представьте, что это Навсегда! А потом откройте глаза — и увидите деревья и солнечный день — это нам подарили они. Долг перед ними — чтобы этот день увидели наши внуки. Этот, а не равнодушно-серый, похмельно-сизый или рожденный окриком команды «встать!» на чужом языке.

Они не вернулись из боя

Донесение о безвозвратных потерях 263-й сд от 21.08.1942

Перцев Иван Петрович 1912
Козичев Федор Михайлович 1899
Кокошкин Антон Иванович 1914
Фадин Федор Степанович

Донесения о безвозвратных потерях 263-й сд от 18.08.1942

Евстигнеев (Евстегнеев) Петр Савельевич 1917 (1907) —
награжден посмертно
Васин Иван Федорович 1904
Полосин Андрей Федорович 1923
Малышев Максим Геннадьевич 1917
Малютин Михаил Павлович 1924
Балабухин Алексей Павлович 1908 — медальон
Новиков Николай Алексеевич 1902 — медальон
Федоров Гаврил Федорович 1905
Раевский Иван Тихонович 1905
Ермаков Иван Степанович 1911
Дзюбенко Константин Степанович 1915
Хаматов Хамза (Хайва) Хаматович (Хаиметович) 1911
Турчанинов Лука Матвеевич 1902
Агафонов Егор Иванович 1902
Падорин (Подорин) Дмитрий Петрович 1905 —
награжден посмертно
Удалов Петр Александрович 1920
Суслов Петр Александрович (Никандрович) 1922
Рябцев Василий Дмитриевич 1899
Нешатаев Егор Филиппович 1910
Глинский Владимир Викторович 1919
Кашицин Петр Иванович 1917
Андреев Андрей Андреевич 1917 —
награжден посмертно
Антонов Степан Васильевич 1913 (1917) —
награжден посмертно
Белугин Иван Карпович 1919
Липовка (Липовый) Михаил Васильевич 1923
Власов Павел Антропович 1921

Никитин Сергей Михайлович 1923
 Дуркин Аким Данилович 1921
 Хакимов Иван Захарович 1916 — в этом бою выжил,
 убит 07.04.1945. Награждался в 1943–1945 гг.
 Жданов Григорий Федорович 190
 Карпов Федор Львович 1904
 Сверчков Александр Васильевич 1911
 Пашков Петр Михайлович
 Козырев Александр Константинович 1909
 Артемов Леонид Никифорович 1905 —
 карточка вп «погиб, захоронен»
 Ходош Рувим Павлович 1914 —
 медальон, карточка вп «погиб, захоронен»
 Котлованов Иван Андреевич 1912
 Ткаченко Кузьма Евдокимович 1903
 Никольский Дмитрий Николаевич 1905
 Шишкин Николай Павлович 1909
 Пальшин Георгий Игнатьевич 1918 — плен, выжил
 Барышев Андрей Денисович 1902
 Фирсов Семен Семенович 1904 — медальон
 Пачесный Василий Степанович
 Молчанов Григорий Федорович 1904
 Бодардинов Фатхалбаш Нординович 1916
 Тавлалашвили Соломон Тандорович 1913
 Минин Егор Терентьевич 1902
 Евдокимов Артемий Викторович 1913
 Александров Павел Петрович 1913
 Невмержицкий Степан Леонтьевич 1913
 Дронов Василий Васильевич 1910
 Дмитриев Василий Дмитриевич 1910
 Коротков Григорий Семенович 1911
 Герасимов Илларион Герасимович 1916

Донесение о безвозвратных потерях 263-й сд от 21.08.1942
 Максимов Геннадий Ефимович 1916 —
 награжден посмертно

Донесения о безвозвратных потерях 263-й сд от 11.09.1942
 Кошелев Петр Алексеевич 1914, 263-я сд 316-я отд.
 разведрота — оставлен в тылу противника.

**Список безвозвратных потерь предоставлен
 Карельским региональным общественным фондом
 «Эстафета поколений»**



Эдик

*Для меня будто ветром задуло костер,
 Когда он не вернулся из боя...*
 Владимир Высоцкий

Разбитая бомбами и снарядами, наскоро латаная-перелатаная, виляющая влево-вправо, как сильно пьяный извозчик, фронтовая дорога Синявино — Гонтовая Липка. Весенняя хлябь грязевых озер, в которые превратились еще месяц назад робкие талые лужицы. Надсадный рев слабенького мотора и — из-за поворота, виляя в такт дороге, выскакивает заляпанная грязью, доверху груженная ящиками полуторка. Хлопая брезентовым тентом, смело начинает форсировать очередное грязное озеро. «Встанет — не вытянем», — как-то равнодушно бьется в голове усталая мысль. Машина, плавно сбросив обороты, крадется по двери в коричневой жиже, уверенно приближаясь к краю лужи. Повинуясь виртуозным действиям водителя, выскакивает на сухое и, помахив-

вая брезентом, весело скачет дальше. Глядя в сосредоточенное лицо водителя, ловлю мысль: «Какое настоящее лицо. Настоящее, прям оттуда с фронта, из горящего 41-го или из тяжёлого 42-го, переломного 43-го, победных 44-го и 45-го».

Так я увидел первый раз его — Эдика. Эдуарда Иликовича Титберия — моего товарища. Он не был ни реконструктором, ни поисковиком в том виде, как мы привыкли к этому понятию. Он был Мужиком. Простым, честным, безотказным. Он был Настоящим.

Редко к кому в последнее время можно применить такой эпитет — «Настоящий». Он как будто жил теми, давно забытыми понятиями Настоящих людей той далекой войны, тех огненных и славных 40-х–50-х. Он и в нашей жизни смотрелся как-то неправильно. Для нас, современных, неправильно.

Имея квартиру в центре столицы, жил в бытовке музея. На деревянном топчане, среди старых машин, танков и орудий ему было комфортней, чем на мягком диване, среди шума города и сверкающих современных машин. И эти машины и танки отвечали ему взаимностью, не подвели на важных мероприятиях. Они видели в нем своего, Настоящего, оттуда. Немногословный, он прожил по-настоящему сложную, наверное, истинно русскую жизнь. В этой жизни было всё: и тяжелая работа водителя на северных трассах, и тюрьма по непонятному, надуманному делу, и война. Страшная братоубийственная гражданская война соседа с соседом. Где вчерашние пацаны-одноклассники стреляли друг в друга уже из настоящего оружия и навсегда закапывали друг друга в землю. Было бегство с Родины и лишение возможности когда-либо вернуться к своему дому просто потому что фамилия не подходит под стандарты победивших, даже если ты и воевал на их стороне. Было испытание роскошью и деньгами в 90-е. Которое он выдержал и остался Человеком. Он был выше многих вещей, которые мы считаем важными. У него была Вера — настоящая, глубокая, непоказная. Вера в Бога, в Душу, в чистоту.

В экспедициях он всегда оставался ночевать на поле боя, там, где лежали такие же Настоящие мужики.

В 2015 году когда поднимали из болота погибший в 43-м самолет, зимой, в двадцати градусный мороз, когда мы все бегом бежали согреться в машины и ехали ночевать в теплый дом, красными от холодной воды руками обнимая печку, он оставался на болоте и один в темноте выкладывал из обломков самолет. Да, как конструктор. И через четыре дня отрывки и обломки горелого, расстрелянного железа приобрели очертания стальной птицы. И когда все увидели это, на болоте долго стояла тишина.

Когда его не стало, я часто вспоминал, о чем мы говорили с ним? Ведь говорили мы много и часто. И, вспоминая, понял, ему было тесно в нашем мире. Я иногда ловил себя на мысли, что у меня в голове наступает дисбаланс, когда я смотрю на него и слышу, что он говорит. Простой мужик, с большими, грубыми руками, черными от машинного масла и сажи, с дешевой сигаретой в зубах, не рассуждает, а анализирует творения классиков, анализирует и цитирует Библию и Коран, буддистское учение и статьи из трудов Сталина. Он не просто «умничал» или рассуждал, он говорил то, в чем уже был уверен и из чего уже сделал выводы, для себя принял как верное. И мое право было или принять его мысли за верные или остаться при своих. Он не спорил. Он слушал и соглашался, либо вставал и уходил, переключался на нейтральные вещи.

Был ли он моим другом? Нет, скорее всего. У таких, как он, друг бывает один. Он был моим товарищем. Товарищем, с которым можно говорить обо всём, не опасаясь непонимания или подставы. Он для всех для нас был товарищем. Для тех, с кем он был рядом, рядом с ним не было плохих людей. А друг на всю жизнь у него был один — его старший брат. И это, наверное, правильно.

Его не стало неожиданно, трагически, скоростижно, множество страшных слов можно найти. Но неожиданно для кого? Для нас, простых смертных, наверное, да. Но не для него и не для Бога. Господь забирает самых достойных, а достойным на Земле тесно, было тесно и Эдику среди нас. Я думаю, он где-то там, вдалеке, ведет сейчас по разбитой фронтовой дороге свою любимую полутор-

ку. Сосредоточен, сдвинув брови под надвинутым на лоб квадратным козырьком фуражки с черным околышем и красной эмалевой звездой. Держит натруженными руками со следами въевшегося в кожу машинного масла потертый руль, попыхивает беломориной и улыбается. А в кузове у него смеются молодые парни, те, которых он когда-то помог вернуть, и покрикивают, весело стуча ему по фибровой крыше кабины: «Не гони, папаша». А он усмехается и сбавляет газ. А мы? Мы тут должны доделать то, о чем он мечтал. Чтоб для нас ветром не задуло костер.

Удачи тебе, Эдик...

P.S. Я никогда никого из моих читателей и друзей не просил делать репост моих статей. Я считаю каждый сам вправе решать, чем поделиться с близкими, а мимо чего пройти не останавливаясь. Но сейчас прошу, сделайте репост, я очень хочу чтобы об этом человеке узнали люди, пусть после того, как его не стало. Он достоин памяти.



Энергия и инерция войны

Всё в нашей жизни связано с энергией. Любое наше действие — это энергия, и любое действие имеет инерцию. Я много думал об энергии той, закончившейся почти семьдесят пять лет назад войны и о той инерции, которую эта война дала. Энергия бывает или разрушительной, или созидательной. Казалось бы, всё просто, в чем вопрос? А мне кажется, в инерции этой энергии всё совсем непросто.

Передо мной лежит солдат, он лежит здесь семьдесят семь лет. Лежит с винтовкой в руке, примкнутый штык, руки на цевье и на шейке приклада, открытый в последнем «ура!» рот. Он лежит, а мне кажется, он всё еще бежит в эту свою последнюю атаку. Энергия того порыва до сих пор двигает живых людей. Двигает к разным целям и рождает разную по сути энергию: разрушительную и созидательную. Маленький бакелитовый пенальчик, извлеченный из куска земли, — и над лесной поляной, распугивая птиц, летит последнее «ураааааа!», подхваченное молодыми голосами. Кропотливая, сложная работа — и имя на истлевшей,

почти ушедшей бумаге, выплывая из небытия, рождает десятки, сотни, а может, и тысячи энергетических всплесков, побуждая к действиям. Раздаются звонки, горят экраны мониторов, и вот в доме раздается звонок: «Нашли вашего солдата».

А затем, как в бою, лучики чистой энергии начинают биться в стену даже не черного, вражеского, а серого, сбившегося за десятилетия в плотный туман, энергетического фронта безразличия и равнодушия.

«Справку предъявите, на каком основании, мы не уполномочены, нет средств, кто за это будет отвечать, нет места на кладбище, нет салютной группы, нет, привезите к другой дате». Он с ржавой винтовкой в руке, сопровождаемый рожденными им лучиками живой энергии, прорывается в этой серой биомассе, и вот дом, домашний погост... И как по волшебству из тумана с приклеенными улыбками появляются люди и льют сладкие, как прошлогоднее засахарившееся варенье, слова. Вроде бы правильные, но такие неискренние. Но ему уже хорошо, он дома. Только вот инерция его энергии, как лакмусовая бумажка, в молодых сердцах проявляет поток неправды в сером тумане и рождает в головах «бунтарские» мысли о нечестности серого тумана равнодушия.

Вот на его обелиске вспыхнула алая звезда, и черным трафаретам по сотням душ живых его имя, навсегда. И в это же время дробью по клавишам ноутбука: «А был ли подвиг? А в ту ли сторону он бежал с винтовкой в руках? А нужен ли памятник? А что вы всё носитесь с этой войной?», и эти статейки, как черные метастазы, лезут своей черной энергией в пустые, им, тем погибшим, не затронутые души потомков. И рождают в них сначала сомнения, потом раздражение, потом пренебрежение, а потом ненависть к тому, что называется «Родина».

И слышно уже в автобусах и метро: «Рашка», «ватники», «совок».

Вот в пункте приема металлолома стоит исковерканный лист брони штурмовика Ил-2 с прилипшими к нему русыми волосами, а тело двадцатилетнего парня, рвущегося в свою последнюю атаку, выброшенное, как хлам, правну-

ком, остается лежать в болоте из-за пары десятков тысяч рублей. Вот ответ на осуждающие посты «подумайте о живых, людям нечего есть, зачем превращать всю страну в кладбище».

А может, она уже становится кладбищем? Кладбищем живых в сером тумане безразличия и лицемерия. Только небольшие островки энергии, рожденные Памятью, могут разгореться в Вечный огонь созидания, если липкий туман равнодушия не погасит их.

Энергия войны ощутима физически. Вот под корнями сосны неразорвавшийся снаряд, вот пробитое пулями колесо орудия, вот загнутый, как щупальца огромного осьминога, винт погибшего самолета. Всё это создано руками людей. И скрытая в этом смертоносном железе энергия до сих пор уносит жизни живых. Но сколько она забирает душ? Почему так много и так часто сейчас говорят о войне, говорят правду и неправду, для кого вся эта свистопляска «разоблачающих мифы» статей? Для нас с вами. Ведь главное — поколебать веру. Веру в правильность поступков своих предков, тех, кем во всём мире принято гордиться. Поколебав эту веру, уже запросто можно из правды лепить кривду, а дальше, внушив комплекс вины, подтолкнуть к предательству.

Энергия той войны витает в воздухе уже практически осязаемым облаком, оно набухло и уже поделило страну на «совков» и либералов. Они с пеной у рта уже сцепились на страницах соцсетей и злобно рвут друг друга на части, источая неслыханную для соплеменников ненависть. Эта энергия оттуда, из той войны. Ее инерция страшна, и она грамотно направляется именно оттуда, откуда и пришла сама та война, — из-за границ этой страны.

А повод для разделения в чем? Ведь я уверен, у каждого, кто презрительно шипит в спину «совок», где-то до сих пор идет в свою последнюю атаку дед, прадед, брат бабушки, двоюродный дед. Так что это? Ненависть или предательство? или оплаченная ненависть? Кто-то там, за «бугром», оценив свои ошибки, решил выпустить энергию войны внутрь этой страны, чтобы, используя ее инерцию, тихо наблюдать, как «патриоты» и «непатриоты» будут

рвать здесь друг друга с обеих сторон, с чувством матерясь по-русски. Они только будут подливать масла в огонь, а равнодушные большинства лишь станет приятной подливой в этой резне.

Мы обижены на власть? на социальную несправедливость? на богатого соседа? Пусть так — мир неидеален. Но зачем обижаться на Память? Зачем им там давать еще один повод сомневаться в нашем прошлом? давать им возможность грязными лапами потомков палачей и убийц ковыряться в нашей памяти и в наших душах? Да, мы сами даем им такое право, создаем им условия. Сами сомневаясь в своей истории. Не зная ее, мы даем повод ее перевернуть. Выкинув из дома старые фотографии, продав награды деда, сдав в металлолом сгоревший танк, отказав в захоронении найденного на поле боя солдата, мы даем им право сносить могилы наших солдат у себя. Мы сами даем возможность нашим детям повесить у себя над столом портрет Власова или Каминского. Потому что это место оказалось пустым, там уже нет портрета деда. И не будет и нашего портрета. Энергия войны, она из лесов, болот и полей, потихоньку подпитываемая живыми, переползает в города и села, а какой она будет — разрушительной или созидательной, решать нам. Нам нужно научиться ею пользоваться. Если мы не сохраним, тогда сотни тысяч рук, до сих пор сжимающих свое старое оружие, встанут на нашу сторону. А если будем лицемерить и врать, пользоваться их память по праздникам, соловьем разливаясь о долге и чести, а после — рыть на могилах карьеры и строить коттеджи, заваливать красивыми венками ржавые памятники, — они не выдержат и рухнут. А погибшие останутся на своих рубежах ждать достойное поколение.



46-й

Он сидел на бруствере неглубокого, только что вырытого им окопчика, свесив ноги вниз, и смотрел на «топчущего» его гордость муравьишку. Новые, заботливо смазанные дегтем и жиром солдатские ботинки 46-го размера. Сколько он двухметровой верстой, тенью ходил за пожилым старшиной, меся валенками, а потом самодельными опорками мерзлую грязь. Как счастлив был, светясь медным пятаком, притопывая по дну траншеи новыми, полученными позже всех в роте ботинками. И вот какой-то мураш топчется по этой красоте. Он вяло тряхнул ногой, муравей удержался. Рассеянным взглядом скользнув выше окопа в траву, солдат задумался и прекратил попытки согнать насекомое. В утренней звенящей тишине окапывались его товарищи. Место командир им выбрал царское. Здесь и воевать, и, случись что, лежать по-людски. После болотных черных троп, запруженных подлесков, осинowych и ивовых гмызников, торфяной, избитой воронками чепурги, где остались плавать растерзанные и необрунные тела их товарищей, — сказка. Чистая,

с редкими, величественными елями и соснами песчаная высотка просто как оазис в мокрой, склизкой круговерти фронта. Щелкнув сошками, на бруствер встал «дегтярь». Шух, шух, шух — шумел, слетая с лопатки соседа, песок. Он посмотрел вниз: «Глубже вырыть? Да к чему? Старлей сказал, до обеда продержатся!»

Против всей той лавины, что гнала их по болотам, — это как против всей их Европы встать. Встать-то встанем, сколько они уже оставляли таких вот заслонов? Сколько слушали вдалеке заполошную стрельбу и разрывы, сколько потом в их ушах гудела оборвавшая тишина? И здесь. Не долго им стоять. Самые сильные, выносливые и опытные оставались в этих заслонах, давая шанс ослабевшим. Он бы, наверное, остался на первых еще заслонах со своей богатырской фактурой и 46-м размером ноги. Но каждый раз, глядя в его по-детски наивные, просящие глаза: «Дайте я. Я могу! Я готов!»

Старлей, чуть старше его паренек, отводил взгляд и значал другого. Но другие кончились еще там, в топях и гмызниках, пришел их черед.

Бой начался как-то неожиданно и вяло. На поляне замелькали чужие тени. Недружно прощелкали винтовки товарищей, сыпанул в ответ немецкий автомат. Он скользнул в окопчик, приподнял ствол и не увидел цели. А потом с неба привычно загудело. Разрыв, разрыв, разрыв. Немцы их зауважали, устав терять на каждом километре этого дремучего леса по пять-десять, а то и больше человек. Мины-восьмидесятки и снаряды 105 мм методично перепаживали высотку. Рвали в клочья сосны, елочки и людей. На отделение вывалили железа, как на батальонный укрепрайон. Он накрыл своим большим, горячим телом тонкое, стальное тело «дегтяря» и молил Бога выжить и чтоб песок не попал в механизм. Просил об одном — чтоб дал шанс еще раз увидеть в прицеле серые тени, нажать на спуск и почуять, как кулем валится на песок серый «сверхчеловек».

Под прикрытием артогня немцы обходили высотку, выходя в правый фланг, откуда при их появлении не стреляли. И вот, когда осела пыль и дым разрывов, а запах сгоревшей взрывчатки стал забивать смолистый запах

елей из разбитых снарядами, поломанных, измочаленных осколками стволов, на опушку робко вышли пехотинцы. Озираясь, пригнувшись, первые сделали несколько шагов. Взмахнул рукой «унтер». Двинулась цепь. Пройдя несколько шагов, «унтер» сначала почувствовал, а потом увидел глядящие на него над блином русского пулемета глаза. Мальчишеское, да нет, детское, конопатое лицо русского контрастировало с просто богатырскими, широкими плечами. А последнее, что увидел и осознал немецкий «унтер», перед тем, как грудь его разорвала очередь из пулемета, были совсем не детские, стальные глаза русского солдата. Глаза, полные уверенности и Правды.

После того как еще десять минут высотку ковыряла артиллерия, немцы утащили тела своих убитых. Они какое-то время потерянно, будто что-то осозная, бродили среди изрытой взрывами высоты, смотрели на полусыпанные, разодранные тела нескольких русских. И еще медленнее, часто оборачиваясь назад, двинулись в лес, за уходящими советскими ротами.

Я сидел над Ним на бруствере окопа и смотрел, как по огромному, 46-го размера солдатскому ботинку ползет муравей. Шух, шух, шух. Летел песок с лопатки Сани Савельева. Он из соседнего окопчика мужика поднимает. Тоже здорового, крепкого мужика в ботинках 45-го размера. Еще шестерых раньше вынесли.

Болтал ногой и думал. Вот если бы не унтера Он немецкого из пулемета приголубил.

Если бы зашел он, два метра молодости и силы, в этих здоровенных солдатских ботинках в красивый парадный кабинет. Туда, где сидят все эти Круппы, Ротшильды, Рокфеллеры и назначенные жирными кошельками Гитлеры, Гимлеры, Геббельсы. Взял бы их лопатами мужицких рук за сопливые носы, крутанул бы, чтоб слезы из глаз, вытряхнул из дорогих костюмов и кителей и свернул бы их цыплячьи шеи. Тряхнул бы остальных, что помельче, чтоб в штаны всё из кишок повыпало, и пошел бы землю пахать, баб любить и детей, внуков растить. Но нет, они «унтеров» немецких, румынских, итальянских и других всяких сюда к нам на высотки гнали и гнать будут. И их,

дурных, возомнивших какой раз себя великими, нам в прицелы видеть. Сидели мы над ними на песочке, чаек лесной пили, на небо тихое, голубое смотрели и думали. Где все эти умники, что талдычат о полезности войн в решении демографических проблем и проблем перенаселения? Может, сейчас валяются в койке больницы со шлангом гофрированным в горле и под тихий писк аппаратов медицинских молят, чтоб Господь им еще шансик дал да годочков отмерил. Не думают они, что были бы живы все в мире люди, те, кого войны раньше времени в клочья порвали. Может, кто из них давно бы лекарство от хворей всех придумал. Может сам он или внук его, неродившийся, звездолет с двигателем на какой-нибудь космической энергии придумал. И люди на других бы планетах расселились.

Так нет, будут жирные кошельки, субтильные, с пустыми глазами и цыплячьими шеями, из воротников дорогих костюмов торчащими. Новых Гитлеров бесноватых отыскивать и назначать. А те снова головы, без того дурные, дурить мыслями об исключительности и богоизбранности. И будем мы опять сквозь прицелы на Гансов, Джонов, Янеков и других всяких Урмасов смотреть и неродившееся Великое в землю снарядами закапывать.

Видно, не дойдет до «унтеров» никогда, что, покуда их тушки молодые и здоровые русский меч, штык, пуля рвет, где-то в дорогих кабинетах сидит человечек субтильный и барыш, заработанный на тушке его подранной, в карман дорогого пиджачка ручкой нежной, труда не ведавшей укладывает. Земля всех примет, но для пустых людей на том жизнь и закончится, вечную-то не продают. А те, кто продлить ее мог свершениями разными, — те в землю снарядами да минами закопаны. Так вот для пустых — темнота вечная настанет, а кто в душу человеческую верит, может, встретит там парнишку молодого конопатого в ботинках здоровенных солдатских и пойдет с ним и товарищами его дальше, к Свету.



Сейчас поисковый отряд, заезжающий на вахту, напоминает тронувшийся с насиженного места цыганский табор. Палатки, полевые бани, генераторы, полевые кухни, душевые, лаборатории для чтения медальонов, реставрационные мастерские, тонны продуктов, бутилированная вода, особо одаренные тащат даже сухие дрова и уголь в мешках. Всё это навьючено на крутые внедорожники, всякие вездеходы и квадроциклы. Это, наверное, здорово, прогресс не стоит на месте. Многие и не знают, как оно было раньше, с рюкзаком и под плащ-палаткой.

А было по-всякому.

До станции нужно было добираться на электричке. На платформе нам, неофициалам, да и некоторым официалам, появляться в походной одежде значило обречь себя на долгие переговоры с дежурившим там к приходу поездов нарядом милиции на тему: «Что тут забыл и какие весной грибы?» Ехали в обычной одежде и со спортивной сумкой или чемоданом. После прибытия поезда необходимо было, растворившись в толпе прибывших, затерять-

ся в деревне, дожидаться, когда уедет наряд. Тайком пере-
скочить пути и, юркнув в лес, найти там проводника, с
которым договорился заранее.

Проводники — это местные суровые дядьки, зачастую
со сроками за хранение оружия и других опасных вещей,
с которыми через три локтя знакомых было договорено
заранее о встрече. Интерес проводников был — как фи-
нансовый, так и использования городских дурачков в ка-
честве тягловой и рабочей силы при добыче артефактов.
Мы тогда слабо представляли ценность тех или иных воен-
ных артефактов, нас манил лес с его нетронутой военной
романтикой.

Встретив проводника, мы переодевались в походно-ры-
бацко-грибниковскую одежду. Перегружали четко рассчи-
танные на весь поход пакетики супов, банки тушенки и
фляжки с водкой в рюкзаки. Прокладывали это всё добро
плащ-палатками и кусками парниковой пленки и уxo-
дили в лес. Гражданская одежда оставалась нас ждать в
одном из схронов, устроенных проводником, с неясным
результатом, дождется она нас или уйдет в фонд другого
местного проводника. Такая мелочь совсем не заботила.
Мы в лесу, настоящем военном лесу. Где всё с войны, всё
настоящее, как обрез мосинки, немецкая кепка и ремень с
«курицей» у проводника.

В лесу тогда всё было очень сурово. Грохотали взры-
вы уложенных в костры мин и снарядов. Периодически
грохотали выстрелы поставленных на масть винтовок и
пулеметов. За какие-то «дивные» места шли настоящие
разборки среди разных групп, как «черных», так и «крас-
ных» копателей, а кто из них кто, поди разберись. Да и не
суть опять же, мы в лесу.

Проводник вел нас уже пятый день. Несколько раз мы
ночевали на одном месте, но больше шли и искали. Уже
неоднократно рюкзак был набит разным военным хламом.
Набит и высыпан за ненадобностью и набит снова «хаба-
ром» лучшего сохрана и заново высыпан. От рытья лопа-
той на корявой, вырубленной тут же палке сбиты в кровь
ладони.

Спина постоянно ныла от неумелой рубки крупного

лапника. Вещи пропотели и пропахли насквозь дымом
костров. Пленка, которой накрывался от дождя, вся была
в мелких дырочках, прожженных мелкими угольками. В
животе вечно выло от недоедания и болотной воды, и это
было счастье. Мы шли по войне.

Следы ее были повсюду. Следы в виде развороченных,
проржавевших остовов машин, целыми группами при-
ткнутых на старых просеках. В расстрелянных то ли тог-
да, то ли уже сейчас ржавых касках. В раскиданном вокруг
воронки сером авиационном алюминии. В воронках, наби-
тых сброшенными туда ящиками с минометными минами.
В просевших, но еще четко определяемых старых блинда-
жах.

Наш проводник только ухмылялся, когда мы, как стая
сорок, налетали на очередную кучу брошенного военного
хлама. Или облепляли станину взорванной съехавшей в
ручей пушки.

— Пошли, тут уже всё выбрали, — говорил он.

— Как так — выбрали??? Погоди, — и мы напихивали
рюкзаки заново.

Несколько раз проводник заставлял нас вытаскивать из
рюкзаков уложенные туда лопаты, насаживать их на све-
жевырубленный черенок и копать какие-то ему пригля-
нувшиеся землянки и блиндажики. А там... Несмотря на
сбитые руки и ноющую спину. Обрывки ремней, пряжки,
бутылки с иностранными надписями, консервные банки
1941, 1942, 1943 годов, фляжки, котелки, кружки. И хрен
с ним, что проводник забрал какую-то кожаную сумку и
фарфоровые тарелки и кружки. Они ж почти как граждан-
ские, дома почти такие же в столовой. А вот простреленная
немецкая фляга это Вещь.

А вечерние его рассказы о походах и байки военного леса
мы, как зеленые птенцы, слушали с открытым ртом. А хлоп-
нув по рюмахе, за каждым кустом нам мерещился матерый
эсэсовец в развевающемся кожаном плаще, в очках-консер-
вах на каске и верхом на мотоцикле БМВ «Сахара».

На шестой день, уже изрядно подыznосившись физиче-
ски и морально, уже ощутимо почесываясь не только от
укусов просыпающихся комаров, мы вышли на поляну с

остатками заброшенного поискового лагеря.

— В баню пойдем? — скидывая рюкзак у старого костровища, спросил проводник.

— Здесь? — пропищали мы.

— Не, там. — Он мотнул головой в сторону опушки, которая была вся избита воронками, по размеру калибром нашей полковой пушки или 120-мм миномета.

— Мы будем строить баню из пленки? — спросил самый смысленный из нас, тогдашних молодых офицеров. О нашем военном настоящем проводник, конечно, не знал, так как вряд ли согласился бы водить людей при погонах по своим зланиям.

— Почти. Ага, строить. Разведите костер и стаканы от шрапнели соберите. Их там горы накопаны, — сказал он, развязывая свой издававший ох какие виды сидор.

Стаканы шрапнельных снарядов — это тяжелые металлические чушки, выгрузившие на поверхность смертоносный заряд. Чушками этими раньше были засыпаны фронтовые леса. Теперь уже всё в музеях и металлобазах.

Мы развели костер прямо среди воронок, где указал проводник. Он притащил гору валежника почти в человеческий рост; когда огонь разгорелся, заставил нас свалиться в жар штук двадцать шрапнельников. И стал ждать, глядя на буйство огня. В какой-то момент, что-то увидев в пламени, он кивнул сам себе и сказал:

— Пора!

— Пора что? — Мы всё еще не видели замысла.

— Каждый выбирает себе две ворони. Кидает на дно две раскаленные болванки. Третью палкой опускает и остужает в верхнем слое воды. Потом аккуратно залазит в воронь, как в ванну, и намывается. Дно крепкое, грязь только от прелых листьев, вода торфяная — чистая.

— Офигеть. — Все выдохнули.

— А мыло смыть? — Кто-то решил сумничать.

Вытягивая из огня палкой раскаленную добела болванку, «поводырь» усмехнулся.

— Один из вас, клоунов, моется последним и в указанную чистую воронь кидает еще болванов. Мытый клоун выскакивает и перепрыгивает в чистую воронь смывать

грязь войны, — заржал наш учитель.

Народ забегал выбирая воронки. Засуетился с поиском надежных дрынов. Зашипела, запарила вода в черных омурах воронок. Тихая поляна стала похожа на комичный филиал ада, где грязные черти затапливали котлы. Горящий огромный костер, куча шмотья. Голозадые, заросшие, грязные мужики, шлепая босыми ногами, носятся с раскаленными болванками на палках. Болванки летят в черную воду, вода шипит и бурлит, выплевывая облака пара.

А потом блаженство оттираемого чистыми пучками намыленной прошлогодней травы тела. Мы были счастливы.

Казус случился, когда «поводырь» с папиросой откисал во второй, чистой ворони, а мы перепрыгивали из одной в другую, сверкая голыми намыленными задками.

На поляну со смехом и радостными криками вывалился какой-то студенческий отряд красных следопытов. Весь в полном составе, человек пятнадцать. С явно бойкими девицами, преподавателем-инструктором, седовласым мужичком в роговых очках на пол-лица и шапке-петушке, ну и весь а-ля «туристический бард с грушинского фестиваля».

Немая сцена!

Наш проводник оказался ближе всех к вывалившимся из леса и замершим в немой сцене из «Ревизора» следопытам.

— Добрый день. Отличная погода. Не правда ли? — вынимая бычок «Беломора» из стальной пасти и приподнимая козырек немецкой кепки, вымолвил «поводырь».

Мы, напуганные рассказами о злобных операх, егерях и прочих, тихо пускали пузыри, попрытавшись в своих лужах.

— Уважаемый, если вы хотите использовать сие место для базирования вашей группы, то вам необходимо ответить дам на опушку и подождать буквально тридцать минут, пока мы с коллегами окончим принимать водные процедуры, — продолжал источать галантность наш старшой.

Престарелый бард кинулся в тишине чуть ли не закрывать глаза своим барышням, коих в составе отряда, следует отметить, было большинство. Несколько юношей кучно пускали слюни на торчащий из наших рюкзаков «хабар». Девицы на-

чали тихо хихикать, наблюдая явную растерянность своего вождя, который, я думаю, не раз страшал их рассказами про «черных» копателей и как с ними он мужественно, до крови порой бился. А наш «шеф» да и вся компания были явным их воплощением.

Через тридцать минут мы, распаренные и счастливые, растворились в заросшем черной осиною предболотье. О нашем присутствии на поляне напоминали только тлеющие угли костра и парящие мыльные воронки.

Придя первый раз в лес, я был уверен, что «никто не забыт и ничто не забыто». Воспитанный в СССР я сто процентов знал, что последний и единственный Неизвестный солдат упокоился у Кремлевской стены. Не по молодости или скудоумию, а именно из-за этой, воспитанной во мне уверенности я думал, что все человеческие останки, которые я видел в лесу, принадлежат нашим убитым врагам.

Я шел в лес потому, что хотел почувствовать атмосферу той войны. Я хотел понять, как это было, что чувствовали воспитавшие меня фронтовики. Увиденное, а впоследствии осознанное отозвалось и осталось в душе обидой за павших и разочарованием в юношеских убеждениях.

Путь к осознанию, как всегда в жизни, был непростым, но выбранная дорога стала по-настоящему единственной.



Болото

Так получилось, что последние четыре года жизни я шел к этому месту. А может, я шел к нему еще дольше. Может, я был здесь когда-то давно, но тогда не понял и не осознал, что я здесь. Я заходил на Замошское болото с Земтиц зимой, весной с Южной дороги, осенью и весной с Керести, касался его краем, проходя по Глушице, ломился через чепургу Мясного Бора — и дошел. Дошел и тут многое осознал.

Мы протопали по лесу, прочвакали по болоту километры и вышли на болотную гладь. Вышли, сели у заплывшей воронки и курили, пуская в звенящую тишину клубы дыма. Наверное, сюда надо прийти одному, но мои товарищи, такие же как я, мне не мешали, задумчиво глядя в изумрудную даль болотной глади. «Держит место» — так говорят. Держит, хотя ты даже его и не видел. Слышал, читал, представлял — и держит. По этому болоту наступали зимой 1942-го, а потом отступали в конце весны и начале лета. Шли по болоту с машинами, орудиями, лошадьми и повозками. И опять шли, съев лошадей, взорвав и

утопив машины и тягачи. Несли на себе раненых, пушки, снаряды, мины, минометы и всё что осталось. Перли под непрерывными бомбежками, артобстрелами, ударами немецких штурмовых групп. Волокли, не жравши толком больше месяца. Тащили, стреляли, воевали, съев сдохших еще зимой лошадей, кожаные ремни, ботинки, ежеиков, лягушачью икру, обглодав всю кору с деревьев и ободрав все почки на высоту человеческого роста. Как? Я не знаю, я не могу представить и осознать. Как??? Где был предел их сил?? Был ли он? Как, что написать, чтобы те, кто живой ходит вокруг меня в городе, поняли это? Что рассказать, чтобы не читать комментарии к военным рассказам и фотографиям типа: «Отстой», «Муть», «Совки», «Старье». Какие найти слова, чтоб задумались? Чтоб почувствовали. Мне иногда кажется, что мы ходим по следам какой-то высшей цивилизации, населенной Высшими существами, наделенными сверхспособностями.

Мы пытаемся потомкам этих Великих людей рассказать о том, что они тоже могут и должны быть Великими, а эти потомки заученно лезут назад, в первобытно-общинный строй, где нет духовного, есть только сила и кусок мяса пожирнее, вырванный у того, кто послабее. Они даже гордиться не хотят, им проще обгадить, показав свою «типа неординарность и незашоренность пропагандой». Свою «типа отличную от всех точку зрения» на вещи, накачанную западными историками и исследователями. Мы, как какой-то тайный орден монахов бродим по обломкам этой Великой цивилизации, пытаемся сохранить то небольшое из человеческого, что осталось, а в ответ в лучшем случае — равнодушие. Не многие нашли в себе силы дочитать хотя бы до этого места.

— Чушь!!!

— Хватит жить прошлым!!!

— Надо жить будущим!!!

Каким будущим живут эти люди? Что создают? Что создали? Настоящим и для себя!!!

Как, где найти слова? Всех, всех строим я бы водил на это болото! Строим десятки километров через разливающиеся ручьи и канавы, по колено в грязи, проваливаясь в бо-

лотные окна по пояс, тащить волоком всё, что мы считаем важным и главным, без чего типа не можем жить. Компьютеры, планшеты, холодильники, душевые кабины, банкоматы и сотовые вышки! А потом тут попадать на болотный мох и услышать кто, жил будущим!

Я могу видеть в прямой доступности гладь метров на триста. Пять лет назад отсюда вынесли Сто семь человек. Сто семь на квадрате триста на триста метров. Болото сохранило имущество, но убило плоть тел. Гробовая, мертвая тишина и шелест. Шелест развешанных на чахлах елках кусков гимнастерок и шинелей, выбеленных солнцем, драных, посеченных пулями и осколками. Торчащие из мха обломки винтовочных прикладов, котелки, кружки, вещмешки. Куда глаза ни отведешь — везде качающееся на ветру солдатское сукно. Страшный в звенящей тишине шелест. Торчащие чахлые елки, темно-зеленый мох со светлыми пятнами там, где лежал человек, и как языческий памятник над этим местом — спина, рукав, подол шинели или гимнастерки, как строй болотных солдат.

Подумай они так, как мы, о будущем — руки кверху и за баварским. И цвело бы себе тихо мхом непотревоженное болото! Пусть на цепи, но сыт, а может, и цепь золотая будет, коли проявишь рвение. Стерилизация? Да пожалуйста, только кормите получше и цепь подлиннее отпустите. Не будет будущих поколений? Да что мне до них. Я жив и сыт. Те, кто родится всё же, и их на цепь? Да ладно, им-то что, все ж сыты. А они тут до конца тряпьем и телами своими пробитыми болото удобрили, но не сдались. Шелест, и гудит уже в голове. Прель болотная дурманит. Как тени по болоту бредут.

Кому я это пишу опять? Смысл? Кому это надо? Мне уже говорили, что бессмысленно всё, поздно. Неинтересна война эта. Так я же не о войне пишу, о людях. О других, о тех, с кого мы начинались Всё! О тех, кто любил, жил, трудился по-настоящему. Кто мимо беды не проходил, кто Всё, Что у Него Было, за Нас Отдал! Ничего им взамен не надо, лишь бы мы помнили и гордились, хоть бы чуток на них быть похожими хотели. Время не то? Опять власть не та, олигархи виноваты? Да ни при чем это. Во все времена власть

и еще кто-то был, во все времена несправедливость была. Просто иногда критическая масса порядочных и честных людей была выше, и от этого справедливей и лучше жилось всем. Только люди эти сами себя сделали. Своей массой человечности и чести дерьмо вокруг повыдавливали.

Страшное и Великое тут место. И я думаю, если хоть один человек до конца дочитает, если хоть один задумается, что не просто так он на свет родился. Что должен он жизнь свою тому, кто на пулеметную очередь встал. А так как не взять ее, мою эту жизнь, тому, кто в болоте poleg, то будущему он ее посвятить должен. Творить, а не воздух коптить, хоть дерево посадить на этой земле, хоть скворечник сколотить, но чтоб на века. Если хоть один поймет, что я хотел сказать, то не зря эти строки. А если ни одного... То и я, так и не оплатив Долг, уйду. Будем вместе Там перед Ними ответ держать. А ответ держать по-любому придется!



В тылу врага

**РАЗОБЛАЧАЙ
ВРАГА
ПОД ЛЮБОЙ
МАСКОЙ.**

Я долго думал, что мне иногда напоминает современная жизнь в моей стране. И вот методические рекомендации для тех, кто знает и понимает, что за страна была СССР, что несли стране и миру бойцы и командиры РККА. Это, наверное, пригодится тем, кто понимает и знает, что помимо прописанных в бумагах законов существует закон человеческий: что есть Совесть и Память. Память не показная для отчета, не та, которой прикрываются, завесив грудь щитом побрякушек из бронзы, а память ежедневная. Которая мозг и душу выворачивает от лицемерия и несправедливости.

Эта памятка для тех, кто помнит, что «живых к живым распределить всегда успеем...». А если о павших забыть, то и живые хуже мертвых станут.

Так вот для этих людей методика.

Вы в тылу врага, на оккупированной территории. Здесь у вас возникают проблемы с тем, чтобы похоронить с должными почестями солдат и командиров РККА. Зато нет проблем с увековечением погибших

солдат вермахта. Границы территории, захваченной противником, вы можете определить по состоянию воинских захоронений РККА, вермахта и войск СС.

Вам бесполезно обращаться к представителям оккупационной администрации: «старосты», «бургомистры», «полицейские», «службы безопасности». Староста скажет, что ничего не решает, — нет полномочий, идите к бургомистру, если повезет попасть к бургомистру и он поймет, что вы для него «опасный элемент» — общественник, читай «подпольщик и сопротивленец», на вас спустят полицию и службу безопасности и у вас найдут что-нибудь запрещенное и в лучшем случае дискредитируют отправят в или лагерь, либо на принудработы.

Вам однозначно не дадут достучаться до верховной власти, у вас на пути старосты, бургомистры, полиция и служба безопасности.

Вас будут пытаться завербовать. Простые вещи, о которых вы попытаетесь говорить: совесть, память и прочее, — будут изначально восприняты с деланным вниманием, с вами будут разговаривать как с буйнопомешанным. Томным голосом успокаивать, говорить о важности проводимой вами работы, обещать повсеместное содействие и помощь. Если увидят, что вы успокоились, вам предложат выступить на каком-нибудь митинге. Затем вручат грамоту от оккупационной администрации, может, даже медаль. Потом попросят пойти на маленькие уступки, типа флаг на гробу солдата РККА заменить с красного на какой-нибудь другой. Похоронить погибшего не сразу по прибытии его праха, а к дате, так как может прибыть бургомистр, а мертвый потерпит, терпит же семьдесят пять лет, и ничего. И если вы пойдете на это, дальше вам предложат пост в оккупационной администрации, и тут уже все ваши принципы будут растоптаны, так как вы уже замараны в связях с врагом и скрипучим голосом хозяина вам это разъяснят.

Как определить врага? Если староста или бургомистр сразу не понимает, о чем вы говорите, когда на вашу просьбу провести достойные похороны солдата или командира РККА, помочь ветерану Великой Отечественной войны

либо труженику тыла или просто пожилому немощному человеку, и предлагает собрать совещание и обсудить с коллегами — вы попали в руки противника.

Что нужно делать? Осознать, что вы в тылу врага. Искать «подпольщиков». Это люди, которые будут понимать, о чем вы говорите, и разделять ваши убеждения и идеалы. То есть простые, почти уже забытые человеческие ценности. У «подпольщиков» зачастую есть возможность распространять листовки и рассказывать об истинном положении дел на фронтах Совести, Памяти, Правды. Они сведут вас с партизанами. Это люди, которые делают то, что делаете вы, не обращая внимания на вражеское окружение, и частенько страдают от этого. Вы сможете объединиться и продолжать делать свою работу.

Верхом везения для вас станет, если вдруг с вами встретится глубоко законспирированный агент Центра. Это человек, занимающий высокий пост в оккупационной администрации, но разделяющий ваши взгляды на простые вещи. Он в силах оказывать ограниченное влияние на действия оккупационных чиновников. Агентов очень немного и становится всё меньше, так как им приходится всё чаще принимать меры воздействия на врагов и раскрываться.

Вам показалось это смешно? Мне тоже. Но жаль, что всё чаще этот смех застревает в горле, а на тебя с непониманием, а всё чаще и с ненавистью смотрят пустые, холодные глаза «старост» и «бургомистров». Ну что, ждем в гости «полицаяв»?



Ватник и совки

Дождь начался под вечер. Тяжелый, нудный, осенний дождь. Мелкая морось туманом повисла в лесу и подгоняла уставший организм в лагерь, под навес, к костру. День в поиске завершился. Истоптанные километры фронта позади. Вот уже слышен запах костра и ворчание дежурного в лагере.

— Давай круг двести метров сделаем, с низины опять зайдем, — предложил кто-то.

— Тысячный раз уже туда пойдем, что там делать, вынесли там всё уже, чудес не бывает, — ответил один и, сбивая с кустов влагу, ломанулся к костру, в лагерь.

Трое остальных, обреченно понутив голову, устало загребая ногами прелые листья, поплелись в обход через низину. Низина начиналась от наших траншей плавно и резко переходила в заболоченную канаву у подножья господствующей немецкой высоты.

Немецкой? Нет, нашей, занятой немцами. Кровью сотен солдат возвращенной. Дно траншеи было утыкано минами и, как паутиной, переплетено колючей проволокой.

Десятки лет отсюда мужиков выносили. Сначала взводами, потом отделениями, потом по-одному. Вроде всё прощедили до гильзы, до патрона, до пуговицы с гимнастерки солдатской, но что-то раз за разом тянуло на это стылое братское кладбище. Ноги захлюпали в черной жиже, прель листьев под ногами стала зыбкой, холодные капли, падая с веток разросшихся кустов за шиворот, раздражали и еще быстрее подталкивали пройти гиблое место и бежать к костру. Как-то неуверенно завякал минник. Один из компании залип на звук, шаря «клюшкой» над источником сигнала и вглядываясь в припорошенную листвою, чью-то старую «закопуху».

— Жбонь, со старого раскопа, — обронил пробирающийся через кусты товарищ.

Хозяин вякающего минника продолжал слушать сигнал и искать отмазку в голове, чтобы не лезть в холодную грязную жижу.

— Длинный какой-то сигнал. Может, ствол? — вроде как сам себе пробормотал под нос.

Вывалившийся с треском из кустов, как леший, самый молодой участник «концессии» резво засунул красную от холода лапу в грязь и начал шурудить в ней пятерней.

— Во! — С детской счастливой непосредственностью он выдернул из грязи проржавевший до состояния вязальной спицы винтовочный шомпол.

— Я ж говорил, жбонь, — разворачиваясь в сторону дыма, буркнул «пессимист».

— Погоди, глянь он со ствола сдернут, направляйки остались, но вроде не гудит больше, — всматриваясь в грязь, сказал хозяин минника.

Там, откуда молодой выдернул шомпол, на испачканных грязью листьях белели фаланги пальцев.

Взрослые, сев на поваленное дерево, закурили. Дым сигарет, смешиваясь с водяной взвесью и дымом костра, полз по земле и кучковался облаками там, где лежал погибший.

— Винтовку-то дернули, а проверять не стали, — буркнул молодой.

— Ну вот, завтра поднимем или сейчас нырнем? — как-то немного расстроено спросил «пессимист».

Человек с минником задумчиво смотрел на клубящийся у земли туман, смешанный с дымом и гарью костра.

— А ты как думаешь? — беря в руки лопату, вопросом на вопрос ответил молодой.

В три пары рук пробили границы, выкопали отвод и канаву под воду. Притащенной с высоты более-менее целой каской отчерпали воду.

Он почти дошел до подножия высоты, прошел по телам товарищей минное поле. Под струями пулеметных очередей одолел колючку и продрался через МЗП. Встал на твердую сухую землю, пригнулся перед решающим броском в их немецкую траншею на нашей высоте. Он уже видел глаза под срезом чужой каски. Злобные, но уже подернутые поволокой страха, липкого страха перед расправой, страха, готового переродиться в ужас. Видел эти глаза и, сжав до белых пальцев цевье винтовки, шагнул. Очередь ударила в грудь на подъеме. Ударила, бросив назад, в жидкую грязь низины. Рванула грудь и в клочья сердце. А мозг жил. Видел, как погружается в размешанную сотней сапог жижу тело. Как, оскалив в крике рты, врываются в траншею согнутые тени товарищей. Видел, как сверкнув ужасом, потухли от удара пехотной лопатки глаза под срезом каски. Кто-то или что-то другое сверху видели тускнеющие серые глаза на молодом лице и белые костяшки пальцев, сжимающие винтовку.

— Ватник, — согнав видение, резануло в шелесте дождя.

— Кто ватник? — раздраженно с рождающейся угрозой спросил «пессимист».

— В смысле «кто»? На нем ватник, — протягивая черный лоскут драной ватной куртки с такими узнаваемыми строчками продольных швов, ответил молодой.

Черный, ветхий кусок бережно, как самая дорогая вещь, пошел по рукам. На секунды задерживаясь в измазанных грязью, красных от холода зябких ладонях, он что-то знал, что-то передавал им, что-то дарил. Делал что-то важное. Не передаваемое словами. Он воспитывал молодого и укреплял в чем-то уверенность взрослых, давал силы.

«Ватник», «совок». Слышу я часто в свой адрес. Вы думаете, вы меня обидели? После того как я в руках держал сот-

ни их, простреленных ватников и шинелей, на всем протяжении огромного фронта от Бреста до Мурманска? Да для меня нет почетнее прозвища, чем это!

Кто вы, брызжущие ненавистью и презрением, шипящие большей частью в спину с интернет-страниц: «Совки, ватники!» Кто вы такие? Потомки лордов, графов и баронов? С рязанскими лицами? Кто построил дома, в которых вы живете? В школы, открытые и построенные кем вы ходили? Кто, надрывая жилы на заводах и фабриках, кормил и одевал вас? Нефть, газ, золото, за счет чего до сих пор живет эта страна и вы все, кем открыта и отвоевана ценой двадцать семь миллионов разодранных пулеметными очередями, кровью залитых ватников?

Не предали ли вы своего упавшего в рваном ватнике у подножья высоты деда? Ловко, как великий повод для гордости, заменив его раскулаченным, репрессированным прадедом. Постарались забыть, с упорством обреченного выколупывая в своих корнях родство с какой-нибудь «голубой» кровью помещиков и дворян.

Я могу понять правнуков, уехавших в эмиграцию, выросших в других странах. Их высокомерие и яд для меня объяснимы. Они не должны этой стране. Не их она вырастила, выучила, выкормила, защитила грудью своих солдат. Но тех, кто имеет все благодаря жизням и труду так презираемых вами «ватников» и «совков», я не пойму. Сладострастные, с закатыванием глаз рассказы о богатых хуторах, высоких чинах и титулах, отобранных большевиками. Так о чем вы мечтаете? Стать баринком и гонять нас, челядь? Стать «хозяином жизни» по праву крови и родства? Так ваши-то предки свои поместья и титулы тоже когда-то кровью и потом заслужили, не раздавали их величества титулы даром, не дурные были. А вы-то мечтаете на халяву.

Дед моего друга, уходя на фронт в 1941 году, собрал всех своих детей и сказал: «Когда-нибудь вам скажут, что меня раскулачили. Знайте, это неправда. Раньше, чтобы вызвать доктора к любому из вас, мне нужно было зарезать барана и продать, чтобы оплатить его услуги. Чтобы хоть одного из вас отправить учиться в город, я должен был всю скоти-

ну пустить под нож, чтобы оплатить учебу, и еще не хватило бы. Я сам всё отдал в колхоз. И у каждого из вас теперь есть миллион возможностей вырасти и стать человеком». Развернулся и ушел навсегда. А все его дети, как бы тяжело ни было в военные и послевоенные годы, выучились и стали уважаемыми людьми. Уважаемыми — не за стада и поместья, а за свою работу, голову и руки.

Я не «красный» и не «белый». Я знаю историю своей семьи, в которой были все: и дворяне, и крестьяне, и солдаты, и офицеры, и репрессированные, и раскулаченные, и настоящие коммунисты. Но больше всех я горжусь своими, да и вашими, вами преданными «ватниками» и «совками». Теми, кто из руин дважды страну поднял, теми, кто Мир спас от пепла крематориев и концлагерей, теми, кто после такого в нелюдя не превратился и с самой светлой в мире улыбкой в космос полетел. Им, их памяти я по жизни или жизнь должен. Их считаю Величайшим творением Бога и Человечества. И нет смысла мне говорить про власть и вождей. При любой власти и любых вождах люди живут. И оценка государства и его правителей для меня в количестве честных, равнодушных, искренних в чувствах, простых людей. А то время в общей своей массе явно выигрывает по сравнению с другими. И не реваншизм это, не имперские амбиции мною двигают. Двигает память о простых людях, которые могли творить чудеса. Память о тех, кого предали и продолжают предавать и грязью мазать.

А как знамя у меня разодранный пулеметной очередью солдатский ватник. Это чтоб глаза жиром не заплыли и титуты с поместьями родовыми не мерещились.



Воронка

Воздух стоял жарким маревом над болотом, словно вчерашний кисель. Гудел и выл мириадами комаров, прорезался пронзительным жужжанием слепней и оводов. Иногда жужжание нарастало, перерастая в звенящий вой, и увеличившаяся до размеров самолета точка стремительно, коршуном падала куда-то в центр болота, и там раздавалось тяжелое «АААА-АААХХХ!». Всё болотное тело вздрагивало моховым покрывалом, а на его глади, словно проеденная молью, оставалась зиять черная воронка. В этом гудящем кисельном мареве по болоту брели люди. Десятки, сотни, тысячи людей. Несмотря на жару, они шли в шинелях, ватниках, куртках. Изможденные тела не согревала ни одежда, ни жаркое июньское солнце. Тучами висящий вокруг людей гнус безуспешно пытался вгрызаться в их просмоленную кострами, порохом и запахом смерти кожу. Люди даже не отмахивались, не было сил. Только когда над болотом появлялась тень пикирующего самолета, они приседали над болотными полыньями, ложились на край и жадно пили черную торфяную воду.

AAAA-AAAAXXX! Шлепками оседает сорванная взрывом трясина, на зелени чернеет новая плешь воронки, а люди поднимаются и бредут дальше, окруженные черными облаками неистовствующих насекомых. Поднимаются далеко не все. Кого-то поглотило болото, кто-то просто обессилел, кто-то грязным тряпьем обматывает алую от крови культю оторванной ноги, кто-то трясущимися, черными от грязи руками запихивает в распоротый осколками живот сизые кишки.

Обессиленные, покалеченные люди, как большие муравьи, сползаются к черным проплешинам воронок. Здесь есть вода, значит, какое-то время есть жизнь. Иногда из строядвигающихся вереницами людей выпадает группа, подводит к воронке раненого, подтаскивает самодельную волокушу с телом, оставляет у края и, не оглядываясь, пряча глаза, уходит к лесу. А вычеркнутые из списков живых остаются у воронки. Для них уже начат их личный последний отсчет.

Строй живых обтекает язву черной воды. Кто-то отводит взгляд, кто-то тихо матерится сквозь зубы, кто-то смотрит на вычеркнутых с жалостью, а большинство, машинально переставляя ноги, топает, глядя в моховое одеяло. Они четко осознают, что их судьба может оборваться у следующей черной воронки.

Однорукий сержант с перебитыми ногами приладил в котелок конское копыто с несорванной ржавой подковой, сползал до края, черпанул воды и, кряхтя, высекает из трофейной зажигалки искры на сухой мох под котелком. Два командира с темными пятнами от сорванных петлиц, имеющих на двоих две руки и ни одной ноги, растапливают в котелке конский жир. Трое тяжелых с распоротыми животами стекленеющими глазами тихо прощаются с голубым небом. Кто из них еще его видит снизу, здесь, с земли, уже не понять. Пожилой солдат с края воронки всёчерпает котелком черную воду и жадно пьет, а она вытекает, став розовой от крови, из пропоротого немецким штыком живота.

Воронка стала их вселенной, их последним домом, последней кормилицей. Вот из строя выпали двое, поднес-

ли к краю воронки сверток плащ палатки и оставили. На плащ-палатке, обожженной до состояния головешки, куклой лежал человек. Впившиеся в кожу ошметки то ли танкового, то ли летного комбинезона, черное, в красных прожилках запекшейся лопнувшей крови лицо.

— Пить... Пить.. — стонал раненый.

Сержант, варивший копыто, оторвался от своего дела, поднял голову, поморщившись от боли, просипел:

— Котелок или флягу ему оставьте, я попою. И морфия вколите, если есть, сколько не жалко. А мне вот огонек разведите и топайте.

— Ему нельзя, — извиняющимся тихим голосом сказала девушка или женщина военврач, стоявшая над плащ-палаткой с телом.

Сколько ей лет? шестнадцать, а может, шестьдесят. Седые, давно не мытые волосы, черные круги под глазами, острые от недоедания скулы, потрескавшиеся или искушенные белые губы.

Сержант усмехнулся и тут же скривился от вспышки боли.

— Тем, кто здесь, теперь всё можно. Нам теперь успеть бы то, до чего дотянуться можем.

Застонал и забился в конвульсиях раненый с распоротым животом, засучил ногами, сдирая до черного зеленый мох. Голова упала на обрез воды, и изо рта розовой струйкой назад из человека в воронку потекла вода.

Женщина извлекла из сумки шприц с лекарством и уколола обожженного, пришедший с ней солдат отцепил от вещмешка котелок, набрал воды и стал вливать в рот раненому. У сержанта под котелком заплясал огонек.

Обожженный сипло выдохнул, губы изогнулись в улыбке, обнажая красивые белые зубы и окропляя их кровью из треснувшей черной корки.

— Идите, вы там нужны, — сказал, бледнея от боли, сержант.

Над лесом садилось солнце. Люди шли, брели, ползли. Вперед, на прорыв, туда, к нашим, к жизни, к будущему.

А на болоте, будто другая вселенная, жила и умирала воронка.

Все они, все, о ком я вам рассказал, могут встретить вас на воинском кладбище Мясного Бора. Было и копыто в котелке, и жир. Были и все эти люди. Были и те, кто вернул их к товарищам, туда, куда они не дошли, разбросав свои тела по вселенным воронкам от Замошского болота до Мясного Бора. Сержант, Командиры, Обожженный, Вживот, Савеля, Орел, Михална, Длинный. Все они были и есть. Есть и воронка на Замошском болоте, есть Вселенная. А вот мы-то есть или тени?



Всепрощение и всепрощатели

Люди называли человека венцом творения. Но сами люди, в отличие от большинства животных, убивают себе подобных. Люди лицемерят и лгут просто так, не имея какой-то конкретной цели. Люди уничтожают свой Дом — свою планету. Так почему же он венец? Я давно не делю людей по политическим убеждениям. Смысл? Ведь сами эти убеждения, они либо есть, либо просто используются теми, кто вообще не имеет никаких убеждений. Поэтому я делю людей на честных и нечестных, на убежденных и людей без убеждений, то есть пустых.

Вот, казалось бы, мы так много говорим о Войне, о Победе, мы боремся за сохранение истории своей страны. Мы требуем уважать Победу наших предков от всего мира. А сути происходящего у нас в стране мы будто и не замечаем. В День Победы потомки двадцати семи миллионов погибших в самой страшной войне возлагают цветы на могилах палачей своих предков. Всё это происходит под знаменем либеральной партии и лозунгами о мире, всепрощении.

Возложение цветов к могиле — это ритуал признания. Ритуал памяти и скорби. По чем и по ком скорбят господа на сборном кладбище нацистов? По убитым немецким солдатам? Убитым кем и за что?

Советскими солдатами за уничтожение своего народа, за бессмысленное, кровавое сопротивление вплоть до весны 1945 года. За сотни и тысячи отнятых жизней тогда, когда уже видно было Красное знамя над рейхстагом. «Мы должны простить», — говорят эти господа. Кто вы такие, чтобы прощать? Кого прощать? Немцев? Их простили Советские солдаты, когда, как бы им ни было сложно, смогли, войдя на территорию рейха, отделить немцев от нацистов. Немцы сидели в концлагерях, стояли в очередь за едой у советских полевых кухонь, дезертировали и сдавались в плен. А нацисты с оружием в руках до последнего патрона бились за свои нацистские убеждения и своего идола — фюрера; именно они лежат на сборных кладбищах.

Мир не достигается всепрощением палачей, мир достигается памятью о зверствах нелюдей. Красиво получается лицемерно простить не страдая?

А теперь все, кто говорит о прощении, о мире и заблудших душах немецких солдат, забудьте об авторе этих строк и, включив воображение, сами себе ответьте на вопрос: «А смог бы я простить?» Простить, когда немецким сапогом мне выбили зубы, а я пытался спасти от изнасилования десятком солдат свою мать. Когда мою маленькую сестру, оторвав от груди матери, хохоча, бросили на сталь штыков, а ее бездыханное, растерзанное тело швырнули на корм свиньям. Смог бы я простить годы унижений и животного существования в лагере смерти, где даже не вовремя опущенный взгляд мог послужить причиной жестокой пытки или смерти? Смог бы я простить, если бы при мне моих детей швырнули в окно горящего дома и до конца жизни я бы слышал их нечеловеческий крик, крик сгорающего заживо ребенка? Моего ребенка. Смог бы я простить палача, терзающего тело моей жены? Смог бы простить мою растоптанную и униженную мужскую гордость? Смог бы я простить свое бессилие перед сильным, наглым, вражеским солдатом? Ответ — Нет!

Мы соседа, случайно поцарапавшего на стоянке у дома машину, простить не можем.

Так что это за разговоры о всепрощении? Это предательство! Лицемерный политический ход людей без принципов и убеждений, это мерзкая, возможно, проплаченная акция, нет, не деньгами, а обещаниями покровительства. А кому это выгодно сейчас, через столько прошедших лет? Не всё ли уже равно? А вы подумайте сами! Кому выгодно из палача сделать жертву? Кому и для чего выгодно забвение преступлений? Ответ очевиден! Новым зарождающимся палачам. Новым колоннам, чистящим сапоги перед «Дранг нах остен». Ведь прощение и оправдание палачей убивают страх перед расплатой у новых убийц. Новые убийцы видят себя непобедимыми вершителями судеб. А цветы на могилах убийц рождают в неокрепших новых душах сомнения и безнаказанность. Кто-то скажет, не по-христиански? Не по-христиански — лицемерить и прощать за чужой счет, не пережив и не перенеся боль. А наши предки, хоть и были в большинстве своем атеистами, смогли простить. Смогли не мстить детям и женам палачей. Смогли отделить народ от нацистов. А наши современники не могут. Или не хотят.

Можно прийти на немецкое военное кладбище и, постояв в тишине у могильных плит с фамилиями на немецком языке, представить, сколько молодых, сильных, одурманных властью оружия, упивающихся этой властью над людьми, осталось в нашей земле. Можно подумать о кровавости войны. И о неизбежности расплаты! Но это здесь должны делать потомки немцев, венгров, румын, итальянцев, испанцев, датчан, норвежцев, финнов, французов и других, чьи фамилии на этих черных плитах. Это для них оставлены на нашей земле эти кладбища. Оставлены, а не сметены в канаву безвестности бульдозером истории. А для возложения цветов для меня и остальных нормальных людей есть тысячи кладбищ и братских могил Советских солдат. Забывая о преступлении, мы сами совершаем преступление перед памятью жертв и порождаем новое преступление, которое, возможно, будет совершено над нашими детьми.

Голоса

Слышим ли мы Их голоса? Не знаю... Ночью они меня не будили, к местам своей гибели не звали. Те, с кем я живу в лесу, вам тоже не ответят точно. Звать же не обязательно криком, звать можно душой. Звать, просить, беречь, защищать. Слышать, помогать, спасать. Душой, если она есть!

Вой мины на излете... Фииниуууухххх! Чвак! Дум! Болотный, грязный пузырь разрыва плюнул черной слизью. Ошалелый взгляд взмыленной, худой лошади. Черной от болотной жижи, только белая пена клоками на оскаленных, желтых зубах. Плях! Грязное бревно ухнуло под лошадиные ноги. Скрюченные черные пальцы впиваются в черный гусматик огромного колеса и исчезают в его черноте. Красный оскал десятков ртов.

— Ииииии рааааззз! — выдох в хрип.

— Ииииии дддддва! — сиплый вдох.

Шшшшшууууухххх! Даххх! Разрыв снаряда у гати. Дзень, дзень. Осколки по щитам и станинам. Надсадное ржание последней несъеденной полудохлой кобылы. Вскрик раненого человека. И дальше:

— Ииииии рааааззз!

— Ииииии дддддва!

Заляпанные грязью и тиной, почерневшие от пороха огромные стволы гаубиц. Такие же черные от пороха и грязи люди. Словно разрезают изумрудную болотную скатерть черной гатью. Как будто пачкают посеченными осколками полами грязных шинелей зеленый мох. Тянут свою черную черту от одного края болота к другому.

— Ииииии рааааззз! — Синие вздувшиеся вены на бледном лбу, пальцы соскакивают с провернувшегося в болоте колеса.

— Ииииии дддддва! — Жилы рельсами на шее у острого кадыка.

Многотонная глыба орудия вырвала у болота метр.

Остатки тяжелого гаубичного полка РГК с тремя оставшимися снарядами на ствол третий день режут гатью болото. На себе, на своих солдатских спинах и руках тащат матчасть.

Дах, дах, дах! Зачастили разрывы там, у дальнего леса, где остался арьергард. Вскинулись заполошно, очередями и редкими залпами стукнули винтовки и пулеметы. Там начался бой. Последний бой тех, кто каждой жизнью оплачивал минуту и шаг живых. Выстрел, секунда, жизнь, шаг. Вот она — цена.

Справа, слева от видимой полосы гати прерывистые пунктиры следов рисует бредущая по болоту пехота.

Ииииииуууу, чвяк, дум! Черным пузырем разрыва прервалась цепочка следов. И рядом, рыжим бугром на зеленом покрывале мха, оседает солдатская спина.

— О, гляди, букарахи поплыли! — Савеля разгребает в черном окне болотной жижи всплывающие сухие опарыши. Ремень, подсумки, ботинки, монетки, мундштук, ложка и черное в черной воде... То, что раньше было человеком.

Есть петлички и лычки, а хоронить нечего. А рядом в моховом провале воронки, среди жмени застрявших в моховой подушке осколков немецкой мины, разодранный взрывом сапог и портсигар. И где-то рядом смотрит душа.

Звали они нас? Савелю, Длинного, Дедушку, Леху, меня. Спросите — посмеются только.

— Кто звал? Букарахи? Не смеши!

А потом будут задумчиво смотреть на вещи у края болотной полыньи и курить в кулак, шурясь от дыма или от накатившей слезы.

— Ииииии рааааззз!

— Ииииии дддддва!

Колесо орудия, облепленное солдатскими руками, выкатилось на твердую землю. Продолжая его движение, люди попадали у огромной пушки. Пар туманом поднимался над мокрыми спинами. Черно-зеленым исполином в этом потном мареве высился ствол гаубицы.

— К бою! — прохрипел командир.

— Сержант, возьми катушку, телефон и назад. Обеспечить корректировку огня! — отведя взгляд в сторону, бросил комбат. Он понимал, путь обратно, по черной раздолбанной тяжелыми колесами гати, — это дорога в один конец. Но также он знал, одна секунда, один выстрел, одна жизнь и десятки, а может, сотни спасенных жизней.

Сержант молча скинул шинель. Постоял, огляделся, потом поднял ее, подошел к лежащему на самодельной волокуше, трясущемуся в ознобе раненому пехотинцу, укрыл его. Раненый пошевелился и протянул трясущуюся от слабости руку, сжатую в кулак. Сержант подставил ладонь, и туда тонкой струйкой посыпались мелкие частички махорки вперемешку с пылью и мусором. Кто-то протянул затертый обрывок газеты.

Закинув за спину карабин и катушку с проводом, он смотрел на затянутое тучами небо и курил. Расчет молча сидел на развернутых станинах и смотрел на него, не решаясь вымолвить и слово. Встрепенувшись, будто опомнившись, выпустив последнее облако табачного дыма, будто вспомнив: «Одна секунда, один выстрел, одна жизнь». Не оглядываясь, он двинулся по болоту назад, туда, где все реже и тише звучали выстрелы. Скрипнула, завращавшись, катушка. Вздрыгнули люди на станинах. Подняли горячие глаза раненые, лежащие тут и там под исклеванными осколками деревьями и кустами. Красная нить трофейного провода, связывающего сержанта с оставшимися на этом берегу, легла на зеленый мох болота. Еще несколько

минут слышны были вязкие в болоте шаги и тихий шелест вращающегося барабана с проводом. Потом всё стихло. Дернулся провод, и все, замерев, смотрели на эту подрагивающую нить, веря, зная, осознавая, что там, на другом конце, живой, пока еще живой их товарищ, солдат идет, как молитву повторяя:

— Одна секунда, один выстрел, моя жизнь, их жизни.

Его накрыло прямым попаданием. Размазало по стенке небольшого окопа чудовищной силой смерти. Впечатало в землю и вышвырнуло, разметав по поверхности то мягкое, совсем некрепкое, что называется человеческим телом. Вдавило в грязь и смешало с железом кости, надежды, мечты. Припечатало, оборвав навсегда, и, как надежду или посмеявшись, оставило целой маленькую эбонитовую капсулу с запиской.

«ФИО / Ибраев Федор Георгиевич. Год рождения / 1914 г. Домашний адрес / Кировская область, Шурминский район, Васкинский с/с, деревня Ешпаево. Ибраевой Елизавете Ивановне. Сообщить по адресу». Сержант, радиотелеграфист.

Звал ли он кого-то? Виделся ли во сне Денису Евстигнееву или Сереге Никитину? Спросите. Посмеются в ответ.

А передо мной в земле лежала раздавленная взрывом телефонная трубка, торчал оборванный провод, уходящий в никуда. А из трубки я слышал хриплый шепот.

— Спасибо, сержант. Одна секунда, один выстрел, твоя жизнь, наши жизни.

Я слышал? Мы все слышали! И вы, пожалуйста, услышьте.



Горящие камни

Год назад мы были тут весной. По местным меркам — ранней весной. У подножья скал и в каменных ложбинах лежал снег, и мох на болотах был блекло-зеленого цвета с рыжими подпалинами. Везде, во всех углублениях сверкала и отливала чернью вода. Алым горела на кочках прошлогодняя брусника. Погода тогда нас тоже не радовала, все десять дней на скалах висел дождь и туман.

Теперь это лето. Местная природа не меняется кардинально с временами года. Зима и лето — вот яркие смены времен года. Весна, осень и лето — это как в доме генеральная уборка или косметический ремонт. Смахнули пыль, чуть обновили краски, и новый сезон. Ели и сосны стали насыщенно-зелеными, мох на болотах и скалах избавился от рыжего и блестит однотонным изумрудным покрывалом. Черная, прелая хвоя на скалах выметена ветрами и прикрыта свежей невысокой травой. Черные болотные окна воды высохли и исчезли. И даже воздух, без тумана и вечно висящей мороси, будто стал прозрачнее, как в чисто убранном доме.

Вот мы снова здесь. Под ногами хрустит матрас из упавшей колючей проволоки, нещадно уничтожая сапоги и брюки. Изделие рейнских заводов до сих пор на своем посту и, как старый беззубый пес, пытается укунить обломанными клыками. Лабиринты траншей, волчьих ям и блиндажей опоясаны спиралью Бруно и множеством зенитных пулемётов.

Тишина. Здесь почему-то всегда тихо. Даже местные, смеясь, говорят, что здесь всё в одном экземпляре. Здесь живет один старый медведь, одна россомаха и один ворон. Как часовые, охраняя поле боя по флангам, они разместились на старой передовой.

Обходя высоту, составляя себе в голове схему обороны, я не имел какой-то конкретной цели, просто решил обойти по кругу всё. Скала крутит, водит теми путями, которые нравятся ей. Нельзя даже с навигатором выстроить прямой маршрут. Какие-то абсолютно одинаковые чахлые, заболоченные перелески, линии траншей и болотца. Постоянные подъемы, спуски, и ты оказываешься совсем не там, куда шел. А отсутствие солнца и ярких ориентиров не дает шансов даже местному егерю, который, как-то раз заблудившись, ночевал в лисьей норе.

Выйдя с очередного болота, я увидел знакомое поваленное дерево и понял, что вышел я на то место, где в прошлом году я встретил солдата. Да, я верю, что мы их не находим, а встречаем. Ведь мы их встречаем на своем жизненном пути, это же люди. Пусть в этой реальности их нет, но их тела здесь, а души, может, где-то рядом.

Сидя на поваленном дереве, я закурил. Дым в преддверии дождя стелился по земле, как дымовая завеса. Как живой цеплялся за ржавые шипы колючей проволоки и рвался.

— Вернулись? — Он стоял рядом с воронкой, в которой погиб.

— Вернулись. А ты как здесь? Тебя же похоронили в прошлом году.

— Похоронили то, что ты нашел. — Он грустно усмехнулся и сел на пень.

— Но ведь душа твоя должна упокоиться и ты должен быть далеко? — недоумевал я.

— А кто сказал, что она была до этого не упокоена? С чего ты решил, что вы, живые, можете ее упокоить? — Хитро прищурившись, смотрел на меня.

— Я не задумывался над этим, — тихо ответил я.

— Душе дать покой может только тот, кто ее создал, — вот и весь короткий ответ.

— Я понял или постараюсь понять, — сказал я.

— Молодых привезли? Правильно это. Всё это для вас, для живых. Было еще для тех, кто нас ждал, кто ночами не спал, мучаясь в неведении и неизвестности, но их уже в живых давно нет. Сейчас для тех, кто помнит, а больше для тех, кто забыл. — Он смотрел вдаль, туда, где за сотни километров шумели города. — Ты всё увидеть хочешь, что здесь было. И они, молодые, должны увидеть. Только вы всё пытаетесь глазами увидеть, а надо сердцем и душой смотреть, тогда увидите. А тот, кто души создал, он еще решает, когда нам вам на помощь прийти, а если не спасти, тогда и душа в утиль навсегда. Зачем она, раз она бракованная?

Он опять усмехнулся и ушел в скалы, как тогда, год назад. Чуть-чуть сутулясь, шелестя полами шинели и сверкая черенком алюминиевой ложки, засунутой за обмотку солдатского ботинка.

А мы увидели. Я верю, увидели все.

Увидели, как до последнего в хлипких траншеях у подножья горы лупил парящий пробитым кожухом «Максим». Как ползком в стеклянных флягах и котелках бойцы Загов Г. и Дадаш тащили к нему болотную воду и падали, сраженные очередями. Как пулемет исчез в огненном всполохе разрыва и грохотом покореженного металла осыпался на скалы. Как упал на дно траншеи с оторванными снарядным разрывом ногами солдат, как сползший от следующего разрыва валун накрыл его тело. Как навзничь падали и погружались в болото бойцы и командиры наступающих цепей. Как трассера грызли стволы вековых сосен, пытаясь добраться своим жалом до прячущегося в корнях солдата, и добирались. Мы видели, как, на соседнюю высотку бежала густая цепь и между скал билось «ааааааааа!», подхваченное сотней глоток. Видели, как,

пронзенные пулями, они обнимали колючую проволоку и висли на ней уже бесчувственными мешками. А по их телам, как по мосту, карабкались через проволоку живые. Видели как они ворвались в немецкую траншею и как началась рукопашная.

Видели, как падали сраженные нашими штыками немцы и финны. Видели, как они бежали, отстреливаясь, во вторую линию траншей и что многие не добежали. Видели, как швырнув в траншею гранату, оскалив в крике рот, одним из первых в нее ворвался ефрейтор 85-й морской стрелковой бригады Никулин Николай Николаевич и упал, сраженный пулей. Видели, как погибали окруженные, отрезанные от своих, немногие выжившие наши бойцы. Мы видели, как их тела еще долго красными брызгами разлетались от шальных разрывов по нейтральной полосе перед колючкой. Слышали мокрое чваканье пуль, вонзавшихся в мертвую разлагающуюся плоть. Чувствовали тяжелый запах тлена над передовой. И просыпались ночью, слыша шелест мертвых рук, качающихся от ветра на колючей проволоке. Мы видели, как хохочут в теплых натопленных блиндажах их убийцы, закусывая сухое мозельское вино датскими сардинами, голландской селедкой и португальской треской. Видели и не забыли, кто снаряжал убийц на преступление, кто кормил их и одевал.

Мы видели, как потом через год после этого боя встала стена разрывов, накрыв высоту. Как заволокло гарью небо. Чувствовали, как дрожала земля от разрывов тяжелых снарядов и эрэсов. Видели, как лавиной наша пехота втекла на склоны и как трупами убийц наполнились траншеи. Видели, как они бежали, бросая технику, оружие и снаряжение. Видели, как оглядывались они со страхом в расширенных глазах на заросшие соснами скалы. Мы слышали, как враз рухнула на скалы тишина, и лишь ветер брнчал ржавыми касками на березовых крестах и шевелил разноцветные волосы на оскаленных черепах немцев, финнов, норвегов, датчан, голландцев и шведов с серебряными молниями на истлевших черных петлицах

Видели и они, шагнувшие за порог, видели, может быть стоя рядом с девчонками, что на тринадцати

метрах раскопа собирали по косточке разорванное чье-то родное тело, видели их живые глаза, наполненные таким взрослым пониманием и ответственностью, видели в этих, почти детских, глазах жизнь. Не алчность, не равнодушие, не пустоту лжи и лицемерия, а жизнь. Видели и, наверное, радовались этой молодой жизни.

А на прощание мы услышали:

— Возвращайтесь. Мы ждем.

Шелест тихих шагов.



Хватит жить прошлым

Километры пройденных лесов, болот, высот. Ржавые каски, ящики минометных мин, диски от пулеметов, тонны стреляных гильз и осколков. Воронки, блиндажи, траншеи, землянки. Дождь, снег, солнце. Тишина. Шелест ветра, журчание ручейков и тишина.

«Когда вы уже закончите эту войну? Вы еще татаро-монгольское иго вспомните! Хватит жить прошлым! Надо красиво и хорошо жить сейчас».

Кочка в болоте. Тук, тук, тук... Мох в сторону. Расколотая солдатская каска, темно-коричневый, ржаво-рыжий лоб, черные провалы глаз и почти жемчужно-белые зубы. Выдох, нашли!

«Надоела уже ваша война! А что ж вы Куликово поле не вспоминаете?»

Каску на пенек, мешок на плечо. Пошли, брат, домой, твоя война закончилась. А наша?

«А что вы не трясетесь так над Отечественной войной 1812 года?»

Не слушай, солдат, пойдем. Это в моей голове в лесной тишине мысли стучатся. Это мне правнуки твои вопросы

задают, не тебе. Твое закончилось, дойдем до лагеря, и всё, дальше к своим на погост под памятник с салютом. Или не закончилось?

Я читаю эти вопросы от «удачных» тридцатилетних и сорокалетних потомков Победителей и думаю... Что ответить? Ответить-то много можно. Только как, чтоб дошло? Почему не вспоминаем Куликово поле? Мы вспоминаем. И это поле, и Бородинское, и лед, и болота, и сопки Маньчжурии, и Альпы, и Измаил. Сидим над очередным найденным убитым, цедим сигаретку и вспоминаем. Вспоминаем и думаем, сколько за всю историю Российской мужиков, парней, женщин и девок вот так, на взлете молодой жизни в землю зарыли, а где и зарыть не смогли. Вспоминаем и думаем, кто их туда определил, в землю-то эту? — Соседушки: западные, восточные, заморские. Сами славяне друг друга от души за порог переправили. Но так, а кто «из искры пламя» возжег? Опять же соседушки. Как — не вспоминаем? Вспоминаем. Тихим и «удачным» не напоминаем — бессмысленно. Сдуру думаем, что хоть этих, чьи письма в треугольничках еще у мамок и бабок по шкатулкам запрятаны, — хоть про них внучата да племянники вспомнят. Вспомнят, что «удачные», красивые, умные да гордые живут в квартирках не гренадерами Михаила Илларионовича Кутузова построенных, а вот их товарищами, пулями да осколками побитыми в той войне, ими отстроенными. Что народили тех правнучков и праправнучков на свет бабы, жилы свои на пашне рвавшие, и мужики калечные, с горя по выходным пьющие. Народили да поумирали лет через двадцать после Победы. Много, оптом, сразу. Как отстроили, так и пошли валиться один за другим. Свой ресурс силы и здоровья, по окопам и блиндажам, полям и госпиталям растративши.

Закончить? Да рады бы мы закончить, да соседушки-то заканчивать не желают! Что думаете, о «мире во всем мире» они мечтают? Ага, а для сохранности мира того Советы к фашистам приравняли. И кто? Кого те Советы из печей лагерных вынуть успели. Для мира во всем мире и братства великого — кости Освободителей на свалку, а памятники в утиль? Проверяют они насколько мы из-

нежились да постелились. Насколько своих мертвых сдали, настолько и живых сдать готовы. А правнуки солдатиков-освободителей глянули с кресла теплого с пивком новостешку в экране и подумали: «Да и правильно! Пора заканчивать!» Потом краем глаза увидели, что какие-то «сумасшедшие» по лесам шаболдаются, всё войну древнюю не закончат. Пивко в сторонку отставили и давай по компьютеру пальчиками стучать: «Ату их. Закончить требуется войну, хватит тут нам тень на плетень в мирном мире наводить!» Да мы б закончили. Но никак она в душе не заканчивается. Вроде и считаешь вас и думаешь: ну раз им не надо, мы-то куда премся со своими спинами сорванными, гипертониями и грыжами? Потом проедешь по России десять похорон за неделю, со всей страны бывшей большой солдатиков похоронишь, на слезы людские, а не киношные, выдавленные, а ручьями из глаз бегущие посмотришь. Когда поймешь непонятное. Что слезы эти и от радости, что вот он, не без вести, а здесь, рядом с мамкой или женой, а то и с детьми своими рядом похоронен, и от боли не наигранной, а живой, настоящей боли по-родному, что не пожил, недолюбил. Поймешь и думаешь: «На моем веку война эта для меня не закончится». А где и сам смахнешь слезу, а потом сидишь ночами, то на костер, то на лампу пялишься, а душа и по мертвым, и по живым, да и по неродившимся, стонет.

«Хватит жить прошлым! Хватит разжигать ненависть!»

«А нет ненависти-то. К этим живущим? Нет и не было. За что? А к тем в серых мундирах, со всей Европы с «молниями» в петлицах? Так она, та ненависть, с книгами и рассказами тех, кто ненависть ту всю войну носил, впитана, от нее не избавиться. А на этих, живущих там, злость мужицкая и обида, не спорю, есть. За что? Ведь столько лет прошло! На кого обида-то? А на то, что пока живы были, да в силе, Освободители, пока могли они по-солдатски за товарищей погибших постоять, пока сильна в стране была воля их народная, то вся эта свора европейская всем кагалом своим дружно девятого мая бежала на могилки наши цветочки возлагать да в любви и верности долгу союзническому клялись у знамени Красного. А как ослабили руки у стариков,

а у внуков, правнуков мозги европейским «мирным» жиром заплыли, так и полетели под ковши тракторов кости солдатские вместе с памятниками. На кого злость? На себя тоже. Что сил хватает только на то, чтоб взвалить в болоте на хребтину солдатики и до погоста донести. Что не хватило ума и слов детям передать, что не закончилась война. Что тлеет она уже в кабинетах закордонных. Что секретные планы и схемы уже вовсю рисуются. Может, не танками и бомбами их удар измеряется, а вот этими: «Закончите! Забудьте! Простите!» А дальше? «Извинитесь! Поклонитесь! Смиритесь!» А в конце что? «Поделитесь! Отдайте!»

Фигня это всё! Миру — мир, все люди — братья! Не все, не всем и не всегда. Потому от Ледового побоища и до той войны, что не закончилась, помним, откуда вся беда и войны приходили.

«Что вы с костями этими носитесь?»

Не кости это. Люди. Люди, как бросить-то их?

Каждый раз несущая с поля боя убитого и думаю: «Какая разница между нами? Теми, кто закончил и не вспоминает и теми, кто до сих пор их с войны выносит?»

Вроде и мы живем, работаем, детей, внуков растим, воспитываем. Все так же жить хотим — хорошо, богато, сыто. На одном языке говорим, по одной земле ходим. Так где генетически или в головах расхождение? Да просто мы, кто на той войне еще, думаем, что пока война эта не закончится, пока помнят живые, чего она стоила, пока каждый год солдаты домой с войны едут, пока у соседешек память о Советском солдате, по Европе, несмотря ни на что, прошагавшем, не зарубцевалась; пока болит хоть у кого-то по-настоящему, по-живому, а у кого-то страх перед расплатой за содеянное еще жив, может, новая война не начнется.

Закончить? Нет, мы лучше эту в похоронной команде довоюем, чем внуки наши новую в пехоте и танках с самолетами.



Бой усиливался. Ревели орудия, минометы и пулеметы. Выли самолеты и бомбы. Визжали мины, снаряды. Со свистом носились пули, шипели, остывая в болоте, осколки и покореженные куски разбитой взрывами техники. Стоны, крики, мольбы и голоса людей просто терялись в этой какофонии войны. Люди рвались вперед. Бегом, перебежками, плюхаясь в дымящиеся воронки. На четвереньках и ползком по-пластунски, просто ползком, из последних сил сгребая ослабевшими руками вырванную траву и корни деревьев. Червями, грязными, уродливыми гусеницами люди лезли в прорыв к своим. Несколько сот метров ада. Несколько сот метров, где смерть, хохоча, пьяная от крови, размахивала, как вентилятором, своей косой. Кровь лилась не ручьями и реками, они были фонтанами из оторванных рук, ног, голов. Стекала потоками из распоротых животов и сизых человеческих кишок. Ад на земле? Война — это ад на земле, устроенный человеком; созданный им рукотворный филиал ада был здесь, в Мясном Бору, у коридора Долины смерти.

В реве боя даже хохочущая смерть не сразу услышала звук танкового мотора. Не почуяла за опьяняющим сладким запахом сотен гниющих тел и свежей крови запах солярочного выхлопа. А увидев выползший на край болота советский танк, на секунду остолбенела. Кто смел нарушить ее вальс, ее смертоносный танец? Ерзая по наваленным тут и там бревнам, мастерски объезжая воронки и рытвины, перемалывая блестящими на солнце траками мох и черную жижу, танк полз вперед. Огрызаясь короткими пулеметными очередями, харкая с коротких остановок 76-мм раскаленными болванками, он ворвался в Долину смерти. За танком, прикрываясь его броней, серыми призраками шли люди. Шли, несли своих товарищей в черных от крови и грязи бинтах, волокли на плащ-палатках серые тела. Выстрел, торфяной фонтан — и на левом фланге замолчал немецкий пулемет, десяток человек выиграли пять минут жизни и десять метров коридора. Рык двигателя, желтая щепка вперемешку с болотной жижей из-под гусениц, маневр, очередь из пулемета — и несколько серо-зеленых фигур ткнулись в землю лицами. Смерть застыла, остолбенев. Рев боя начал стихать. Черные от грязи люди выползали из рытвин и воронок и спешно покидали коридор. Танк, будто жалом, поводя орудием, садил фугасными на вспышки из леса. Выстрел, сноп пламени, черный фонтан разрыва, погасший зрачок пулемета. Один, второй, третий. Серо-зеленые фигурки на опушке забегали, подхватывая тела своих раненых, стали отходить в глубь леса. Десятки человек в это время покинули простреливаемый коридор. Смерть взвыла бронебойным рикошетом от башни танка. Танк попятился назад, прикрыв группу людей, огрызнулся орудием и пополз вперед. Разрыв, второй, третий. Заляпанный грязью по самую башню, он, как доисторический зверь, ревел дизелем на поле боя. Разрыв, сверкающей змеей растянулась на кровавой трясине гусеница. Крутнувшись, теряя подвижность, танк замер. Смерть захохотала. Удар — закашляв, захрипев разорванными поршнями, замолчал мотор. Удар — лиловая дыра в закрывающей мотор броневой плите плюнула дымной струйкой. Коридор смерти вновь стал наполняться пунктирами трассирующих очередей.

Огненные пунктиры полосовали поверхность слева направо, выискивая свои цели. Вдруг башня танка, дернувшись, медленно поползла вправо, нащупывая цель. Выстрел, разрыв, еще один захлебнулся. Удар в моторный отсек — еще одно пробитие светится оплавленной броней. В ответ — выстрел танковой пушки, пулеметная очередь на расплавлении ствола. Удар — пробитие, удар — вой рикошета, выстрел орудия, погасший в разрыве огонек вражеского пулемета. Люди, оглядываясь на эту смертельную дуэль, втягивались в горловину прорыва. Всё, что стреляло вокруг, лупило огнем по замершему на пригорке танку. Покрытый, словно всполохами сварки, искрами рикошетов в центре скрещенных на нем трассирующих пулеметных очередей, плюясь в ответ огнем, начиная чадить горячей соляркой из закрытых наглухо люков, он запомнился многим вырвавшимся из котла. А внутри, задыхаясь от дыма, наплевав на замолчавшую в удивлении смерть, заживо сгорая, делали свою солдатскую работу четверо. Делали так, как им подсказывал Долг и Совесть. Делали тогда, когда их уже не сдерживали ни присяга, ни приказы, ни сама смерть. Делали, когда всё человеческое должно было и вопило в жаждущем жизни молодом теле: «Беги!!! Спасайся!!! Зачем ты умираешь ради незнакомых тебе людей? Они спасутся, а ты???» Покрываясь черным дымом, подсвеченным изнутри алым пламенем соляры и человеческих тел, танк вел огонь. Огненным грибом вспух взрыв, башня, подпрыгнув на погоне, сползла набок, и поле боя на секунду погрузилась в тишину. Одни молчанием отдавали дань памяти товарищам, другие были поражены мужеством и волей врагов.

Его собирали несколько лет, по куску выдергивая из болота фрагменты покореженной горелой брони, обгоревшие катки колес, порыжевшие от ржавчины гусеничные ленты. Долго молчали у вывернутой из земли задней бронеплиты, в которой насчитали семь сквозных пробитий и три рикошета. Потом несколько лет во всё это добавляли куски от других погибших машин, собирали в одно целое, именуемое танк «Т-34». Восхищенно молчали, когда он, взревев мотором, осторожно, будто привыкая к своему новому телу, смакуя свое новое сердце, выполз на солнце из ремонтного бокса и замер

на солнце, давая всем полюбоваться на себя. Гордо повернулся избитой снарядами, но заново покрашенной кормой и замер. Встал, как покрытый шрамами старый солдат, гордо задрав в голубое небо старое орудие; он, наверное, был счастлив.

А потом он ходил в школу, ходил, как раньше ходили в школы ветераны-фронтовики. Убеленные сединами, с боевыми наградами на груди, с зарубцевавшимися шрамами на лицах солдаты. У него нет наград, только шрамы от снарядов на его броне. Но когда маленькая детская рука бережно и осторожно гладила оплавленные края его ран, он думал, может, этот и другие малыши — правнуки тех, кто, оборачиваясь, видел его гибель. Потомки тех, кого ценой своей жизни спасли те четверо, что сгорели у него внутри. Теперь он знал, всё было не зря.

Уходят последние оставшиеся в живых солдаты той войны. Кто сможет еще рассказать об их подвиге, об их жертве, об их силе и их мужестве? Книги, фильмы и эти немногие сохранившиеся в живых стальные солдаты. Ведь не секрет, что те, кто на них воевал, считали их живыми. Считали их боевыми товарищами. Гордились их мощью и силой. Чувствовали в них руки и души тех, кто их строил и создавал. Их экипажи умерли, обагрывая кровью их стальные тела, и эта кровь, вскипая от пламени, вплавлялась в их металл, передавая им часть человеческой души и силы.

Сейчас тела этих стальных героев стали предметом торга, и зачастую за копейки, за бутылку водки или дрянного вина их несут в скупку приема метала. Мне иногда видится меч и доспехи святого Ильи Муромца или Александра Невского, сваленные в ржавых кучах ненужного хлама. Стыдно и больно за старых солдат. Стыдно за мусор и дерьмо, сваленные в их установленных как памятник корпусах. Будто в души их мы нагадили. Что будем говорить своим внукам, что будем им рассказывать, пытаюсь достучаться до их душ? Блестящие, картонные новоделы, без боли и чувств! Поверят? Вряд ли. И станет эта война для них далекой, нестрашной, красивой сказкой. Где нет боли и смерти, крови и страдания. И тогда наши дурные лозунги: «Можем повторить!» — кто-нибудь может воспринять как команду к действию. А повтор — это Конец!



Стали просто землей и травой

Когда-то я дал себе слово, что буду писать обо всех погибших в той войне, с кем сведет меня судьба. С именем или безымянные, они имеют право, чтобы о них помнили. Что я могу о них написать? Как они погбли. Представить картину последних минут их жизни и рассказать вам. Это всё, что я могу.

Я пишу уже несколько лет и стал понимать, насколько это сложно. В чем сложность? Сложность в их общей судьбе. Сложность в том, что, выбрав солдатский путь, надев одинаковые шинели и каски, они большей частью и судьбу себе выбрали одинаковую. Одинаковые солдаты, с одинаковыми винтовками вставляли в одинаковые атаки, гибли от одинаковых пуль, осколков. Их укладывали в одинаковые ямы, или они оставались лежать в одинаковых болотах и лесах. Даже мысли у них, наверное, были одинаковые: о доме, о матери, о любимой, о Родине, о будущем. Даже даты их гибели зачастую одинаковые на всём протяжении огромной территории, которая раньше была фронтом. Я, конечно, утрирую, но та картина, которую видим мы на

местах их гибели, она действительно очень часто похожа. Атаки с примкнутом штыком, развернутой цепью, хиленькая, наспех сооруженная оборона из цепи стрелковых ячеек краем господствующей высоты, оборона посерьезнее, где в брустверах, на дне траншей и в самом дне этих траншей лежат одинаковые солдаты этой страны. И только разные координаты мест гибели, разные названия частей и разные названия войсковых операций.

Что еще может быть разное? Что можно передать, чтобы не повторяться в моих этих записках? — Разная боль. Смерть разная. Всегда ужасная, страшная, кровавая, но разная.

Еще один. Солдат 41-го года. Между двух ячеек, наверху, в маленькой промоинке под выросшей уже после сосной. Без оружия, без вещей и снаряжения. Он лежит, поджав ноги в новых тогда ботинках. Лежит на боку, правой рукой опершись на землю, будто пытается подняться.

«Стали просто землей, травой» — да, это не художественный образ. Тело, там, где оно было раньше, оплели корни, корешки и коренья. Всё превратилось в прах. Даже тот металл, что всегда сопровождает солдата, стал пылью. Что осталось? Что осталось нам? В ста метрах ревет трасса, несутся машины, едут люди, сотни, тысячи людей. Земля, усыпанная хвоей, черные ручьи в распадах, вековой зеленый лес и небо... Бездонное небо. Что еще осталось? Боль.

Мы играем. Всю жизнь во что-то играем. В детстве играем во взрослую жизнь. Куклы, солдатики. Позже играем в Вершителей судеб, куклы и солдатики становятся живыми людьми, а мы зачастую не замечаем этого и продолжаем играть. Но солдатики уже чувствуют боль от наших ударов. Куклы крутятся по ночам в кроватях от бессоницы, а солдатики воют от боли на койках госпиталей. А кто-то продолжает играть, не чувствуя чужой боли.

Сейчас мы играем с детьми в смерть, пытаюсь им донести память о войне какими-то игровыми, как нам кажется, понятными им методами. Мы пытаемся сохранить в них память о прошлом методом только немногим понятных квестов и компьютерных игр. Мы заставляем их улыбаться и

восхищаться смертью. Смерть не терпит игры, смерть — это боль.

Боль, рвущаяся даже из-под земли в истлевшем, навеки застывшем в последнем порыве теле неизвестного солдата. «Болью пропитан воздух» — он горит от боли. Каждая косточка, каждый палец в истлевшем солдатском ботинке просто полыхают болью последних мгновений его жизни. Кого мы жалеем, когда стараемся скрыть эту боль от своих детей? Их жалеем? А почему мы не жалеем тех, кто будет корчиться потом от боли, выполняя безрассудные приказы кого-то из наших выросших чад? Бережем их психику, растим вечно играющих, бесчувственных монстров? Я не знаю как, но мы должны научиться говорить правду о боли. Молодая душа чувствительна и она еще может почувствовать чужую боль на расстоянии, позже она зачерствеет и только своя боль станет ощутима.

Вот он, в промоинке под корнями, чуть припоршенный рыжими иголками и укрытый одеялом забвения десятилетий сгусток боли. От нас, старших, зависит, сможем ли мы передать эту боль. Боль изорванного горячим металлом молодого человеческого тела, боль мечущихся в сомнениях душ близких, услышавших «Пропал без вести». Долгую боль забвения десятилетий.

Не играйте в смерть, не играйте в жизнь, живите, чувствуя чужую боль, и смерть не будет играть с вами.



Незащищенные

22 июня. Вот уже несколько лет в этот день я вижу, чувствую у себя в руках маленькие косточки пальчиков четырехлетнего ребенка вместе с пеплом Брестской крепости. Да и после через мои руки прошло много солдат, женщин и детей, которых унесла та война, сделала безмянными, бесплотными теньями неизвестности. Но каждый год в руках скрипят выбеленные временем и дождем косточки первых жертв страшной войны. Черная тень несвершившегося в обугленной воронке.

Говоря о войне, мы больше и чаще вспоминаем погибших при защите страны и мира наших солдат. Но ведь люди с оружием: солдаты, мужчины, женщины — это лишь четверть всех потерь нашей страны. Кто остальные? Остальные — это те, кто страдает от войн больше всего; те, кто меньше всего приспособлен к выживанию в страшных условиях войны; те, к кому война всегда врывается вдруг. Распахнув окно взрывом и засыпав кровать битым стеклом, опалив вонючим пламенем взрывчатки мягкие, как пух, волосы, рванув взрывной волной подол ночной рубашки.

Старики, женщины, дети... Именно их война пинает солдатским сапогом в спину слабым, теплым и таким мирным. Выкидывает на улицу под разрывы и пулеметные очереди и заставляет бежать, бежать, бежать. Лишает домов, тепла, друг друга и жизни. О них не говорят в сводках и донесениях, а это их рвут пулеметные очереди на заполненных беженцами дорогах. Их тела давят, скидывают в придорожные канавы и воронки прущие по дорогам танки и грузовики с веселыми, крепкими, загорелыми «освободителями». У них из рук на десятилетия или навсегда вырывает ладошку ребенка и в кутерьме разбомбленной станции бросает ее в неизвестность. Их прерванные, растоптанные жизни потом посчитают очень условно, плюс-минус.

Потом историки будут десятилетиями спорить и давать оценку боевым операциям, стратегиям и тактикам, личностям военачальников и подвигам простых солдат. А эти миллионы жизней просто пройдут фоном, цифрой погибшего гражданского населения. Покаяние...

Вот перед ними, перед теми, кого должны были защитить и не защитили, перед теми, кто слаб и нуждается в защите. Перед теми, ради счастья которых, по мнению политиков, и начинаются все войны; перед теми, кто больше всех не хочет этих войн, — перед ними и должны мы каяться. Те, кто убил, и те, кто не уберег. И после того как полетели к подножью Мавзолея знамена со свастикой, я бы поставил на колени всех пленных немецких генералов, попросил бы склонить голову и наших солдат перед женщиной, стариком и ребенком. Пусть это ничего бы не изменило, пусть это просто символ. Но может, он бы когда-нибудь кого-нибудь заставило хоть на секунду задуматься: «Зачем?»

Я бы не Колю просил каяться в бундестаге за судьбу немецкого солдата*, а показал бы английским лордам фото-

* 20 ноября 2017 г. школьник из Нового Уренгоя Николай Десятиченко выступил в Бундестаге с космополитической речью о Второй мировой войне. Заявив, что напавшие на СССР солдаты вермахта тоже сражались за свою родину, школьник фактически поставил знак равенства между ними и солдатами Красной армии, павшими в боях с врагом.

графии раскопанного в 46-м году бомбоубежища в Дрездене. Битком набитого мумиями, полуразложившимися детскими телами в колясках и кроватках и спросил бы: «За чем?» Все, кто отдает приказы, начинает войны, в этот момент уверены, что их она не каснется, что их защитят солдаты и крепкие стены бункеров и бомбоубежищ. История показывает обратное. И те, кто начинает, и те, кто им потакает, в итоге слышат или видят рядом с собой зловонную харю войны. Им просто нужно представить втопанное в грязь, раздавленное гусеницами танка тело своего ребенка и войн станет меньше.

Помните, 22 июня первые бомбы упали не на блиндажи и траншеи, а на спящие мирные города, и первые жизни, вырванные войной, были жизнями спящих детей, женщин и стариков, чьих-то матерей, отцов, жен. И так бывает всегда. А потом горел Берлин, и это тоже бывает всегда!

А первым криком в этой и любой войне было не солдатское оскаленное «форвертс!» и «ура!», а детское испуганное «мамочка!»



Шли бы они лесом

В интересное время мы живем, странное и интересное. Плохое или хорошее, покажет время и оценят потомки в сравнении, а современникам сложно. Время точно непростое, время, когда, наверное, кристаллизуются человеческие чувства и слабости. Когда хорошее притягивает к себе хорошее, а гадость становится явной мерзостью в понимании нормальных людей. Мир вроде стал ближе посредством новых технологий, но еще больше непонятен из-за них же. Действия людей необъяснимы.

Далеко, очень далеко от цивилизации, в военном лесу, забыв из-за отсутствия связи о самом приборе под названием «мобильный телефон». По уже новой человеческой привычке, волнуясь за близких, из-за того что пару дней не видел их в сети, сидя на покрытом хрустящим от инея мхом старом пне, я тихо пускал в затянутое серыми тучами небо табачный дым вперемешку с паром от дыхания. Смотрел на подернутые тонким льдом воронки, на яркие пятна местами еще не взопревших осенних листьев, на из-

рытый траншеями, ячейками и блиндажами бывший передний край, семьдесят восемь лет назад погрузившийся в тишину. Смотрел ииии... просто смотрел. Думал? Чё-то там себе думал. А больше пытался представить, увидеть это же место семьдесят восемь лет назад. Услышать войну. Понять, как выжили здесь люди. Прикинуть, где лежат или уже не лежат хозяева двух советских касок, чьи разбитые взрывами, покрытые ржавчиной, присыпанные листьями и покрытые седым от инея мхом стальные лбы смотрели на меня с двух сторон между воронок. Смотрели, может, и их хозяева сверху, сбоку, из-за спины, а может и прямо в глаза, в мозги мои смотрели...

Идиллию нарушил завошкавшийся в кармане плоский прямоугольник уже забытого смартфона. Вот как так! Нету тут связи, и где-то что-то в цифровом мире сложилось, и нате вам звоночек на передовую семьдесят восемь лет тому куда-то.

Звонил знакомый журналист из самой Москвы, за 700 км от этой тишины:

— Здравствуйте, Сергей. Вы можете говорить?

— Могу, что ж нет, тут никто не мешает.

— Вы, наверное, слышали о выступлении польского политика, который назвал Советский Союз союзником нацистской Германии во Второй мировой войне?

— Нет, не слышал, но не удивлен.

— Вы можете прокомментировать это высказывание, каково ваше мнение?

А я смотрел в два пробитых осколками, ржавых, стальных лба. Нет, они не шевелились, и тени не бродили. Просто лежали на краю воронок немymi свидетелями войны и щерились на меня рваными краями мятых обводов. А я не мог собраться с мыслями, думал всё: лежат ли под ними убитые, в воронку сползли их тела, свои утащили тогда еще, унесли или в бруствера их зарыло взрывом, землей и листьями палыми присыпало?

Пауза бестолково затянулась, а цифровой ветер, сменившись, вырубил связь без шансов на перезвонить.

Пятьсот тысяч человек... Советских солдат... Так же как здесь легли в чужую им польскую землю. Я пред-

ставил пятьсот тысяч таких же, как здесь, ржавых, искореженных солдатских касок. Ржавые стальные лбы до горизонта.

Представил, как встали они, как есть: в ватниках, и шинелях, и гимнастерках, встали и ушли. Взяли в крепкие солдатские руки по горсти польской земли, по той последней горсти земли, что бросили на их тела товарищи в тишине. По той горсти, которую по православному обычаю бросали на их тела и спасенные ими тогдашние жители Польши. Узники лагерей со всего мира, чьи нескончаемые потоки к печам крематориев они остановили своими телами. Взяли эту землю и ушли. И оставили за собой вдоль границ ров.

Что была та война? Схватка двух разных политических платформ? Да нет, это была война добра и зла. Зло заживо жгло людей, рвало взрывчаткой и железом всех подряд, невзирая на национальности, возраст и пол, сдирало с людей кожу и делало из нее предметы роскоши, морило городом целые города. А добро кормило последним детей, закрывало солдатской грудью стариков и женщин. Жизнь своих граждан отдавало за людей, говорящих на другом языке. Не смотрело на границы, веру и политические устои. Пафосно? Да тьфу на вас. Как есть. Пятьсот тысяч жизней тому свидетели. И не надо мне тыкать пактами, годами и датами. Сами в них разберитесь. СССР — последний, кто что-либо подписал с Гитлером, после того как все всё что можно подписали и всех кого можно предали. Где «верные» союзническому долгу британцы и французы? Не на их ли предательстве построены Майданек, Освенцим и другие фабрики смерти в Польше? Не сносят поляки памятники на их могилах у себя в стране? Так их там и нет. Не пришли они спасать поляков, откупиться подачками решили, принять и припрятать до времени сбежавших трусов из правительства Польши. Не найдете вы на польских полях их солдатских могил. Зато наших в избытке.

Мое мнение? Да кому оно надо? Кто услышит его? А вот мнение нашего правительства, оно должно быть! Оно должно не только в открытых архивах выражаться, оно

должно выражаться в документах! Санкциях, закрытии границ для польских товаров! В обязательных туристических маршрутах для польских туристов через Хатынь, Синявино, Мясной Бор. Что не проживем без польских шмоток и яблок?

Это не игра, это не бред сумасшедшего, это грязная политика. Политика на будущее, где на основе этих заявлений вырастет или уже выросло поколение не только не благодарное России за спасение, шут с ним, не для благодарности спасали и не их. Те, кого спасли, были благодарны. Вырастет поколение ненавидящее Россию как оккупанта. И если Германия отказалась от своего нацистского прошлого, то я не хочу отречься от своего советского. Не за что мне там стыдиться. Там деды мои и бабушки, молодые, красивые, честные. Жизни свои не жалели за весь мир, страну восстанавливали, в космос полетели. Всему миру надежду на справедливость дали.

Ну ненавидят, да и пусть, что они нам? — скажет кто-то. Да нет. Не те времена. Меня вон в диком лесу цифровой ветер своими новостями нашел, а детей наших он вообще воспитывает. И придут лет через тридцать-сорок к ним «просвещенные» европейцы и скажут: «Ну что, потомки оккупантов, верни назад Калининградскую волость, Курильские острова, да еще прицепом кой-че. Что ваши кровавые дикари прадедушки, у наших мирных предков силой отобрали». И потащат их за чубы в Европейский, Гаагский, Ватиканский или Варшавский суд и завалят липовыми бумажками и что? Или опять в танки и до Вислы, Одера или, чтоб не прослыть непросветленными демократами, поотдать, как есть, за милость Европейскую? Воля должна быть Государственная и ответ адекватный памяти пятисот тысяч жизней! Что им ваша, наша нота протеста? Подтереться! А вот когда народ от недополученных от торговли с Россией денег забурлит, да когда, мож, этот самый народ чё сам вспомнит, да стариков поспрошают. Тех стариков, кто с Советскими солдатами сухарь на двоих делил да койку в санбате, куда обоих немецкая пуля уложила. Тех стариков, чьих родителей из петли бандеровской Советский солдат вытащил. Тех, кого из-под стволов боевиков Армии Край-

овой выдернули да с полевой кухни кашей накормили. Тех, кому города восстанавливали, свои на потом отложив. Вот поспрашают да подумают, что за уроды ими руководят, по чьему заказу чушь несут и с мертвыми, как дикие варвары, воюют. Может, и увидят в старых невыполненных союзнических договорах тот скрытый смысл, и уши масленно-блестящие торчат.

Вот такое мое мнение. А под касками у воронки никого не оказалось. Может, и не было, может, не время, может, ветер цифровой спугнул, а время их на страже в резерве оставило, чтоб к следующим вышли, когда совсем туго станет.



Поляна

Серое небо мрачно чернело сверху то ли очередной тучей с зарядом липкого, мокрого снега, то ли наступающей ночью. Прелая серость клубилась в воздухе вокруг осклизлых, кривых стволов мертвых болотных деревьев-недомерков. Чёрными окнами в болотном коричнево-рыжем мху лужи воды. Продираясь через мелкую ивовую поросль, к болоту брели черные тени. Черные тени вырвавшихся из пасти смерти в арьергардном бою солдат. По колено в воде, оскальзываясь на мшистых кочках, срываясь с поваленных гнилых стволов бурелома, люди, не замечая ничего вокруг, брели по болоту. Постепенно ноги в разбитых ботинках, сапогах и валенках поднимались всё выше, под подошвами хлюпало всё меньше, земная твердь ощутимо стучалась в стертые подошвы.

Приклады винтовок и полы шинелей уже не погружались в болотную жижу. Люди выбирались на твердую землю. Красивая, как из другой жизни, из другого, доброго сказочного леса, поляна бывшего хутора в об-

рамлении ровных, стройных елей, петляющий внизу в глубоком овраге, сказочно-чистый с прозрачной водой ручей. Тишина и сухое поскрипывание древесных стволов. Серыми в сгущающемся сумраке тенями люди выби-
рались на поляну. Кто-то разом валился на шелестящую прошлогоднюю траву, кто-то, устало прислонив к стволу дерева винтовку, привалившись к нему спиной, сползал на корточки и затихал. Кому-то хватило сил свернуть из табачной пыли трясущимися руками самокрутку, и он жадно цедил горький, горячий дым, щурясь и пряча взгляд от жадных глаз соседей. Поляна наполнилась звуками войны: бряцанье оружия, сдавленный кашель, тихая ругань, стоны раненых. Раненых выносили из болота на самодельных носилках и укладывали в центре поляны, носильщики располагались тут же и замертво валились от усталости на землю.

Звуки затихали, с серого неба белой крупой повалил липкий весенний снег. Снег укрывал черно-серые фигуры людей, оседал на грязно-зеленых шинелях и касках. Таял и не таял на лицах живых и умерших. Со стороны можно было бы решить, что хуторское урочище осыпано мертвыми телами, покрытыми тонким слоем нетающего снега. Люди зашевелились за несколько десятков минут до полной темноты; боясь еще одну ночь провести в темноте, они бродили по поляне и собирали редкие сухие дрова. Кто-то восторженно прокричал с края поляны: «Лыжи! Наши лыжи!» Брошенные кем-то после проваленного зимнего наступления охапки лыж, быстро разобранные по кучкам, сухо трещали под давлением солдатских рук и ног. Вместе с опускающейся темнотой робко заалели дымные, нежаркие в сыром весеннем лесу костры. Несколько костров обложили по кругу телами тяжелораненых. Люди заворуженно смотрели на яркое пламя и тянули к нему красные, распухшие от воды и грязи руки, погружая их бесчувственную, онемевшую от холода кожу прямо в огонь. Вспышки огня бесновались в горячечноблестящих, таких одинаковых солдатских глазах. Раскрашивали багрянцем одинаково заострившиеся от голода небритые лица. Жарким своим дыха-

нием огонь наполнял давно застуженные легкие теплом, а тишина наполнялась таким одинаковым надсадным кашлем. От мокрых шинелей и обуви валил пар, наполнял серый воздух еще большей туманной мистикой. Серые люди в сером тумане освещены алыми вспышками. Даже раненые, замороженные языками огня, затихли, своими изувеченными телами впитывая свет и тепло, как стволы изувеченных жизнью болотных деревьев. А где-то в стороне, почти беззвучно для находящихся внизу у подслеповатых костров уставший людей, крался, распластав крылья, подобно ночному филину, черный самолет, с чёрно-белыми крестами на широких по-птичьи прямых крыльях. Сидя в застекленном, хрустальном скворечнике кабины, не зная холода и сырости, упакованный в меховую куртку и унты, с белым шелковым франтоватым шарфом на шее. Благоухающий французским одеколоном летчик безразлично бубнил в ларингофон рации координаты тусклых огоньков на темном покрывале земли. За болотами колыхнулись во тьме стволы, дрогнули и уверенно, синхронно поползли в одном направлении, повинаясь воле расчетов. Лязгнули, проглотив хищные тела снарядов, казенники и затворы; тихо шелестя, опали в стволы тушки мин. Рваными тряпками вместе с оседающим грохотом осело на землю то, что секунду назад было человеком. Визгом рекошетов взвыла шрапнель. Колотушкой капризного ребенка задолбили по земле разнокалиберные разрывы. Разрыв, вспышка, визг шрапнели и осколков, тугой удар горячего воздуха, крик искалеченного человека. Это один снаряд, одна мина, а здесь всё это умноженное на десятки. Пляска смерти и бессильный скрежет зубов уцелевших. Вой мины в ушах удесятеренными децибелами, страхом выедаёт душу, тело в чуть подсохшей шинели червем вьется меж корней. Забиться в болотную лунку или воняющую тухлыми яйцами еще теплую, заляпанную чьими-то кишками воронку. А этот оборвавшийся разрывом вой уже догоняет визг снарядной шрапнели, звонко стучащей по стволам деревьев и глухо булькающей в человеческой плоти. А через пять минут ада на

оглушенных дрожащей от ненависти, ужаса и бессилия живых лавиной рухнула тишина.

За болотами, бережно укутав горящие стволы орудий в чехлы, разгоряченные тяжелой в неурочный час работой, немецкие солдаты отправились спать в теплые блиндажи и землянки, вырытые в Русской земле. А оглушенные разрывами, с забитыми землёй глазами и ушами, русские солдаты в серой пелене наступающего утра начали распахивать по воронкам то, что осталось от их боевых товарищей. Вниз лицом, безжизненные плети рук выскальзывают из окровавленных ладоней, и тело сползает, на дно воронки. Сдвинутый усталыми, натруженными ногами бруствер воронки сползает закрывая окровавленное, разодранное осколками тело. Воронка побольше, один, два, три, четыре, пять неловко, как в коробку куклы: двое лицами вверх, трое лицами вниз, шлеп, плях в наполняющуюся водой яму. Жизни, судьбы, мечты, страдания, счастье, несчастье. Шууух — сползает сверху земля с погребальным змеиным шипением.

Счастье, несчастье, боль и радость. Выжившие растаяли в утреннем тумане, покачивая и паля сгорбленными спинами и блестящими от воды стволами винтовок. Только черные пятна свежей земли и раскиданные тут и там, такие чужие в диком лесу, кружки, котелки, ложки, штыки, как выпотрошенные кишки разодранных солдатских вещей мешков, парили туманом на поляне.

А через семьдесят семь лет у разрытых опять черных воронок мы видели ту ночь и падали под дождем спины девчонок новгородского отряда «Гвардия-Шкраб», и чернели еще большей чернотой разбитые осколками затылки и переносицы. «Мы за ценой не постоим»? Они не постояли, а мы? Мы в какую цену оценим эту и тысячи таких же и более страшных ночей?

Черные оспины на поляне. Шумящая в нескольких километрах трасса. Ревущие неподалеку лесовозы и трелевочники-мастодонты, через несколько недель они проглотят эту поляну, как проглотили и превратили в перемешанную жижу десятки других таких полян. Этих четырнадцать мы успели вынести, а сколько будет пере-

молото гусеницами и колесами тяжелых машин, а сколько уже перемолото? Так наши души и память огромным грязным колесом беспамятства наматывает на гусеницы забвения и безразличия. И мы идём спать в тёплые блиндажи и норы после тяжелой внеурочной работы, а они остаются навеки в Русской земле.



Чаёк

Поисковики часто в своем поисковом быту делают такие вещи, что простому современному человеку кажется не то что не нормальным, но как-то недопустимым. Это касается еды, питья, гигиены. Причем, например, пить воду из реки или воронки еще двадцать–тридцать лет назад считалось абсолютно нормальным. А сейчас для среднестатистического горожанина это просто УЖОСССС!!! В результате этого в поисковых лагерях иногда происходят смешные, даже для самих поисковиков, курьезы.

История, которую я расскажу, совсем свежая, и я стал ее свидетелем в абсолютно зрелом физическом и поисковом возрасте.

Лагерь, как в сказке, прижался почти прямо к старой передовой. Линия фронта начиналась сразу за палатками, на поляне, и извилистыми траншеями убегала в заболоченную низину. Дорога была в ста метрах, и более или менее подготовленные автомобили заползли на поляну, встав на опушке и высыпав из себя весь поисковый скарб. Многие

копари пожелали ночевать прямо внутри своих железных коней, и общим стал только костровой навес. Мужики в лагере были все взрослые, мотивации достаточно, потому распорядок работы был свободный. Проснулся, встал, поел, ушел в Поиск. Устал, вернулся, прилег, потрындел, поел, ушел. Под поклонным крестом выстраивались мешки в ряд — скорбный строй погибших. Все собирались только за ужином, на вечерний чай и рассказ: где был, что видел.

В связи с доступностью лагеря для транспорта постоянно приезжали разные гости из числа чиновников, спонсоров отрядов и прочих примкнувших и желающих приобщиться. К середине экспедиции все эти посетители сильно достали всех обитателей лагеря, и, завидев на дороге новый автомобиль, мы хватали свой инструмент и «тикали» в лес. Дабы не отвечать на дурные вопросы и в сотый раз не фоткаться для отчета очередного «радетеля за Отечество».

В этот день мы свалить не успели. Сверкающий хромом внедорожный монстр выкатил из-за поворота и, лихо переваливаясь на кочках, въехал чуть ли не под костровой навес. Подобный понт вызвал сразу негативное восприятие, хотя прибывшего мы еще и не видели.

Гость не заставил себя ждать и оправдал наши надежды. Из внедорожника вывалился лоснящийся мужик лет сорока пяти. С достойным пивным брюхом, весь в новеньком тактическом обмундировании, увешанный всякими цацками типа карабинов и карабинчиков, фонариков и ножей, фляжек, топоров. С выражением «хозяина жизни» на лице, приехавшего в родовое поместье, подошел к костру.

— Я Семенов, — бросил он небрежно, не протягивая руки.

— Везет, — ответил мужик у костра.

— Не, ты не понял. Я вам денег выделил, — пояснил гражданин Семенов.

— Нам? — Сидящие у костра переглянулись.

— Не, ну не конкретно вам, а вашему командиру, — продолжил пояснять гражданин.

Тут надо сказать, что группа собралась из мужиков — копарей диких, нет; каждый из нас состоял в каком-то отряде,

многие даже руководили своими отрядами, но тут мы оказались по просьбе общего товарища, помогали ему с обследованием нового места и проводили разведку для учебной вахты с «пионерами». Какой-то отряд оформил на себя разрешение, а работали все просто от души. Так что с командами тут было туго, или, наоборот перенасыщенно.

— Нашему командиру? — все снова переглянулись.

— Ты думаешь, такой родился? — ухмыльнулись у костра.

— Не, ну отряд «Звездная звезда», город Непоняткин. Они тут где стоят? — стал терять уверенность Семенов.

— Тут — это где? — философски спросили у костра.

— А вы откуда? — заерзал от непривычности ситуации Семенов.

— Местные, — с видом аксакалов из кинофильма «Белое солнце пустыни» лениво ответили сидящие.

В зале наступила продолжительная тишина, нарушаемая звуками шипящего костра и потрескиванием остывающего мотора джипа. Нервно переминался «спонсор».

— Чаем хоть угостите? — нашел вопрос-выручалочку прибывший гражданин.

— Бери, наливай, ведро на огне, сахар на полке, кружки на гвоздях, — без эмоций ответили «аксакалы».

Окинув взглядом почерневшие от огня металлические кружки копарей, брезгливо сморщившись, приезжий полез в свой джип, долго там рылся и, счастливый, с видом победителя и явного превосходства извлек какое-то термочудо с турбонаддувом.

Неловко покрутившись у стоящей на огне решетки, он зачерпнул из ведра кипятка, добавил сахару, долго протирая найденную на столе ложку, размешал чаёк и, по-свойски усевшись на пенек, стал прихлебывать кипятка.

«Аксакалы» задумчиво смотрели на угли.

— Чёт, мужики, заварочки вы прижали, экономите? Со всем чай не чувствуется! — сделав несколько осторожных глотков, типа съязвил господин.

— Так ты чё гольную воду дуешь, заварку-то насыпь! — ответил на обвинение один из «аксакалов», заскорузлым пальцем ковыряясь в ухе.

Тут еще одно отступление-пояснение. Торфяная вода в лесных озерах, болотах, воронках, речушках — она черная, ну или темно-коричневая. И торф, как абсорбент, воду очищает от всякой гадости, потому пьют ее в лесу запросто прям из водоемов. Так вот и в закопченном ведре вода была цвета хорошо заваренного крепкого чая.

— Так там же чайники плавают, — побледнев, выдохнул «спонсор».

— Это не чайники. Это хлам с воронки всякий, — нехотя пояснили у костра.

— Так вы ее прям с воронки берете? — еще больше побледнел наш гость, озираясь на сваленный у ближайшей воронки военный хлам.

— А ты тут видишь святой источник? — с сарказмом выплюнули у костра.

«Спонсор», уронив кружку, разбрызгивая на ходу содержимое желудка, метнулся из-под навеса.

У костра наступила тишина, нарушаемая звуками из некогда вальяжного организма спонсора. Трое философски смотрели на огонь, на который человек может смотреть вечно. Через несколько минут джип завелся и, плавно отъехав, умчался вдаль.

В Поиске множество людей различных возрастов, профессий и социальных статусов. Здесь нет богатых и бедных. Здесь есть Свои и Чужие. Своим стать несложно: будь собой, не выпячивайся, учись у опытных, не кичись, не отлынивай, не обманывай. Почти библейские заповеди. А Чужих видно сразу и их тут не любят.



Товарищ Орлов

Почти всё, что я пишу, — записки о тех, кого давно нет. Это правильно и важно, но мы, живые, часто забываем о том, кто рядом. Мы не говорим хорошие, добрые слова, как будто стесняемся своих чувств. Потеряв человека, мы вспыхиваемся, осознаём, как много он для нас значил, и начинаем вслед, как из пулемета, выдавать панихиды, митинги, хвалебные оды. Так же получалось и у меня. Но сегодня я хочу рассказать о моем Друге, Товарище, Бойце.

Я не стесняюсь тех слов, что вы прочтете, я хочу, чтобы он услышал их и прочитал сейчас. Нет ни юбилея, ни даты, просто он рядом, я рад, и это будет справедливо.

Кто он, Орлов Александр Николаевич, сын знаменитого коменданта «Долины смерти» Николая Орлова? Саня Орлов, Орел, а теперь уже Дедушка. Он Человек! Он Настоящий! Кто-то назвал его индикатором порядочности. Если Орлов с человеком общается, значит, человек порядочный, как-то сказали мне. Это так и есть. Глядя на поисковиков, старых, новых, молодых, я часто вижу какую-то нездоро-

вую гордыню и тщеславие. Мол, я настоящий, я всё делаю лучше, я самый правильный, я вот за солдатиков горой, а вот те то-то не так делают. А Орлов просто делает тихо и как ему совесть позволяет.

Шестьдесят три года ему, дед уже. Первый медальон отцу принес в шесть лет, больше из леса не уходил и не прерывался. пятьдесят шесть лет поискового стажа. Вдумайтесь, пятьдесят шесть Лет! Я несколько раз спрашивал, сколько же ты их нашел и вынес. Смеется... Сбился на тысячах в девяностые. Тысячи! Вы слышали, Тысячи возвращенных солдат! Сотни имен, большинство из которых он помнит. Он помнит место, количество найденных убитых, год, когда нашли, и даже с кем и при каких обстоятельствах это произошло. Я не знаю людей в современном поисковом сообществе с такими заслугами и таким результатом. Но он не толчется на трибунах и фуршетах. Мало кто уже и помнит его. Мало кто из молодых знает, что он жив и в лесу за ним еще побегай. Так какой он?

Если бы меня спросили, как должен выглядеть Лесной дух, я не задумываясь ответил бы: «Как Орлов!» Невысокого роста, сухощавый, весь как будто сплетенный из жил, чуть горбящийся под тяжестью огромного старого рюкзака, с пшеничными усами, в которых прячется хитрющая, но добрая ухмылка. С голубыми добрыми глазами из под кустистых бровей, обрамленными лучиками морщинок, в которые вьелся дым походных костров. С большими руками, вечно черными от неотмываемой торфяной жижи, ржавчины и машинного масла. Эти руки вообще не отдыхают. Они, как и их хозяин, неутомимы. Они вечно что-то строят, чистят, режут, варят, эти руки простого русского мужика, Лесного духа.

Вот он топает по лесу, как на посох опираясь на старенький самодельный щуп. А когда возвращается с находкой, от улыбки даже в чаще соснового бора в пасмурную, дождливую погоду становится светло и тепло. Любый дух должен рассказывать сказки, Дедушка рассказывает были. Я могу слушать их бесконечно, ведь в них вся правда. Правда поиска без всяких грантов, митингов, кто лучше, больше, глубже, круче, скандалы, интриги. В этих

былях воющие над телами павших матери и жены, опознавшие своих мужей, сыновей по сохранившимся тогда, давно, в их карманах вещам. В них сыновья и дочери, сами глядящие в пустые глазницы черепов своих отцов и потом выносящие их на себе до ближайшей станции. В этих былях воронки, из которых торчат обтянутые шинельным сукном солдатские спины, так, будто это вчера их приняло болото. В них ротами белеют кости, блестят чуть тронутыми ржавчиной штыками павшие, но не покинувшие рубежей батальоны.

В этих рассказах есть место горечи. Горечь и признание своих ошибок. Ведь они первыми шли непроторенной дорогой поиска. Были и испорченные медальоны, и утраченные документы, и забытые вещи. Были несбывшиеся мечты создания профессиональных подразделений поисковиков, центра исследований и находок, архивов найденных документов. И ошибки, и несбывшееся он признает и с этим грузом идет снова в лес, раз за разом вынося десятки погибших. Как он работает? Это как талантливый композитор пишет музыку, это кажется необъяснимым и непонятным, он и сам не может ответить.

Солнце клонилось к закату. День прошел в утаптывании болотного мха и тырканье огромной вертухой и крюком во все более или менее подозрительные углубления. Тырканью, следует отметить, безрезультатному. Все «старики» понуро цедили чаек у костра и смолили сигаретки. Дедушка Орлов задумчиво смотрел на опускающийся за лес огненный шар солнца.

— Пора! — Закинув за спину потрепанный, весь на каких-то веревочках рюкзачишко, натянул рабочие перчатки из разных пар на руки, взял щуп и ушел в лес.

В сумерках он вернулся. Тихо скинул рюкзачишко, а на лице сияли глаза и хитрая ухмылка.

— Завтра идите копать. Там много, — скидывая сапоги, сказал Дедушка,

Сто семь человек. На ровном, абсолютно ничего не предвещающем, по всем поисковым приметам, заросшем гмызником поле. В вороночках, вырытах наспех ямках и могилах, просто оставленные наверху.

— Как ты их нашел? — недоумевал я. — Как додумался сюда тыкнуть?

— А я знаю? — сощутив веселые глаза, усмехался Дед.

И так повторяется всегда. Только закончится работа, он встает и куда-то идет. Находит там, где и предположить-то не придумаешь. Он не травит байки про зовущие его души, про снящихся неприкаянно мечущихся бойцов. Просто встает и идет, днем, ночью, в снег и дождь, идет и возвращается. Единственный, кто ему помогает и с кем он говорит, — это его отец — первый и единственный навсегда Комедант «Долины смерти» — Николай Орлов. Ведь, я уверен, его душа там с ними, с теми, о ком он не боялся вспоминать, о ком говорил, и требовал, чтобы вспомнили другие, с солдатами Болотного фронта.

Патриотизм? Я не слышал от него этого слова. Я видел, как он морщится, будто от звука стекла по железу в воронке, когда кто-то «слащавый» и ненастоящий начинает читать очередную проповедь о любви к Родине. Вся его жизнь — это любовь. Работа на заводе, на птицефабрике в колхозе, служба в армии, потом опять работа и всегда лес и поиск. Тихо и по-настоящему. Я вообще не слышал от него напыщенных слов: «красноармейцы, наши Павшие бойцы», слезливого «Солдатики». У него они «убитые». «Убитые наши» и «убитые не наши». Одни, свои, другие, чужие. Одних он уважает. Других?.. На других ему просто плевать, как и нет их. Я задумался, что проще и всеобъемлюще может быть, чем просто «убитые».

А еще он хулиган. Иногда как ребенок хулиганит. Расковыряет патроны или снаряд, засыплет порох в старый, гнилой минометный ствол и подожжет. И смеется, смется так заразительно, что с ним хохочет весь лес. И никаких слезливых страданий, никаких нахмуренных, суровых бровей. Идет по лесу, мурлычет какую-нибудь бестолковую песенку про Леху, без которого плохо, или про Город изумрудный и работает, ищет, находит. Просто я нашел убитых. А на вопрос, зачем первый раз в лес пошел, со смехом отвечает:

— Хулиганить.

Он был представлен разным высоким людям — от Генсека СССР Михаила Горбачева до Президента РФ, а уж ми-

нистров, губернаторов и прочих бурмистров он перевидал десятки, если не сотни. И посты могли быть, и зарплаты. Но выбрал он рюкзачишко старенький и лес с его убитыми.

Мы все с нашими десяти-, двадцати-, даже тридцатилетними стажами, на мой взгляд, любители. Мы просто имеем социально значимое хобби. Мы где-то работаем, у нас семьи, мы можем по воле судьбы прервать поиск на год, два, пять, десятилетия. Можем потом вернуться в лес, можем и нет. Мы ездим в экспедиции раз, два в год или на выходные. Встреча с друзьями, костры и рассказы. Орлов в лесу живет! Нет, он живет лесом. Он там всегда. Каждая его минута в лесу — это дело. Это работа, на которую нужно тратить максимум предоставленного времени. Он не может и не станет сидеть у костра, просто травя байки, для этого есть время непогоды или часы перед сном. Он не потащит в лес баню или лишнюю кастрюлю, потому что надо выносить убитых. Он запросто обойдется без генератора и телефона, потому что это вес и габариты. Он может и ездит туда один просто потому, что это его жизнь и это работа.

Кто он для меня, Орлов Александр Николаевич? Учитель? Я бы хотел так считать, но знаю, что не смогу быть достойным учеником, потому что есть другая жизнь, где есть условности, которые я вынужден выполнять. Потому что я слабее его морально, потому что через месяц я устаю в лесу и мечтаю о душе и чистом белье. Друг? Я бы этого хотел, но другом только он может назвать кого-то. Он мой Товарищ. Это надежное, крепкое слово не зря употребляли наши деды. Товарищ как винтовка, простой и надежный. Настоящий боевой товарищ, ведь мы с ним на войне. Пусть она и не гремит очередями и разрывами, но убивает почтище пули. Жадность и тщеславие, гордыня и амбиции — вот снаряды этой войны, а он в броне. В доте из опыта и лет. Его не пробить и не выковырять с его рубежа, он на нем навеки. А вместе с ним десятки тысяч погибших и Лесной дух.

Если вдруг увидите где сухонького мужика в старой генеральской кепке цвета бутан, с веселыми голубыми глазами и усмешкой в пшеничных усах, пожмите ему руку и поблагодарите! Есть за что!



Товарищ Савельев

Савеля. Шрэк Болотный.

Когда я начал писать о своих товарищах, я осознал, что эти взрослые мужики, дедушки, имеющие внуков, в жизни и в душе совсем юные пацаны. Они шутят, совершают поступки настолько бесшабашные, что многие теперешние молодые в галстуках не осмелятся. Вместе с тем жизненный опыт этих людей настолько велик, что учиться у них даже мне, в принципе давно не молодому человеку, совсем не зазорно. Эти веселые «деды» с утра кряхтя выползают из палатки, запросто за день навернут по лесу десяток километров и еще ям понароют, и воду покачают, и припрут из лесу какой-нить миномет или колесо от ЗИСа. А их бесшабашный задор, он не разрушительно-глупый или безмозгло-подростковый, а по-отечески добрый и по-молодому веселый.

Савеля, Александр Владимирович Савельев, самый ранний наш дед по потомству. И самый молодой из дедов в поиске. В лес его привел случай и давний интерес к истории и привел в 2008 году к Орлу в лесной лагерь, вот уже двенадцать лет он здесь.

Саня из всех нас, наверное, самый разносторонний человек. Он мастер парашютного спорта СССР с результатом более две тысячи прыжков, он техник-механик по ремонту самолетов малой авиации, он кузнец высочайшего класса и поисковик. А еще он писатель. Это он первый стал писать и публиковать веселые и не очень истории из жизни поисковиков, истории найденных солдат. Саня — второй человек, которому я отправляю свои записки до их публикации. И его оценка мне очень важна, что-то меняется после его замечаний, что-то не выходит в свет вовсе.

Если вдуматься, Савеля — самый положительный из нас персонаж, ну если по-поисковому. Придя в поиск уже зрелым человеком, осознанно и достаточно недавно, он не застал годы непонятного разброда и молодого трофейничества в лесу. Его целью всегда были только солдаты и их судьбы. Но Саня, как школьный отличник, попавший в дурную компанию, всегда пытается показать себя эдаким анархистом-разгильдяем, что у него не очень получается. Больно глубокий и добрый он человек и искренний друг.

Любой его приезд — это полный мешок подарков. Причем все эти вещи сделаны по-настоящему с душой и своими руками, кованные подсвечники из железа войны, ножи для работы и быта из фрагментов оружия и бронетехники, всякие безделушки. Шутливые медали, типа за «пять лет без спирта» и переход из «черных» копателей в «красные», книги и диски с его рассказами. Всё это очень приятно и тепло. Савеля живет далеко, там, куда война не докатилась, в Рыбинске Ярославской области. И вот по несколько раз в год он проезжает тысячи километров, чтобы пару недель искать убитых. Много таких в стране? Многие сейчас скажут: «Да тысячи!» Я видел, как работают эти многие «поисковики»: две недели пьяного угара, песни у костра до глубокой ночи, литры и ведра пролитых слез по солдатикам, увеличивающиеся в геометрической прогрессии относительно убывания спиртного, потом сон до обеда, кружок с минником по лесу и фотосессия для отчета, потом медаль на грудь и скорбное лицо на захоронении.

Савеля даже в самую хреновую погоду идет в лес.

— Вам хорошо, вы тут живете, каждый месяц в лесу, а у меня всего две недели, надо идти, — и уходит, когда даже мы крутим паалльцем у виска.

В этом году Новгородская весна не баловала. Нас замело снегом, заливало дождями и сдувало. Температура днем не поднималась выше десять градусов тепла, мы по очереди, а то и втроем оставались дежурить в лагере, но каждый день, сунув в рюкзак закопченный котелок и банку консервов с горбушкой хлеба, в пелену дождя уходил Савеля. Уходил и приносил. Приносил убитых. Седой крепкий мужик с аккуратной мичманской бородкой, с веселыми и глубокими глазами, рабочими большими руками кузнеца в старой прожженной рыбацкой панаме каждый день молча уходил на войну. На третью неделю, морщась от боли, он попросил намазать мазью спину, и мы опять пошли. Мы уговаривали его остаться и отдохнуть, но он шел. А вернувшись домой, попал в больницу с позвоночником. Подвиг? — Нет! Душа!

Санина специализация в поиске, если так можно сказать, болото. Да, именно болото! Гиблое, желательно малопроеходимое болото. Каким уж там чутьем или навыками он находит там убитых, это нужно спросить у него. Находит, расстраивается, но опять идет на болото. Почему расстраивается? Потому что те, кто там лежит, они исчезли. Вещи есть: ботинки, застегнутые ремни с подсумками, части, а иногда почти целые шинели и гимнастерки, медальоны, а кости съело болото. Вот представьте, есть имя, а на родине или в братской могиле и похоронить нечего. Вот он и расстраивается. Но идет, понимая, что там их другому, может, и не найти никогда, и уж точно восточку не передать.

Влезет в черную жижу, настучит мелочовку металлическую и стоит там день согнувшись, по колено в воде, жижу и торф перебирает, пока последний крючок с шинели не выловит. А потом еще пару раз вернется, для пущей уверенности, что ничего не пропустил. А ему, на секундочку, под 60 годков нынче.

А еще Саня совсем по-юношески максималист. У него гипертрофировано чувство справедливости. Чуть чувствует, где

подлость, — бросается в бой, невзирая на чины, звания и ранги. Вроде все у нас не дети, все жизнью битые, ученые, и он не исключение. И там, где мы поверчим под нос, побухтим у костра, да и чё греха таить, смолчим, Саня скажет или напишет.

Интересно было бы посмотреть на всю нашу компанию со спутника. Вот если б всем прицепить датчики, пустить в лес и наблюдать. Это, наверное, было бы похоже на катание бильярдных шаров по зеленому сукну — встретились-стукнулись, раскатились, от бортов по одному опять стукнулись, опять раскатились. Или на метание атомов и молекул. Я люблю сталкиваться с Савелей в лесу. У него с собой всегда есть еда и чай. Мне и Длинному, нам лень таскать, а Савеля всегда что-то да возьмет. Вот смотришь, время к обеду, вспоминаешь, в какую сторону Савеля пошел, и начинаешь туда забирать, в ту сторону. Оп, а вот и костерок дымит. Он смеется, бурчит в усы, но всегда самый большой кусок отрезает, «лентяям и побирушкам». Посидим, поболтаем, поделимся, кто-где-что видел, и дальше покатались.

Знаете, я уже давно понял, что уровень образования с дипломом совсем не определяют ни порядочности, ни душевности, ни интеллигентности человека. Вот Саня, совсем простой рабочий мужик из глубинки России. Он руки-то от рабочей грязи толком отмыть не может, но вот насколько это глубокий и интеллигентный человек, начитанный и грамотный. Многим нашим «типа интеллигентам» и «элите» у него поучиться бы жить и чувствовать.

А еще Савелю за его любовь к болотам зовут Шрэк Болотный. И образ добродушного, веселого, хулиганистого, демонстративно-неотесанного, но вместе с тем глубокого и доброго тролля, ему Сане, очень подходит.

Бескрайних нам болот, дорогой мой товарищ Савеля!



Товарищ Степанов

Сергей Николаевич Степанов-Задунайский
Длинный.

А Длинный — это фамилия? Самый распространенный вопрос у новичков. Он задается шепотом кому-нибудь из нас, чтобы Серега не слышал. И всегда вызывает гомерический смех на весь лес. Длинный — это все, это и фамилия, и имя, и позывной, и реклама, и узнаваемый, ну в Мясном Бору точно, бренд. Что за человек этот Длинный, почему не так давно он прибавил себе прозвище Задунайский? Кто такой соратник Орлова, с более чем тридцатилетним стажем Сергей Николаевич Степанов?

Это человек — огонь, трагедия и восстановление после постапокалипсиса и сам этот апокалипсис в одном лице.

Как Серега сам говорит: «Я одаренный лентяй». Длинным его назвали за особый размер крюка — инструмента, которым он ищет погибших. Изначально крюк — это вспомогательный инструмент, которым из воронки или ямы вынимали что-то найденное глубинным шупом, его размер — 1,20 м, край — 1,5 м. Серега изобрел крюк, которым он

ищет и достает, его длина — около 1,8 м. Серега — изобретатель, «физик-ядерщик». Из старого термоса, проволоки и сетки-рабицы он может собрать адронный коллайдер и запустить его в космос, ну, а отопитель для печки на керосине или быстро закипающий компактный котелок для чая, так это на раз.

Серега всё время что-то изобретает; пусть его изобретения, кроме нас, никому никогда не пригодятся, его творения зачастую очень упрощают нам работу.

Орлова без Длинного представить, мне например, очень сложно. Вот уже тридцать лет они неразлучны. Тридцать лет в поиске. Сколько нашел? А он считал? Для чего? Серега — последний у нас в стране крючник высокого разряда. Я сам видел, как с глубины 1,5 метра он крюком доставал солдатский медальон. Как из реки Ловать, на течении, со льда метров с четырех выудил почти круглую деталь самолета. Он скажет, сколько в яме примерно убитых, на какой глубине, сколько рядов тел. Если война была и были погибшие, он найдет. Серега никогда не включал и не брал в руки металлоискатель. Он «старовер-шишкотряс», это он сам себя так называет. В его голове вихрем носятся тысячи прозвищ, шуток, приколов, хулиганских штук и подколов. А ведь он дедушка, ему уже пятьдесят пять и внук у него есть.

Иногда мне кажется, все поведение Длинного — это какой-то непрошедший юношеский вызов обществу, которое не обладает в своей массе теми требованиями, которые предъявляет людям Серега. Требования эти просты, они из Библии. Не обманывай, не воруй, не лицемерь и т.д. На старой, прожженной кепке у Сереги демонстративно прикреплен зубной протез с позолоченными коронками. Типа спрашиваете вечно, сколько мы на поиске зарабатываем, мертвых обирая, так вот вам, девать некуда, на шапке дырку закрываю. Хотя протез этот старый — сломанный протез Орлова. А Длинный в лесу вообще ничего не берет, у него даже коллекции военных сувениров, как у большинства поисковиков, нет. Зато Длинный попрет на себе из леса какую-нибудь полезную в хозяйстве лагеря вещь, например чугунный бак от взорванной полевой кухни, весом

килограмм в двадцать. А потом смастерит из него огромную сковороду с подставкой для всех и будет обижаться, если ею не пользоваться.

Сергея, как и большинство настоящих копарей, одиночка в поиске. Чтобы найти, ему надо настроиться на волну, а это можно только наедине с лесом, своими мыслями и чувствами. От его настройки страдаем все мы. Сергей у нас Проводник. Чтобы что-то найти, нужно ходить и искать, это аксиома. А Сергей, он к лагерю сто пудов выйдет, не заблудится, но вот место, которое он нашел, оно может оказаться совсем в другой стороне от того, куда он нас повел, и, прежде чем дойти по прямой метров сто, мы пройдем весь его дневной маршрут, со всеми крюками и загогулинами, что он выписывал. Это называется «экскурсия от Длинного».

Дедушка (Орлов) в первую экскурсию не ходит, усмехается и нас туда посылает, чтоб его потом по короткой привели, или сам находит по описаниям места. Сергей по лесу за день легко может двадцатку накрутить в свои пятьдесят пять. В этом году он отправился за десяток километров по новому маршруту. Все уже выдохлись, конец экспедиции, месяц в лесу. А он пошел, пришел и убитых нашел. А когда посмотрели на карте, он там ручеек перешел в брод, а ручеек тот на карте назван Дунай. Серый с гордостью объявил, раз он за Дунай ходил, значит, он теперь Сергей Николаевич Степанов-Длинный-Задунайский. Пусть будет, так решили все.

За кажущейся разгильдяйской разухабистостью внутри спрятан очень глубокий и ранимый человек. Я видел, как он украдкой вытирал слезу над самым найденной ямой с убитыми. Представьте, сотни ям он нашел, тысячи тел и судеб, а он каждую чувствует до сих пор, каждая болит, раз за разом колет в большое сердце этого мужика.

Иногда часть маршрута мы идем вдвоем, ну типа до войны. Это когда надо пройти какое-то расстояние до места поиска. И вот даже тут, в турлах и болотине, Длинный, чтобы посидеть-покурить, ищет «красивое место», чтобы сухо, дерево ровное и вид. Сидим, дышим, молчим и смотрим в даль лесную или болотную, мысли гоняем.

У Длинного всё должно быть красиво. Он мастер спорта по натягиванию тентов в лагере. Первое, что он делает, приехав в лес, — оборудует общий бивак, а свою палатку всегда поставит в последнюю очередь. Его, казалось бы, простая туристическая палатка, — это тоже произведение искусства, где есть верхний тент, внутренний самодельный гидро- и теплоизолянт, хранилище вещей и место для инструментов. Два месяца весной в Мясном Бору, тут всё должно быть серьезно, это не на выходные шашлычка покушать у реки.

Я очень скучаю по нему, когда между экспедициями много времени, мы не вместе. Но у всех семьи и дела, это тоже важно. И для него очень важна его семья.

А почему Сергей лентяй? Ну это конечно шутка, но всё-то он придумывает, в итоге упрощает процессы. Его крюк сделан так, что нет необходимости таскать с собой отдельно «вертуху» искать, крюк тащить и лопату, чтобы пробить верхний грунт. Но в то же время вы попробуйте воронку проштырить крюком. Да не десяток, а сотню за день, а потом с глубины через глину протащите найденный предмет. К концу дня руки и спина отвалятся, а ведь пятьдесят пять годов.

Очень Длинный переживает, что нет у него учеников. Многие пытались, да ни один не выдержал. Всё проще с минником по верхам бегать и копать глубоко не надо и руки убивать, тягая крюк. Мы с ним много говорим об этом. Уходит целая эпоха!

Наработанные знания, навыки, мастерство. Нарботанные, в том числе кровью и человеческими жизнями. Сколько их, первых поисковиков на минах да снарядах подорвались, кто совсем, а кто инвалиды. И не всё специально, что-то подкидывали в костры и крутили, железо войны оно коварно до сих пор. Целый пласт забудем скоро. Причем не глубокой и не нужной старины, а важных поисковых навыков. Что «минники» да «глубинники» дадут? Железки-то уже за десятилетия подобрали, а солдатики на метре-двух в одном исподнем лежат. Кто и как их искать будет, когда мастера уйдут? А Длинный, он каждую ложбинку, каждую ячейку, каждую сопливу землянку и

вороночку за пару минут всю общупает и скажет, есть там что и сколько.

Длинный, Орлов, они лес читают как роман о войне. По ямкам и судьбам в них читают. И спасибо, и поклон им за эту их жизнь и за то, что в их этой жизни есть я. Дай тебе Бог, Серега, еще стать Заднепровским, Заволжским и еще каким-нибудь Заодерским!

Вот такой он, мой Товарищ, Длинный — Сергей Николаевич Степанов.



Федька-полтергейст

Поиск уже давно стал чем-то большим, чем группы единомышленников, поиск — это уже давно субкультура со своими законами и правилами. Поиск не всегда был правильным, овеванным патриотизмом, он был и, наверное, есть всякий. Поиск вместе со страной переживал подъёмы и падения, менял вектор и направление. Но Поиск — это люди, люди, как и все, бывают плохие и хорошие, со светлыми и темными мыслями и душами. Люди, они, как и везде в жизни, люди, они разные. Единственное, наверное, что есть в этих людях, «красных», «черных», «зеленых», общего — это любовь к истории, тяга к определенной романтике и доля авантюризма в душе, огромная, необъятная тяга к неизведанному. А люди, они не могут по своей натуре быть всё время сосредоточенно-сурово-патриотично-хмурыми, они смеются. Иногда над собой, чаще над другими, по-злому смеются, а чаще по-доброму.

Поиск в 90-х — это совсем не то, что все видят сейчас. В 90-х вместе со страной Поиск трясло и колбасило из

крайности в крайность. Оставшись без господдержки, многие «красные» враз стали «черными», многие «черные», что-то осознав, подались в «красные», появилось огромное количество просто случайных людей, прельщенных определенной свободой и романтикой. В общем, лес фронтовой опять забурлил и ожил. Чиновники на местах перестали вникать и записали всех без разбору в «черные» мародеры и кинули все свои небогатые силы в виде деревенских участковых на борьбу с копательством. Часто на информацию о находке погибших мы слышали: «Денег нет, прикопайте там на братке» или «Кто вам там рыть разрешал? Закопайте, а то сейчас участкового вызову». Разное тогда было. И много разных было людей. Одни пришли, отметились и ушли. Кто-то ушел уже в вечность и многих из них уже и не вспомнишь. Многие, встречаясь в гражданской жизни, вспоминают то время как юношескую блажь, а кто-то остался в лесу и идет этим путем до конца.

Большей частью остались простые люди, те, кто, долго смотря в пропасть, увидел внутри себя взгляд этой пропасти забвения и уже не может оторвать свою душу.

Но в 90-е, насытившись большими деньгами, покрутившись по заграницам, люди состоятельные искали где им ещё хапнуть адреналина, а с появлением интернета они ломанулись на сайты копателей и кладоискателей, а с этих сайтов в леса. Их брали в немногие тогда сохранившиеся живыми группы копарей и поисковиков, везли в лес. Сначала в надежде обрести единомышленников, а поняв, что это не те люди, просто с меркантильными интересами получить за их счет так не хватавшую технику, обеспечение и оборудование. И это не развод, все получали что хотели. «Мажоры» — приключения и романтику, копары — возможность искать убитых.

Была там и третья группа людей — местные. Те, кто вырос на линии фронта, в «Долинах» и коридорах смерти, в «черных», «мертвых» лесах, «гнилых», «красных» полях и оврагах. Там, где война лишь вчера сделала шаг в тень. Эти люди выросли на костях. Их игрушками были настоящие винтовки и автоматы. Они глушили рыбу боевыми грана-

тами и минами. Ничуть не стеснялись пользоваться вещами, с этой войны притащенными. Для них всё железо войны было просто железом. А останки погибших солдат — просто костями. Это не потому, что они плохие и бесчувственные, это потому, что так они были воспитаны. Вот эти люди и становились проводниками на войну. Многие из них не шибко разбирались в истории и с интересом слушали рассказы поисковиков об истории сражений вокруг их деревень. Многие потом, пообщавшись с родственниками найденных солдат, осознавали всю важность и человечность поисковой работы, некоторые просто тихо спивались у благодарных поисковых костров.

Человек, о котором я хочу рассказать, для меня уникален. Молодой парень, все детство провел, лазая по окопам и блиндажам передовой, с горем пополам окончил восемь классов, устроился работать сторожем в сельский клуб. Обладая пытливым умом, он по ночам на дежурствах стал читать книги в сельской библиотеке, а многие помнят основной набор библиотечных книг. Тогда это были в основном военные мемуары маршалов, генералов, Героев Советского Союза, различные военные справочники и энциклопедии. Имея просто феноменальную память, Федор, а именно так звали нашего героя, запомнил множество нюансов и исторических, и технических. Он ходил по лесу, как по карте, зная, где какой батальон какого полка стоял или наступал, как он был вооружен и как построена оборона, тактико-технические характеристики любого вооружения воюющих сторон. Такая ходячая, небритая, смурная энциклопедия, со свежим перегаром и запахом чеснока и дешевого табака изо рта. Мы сами заезжали к нему домой в деревню, забирали его, и он вез нас в лес на новые места. Одевался Федька, как и все в деревне. Во что удобно. Солдатская пилотка без звездочки с темно-зеленым пятном на ее месте. Ватник рыжий, армейский, битый молю свитер, солдатские галифе. Все это, выцветшее до состояния почти белоснежности, подпоясывалось копаным немецким ремнем с надписью: «С нами бог» — и оканчивалось разбитыми яловыми сапогами. Федька не имел в виду и даже не думал о желании быть похожим на солдат, погибших у

его дома, просто эта одежда досталась ему даром в армии и ему ее было не жалко гваздать в грязи, так же как когда-то в родных войсках. Федька по природе был неразговорчив, говорил он в темпе нормального человека, только приняв на грудь граммов триста. А после пол-литры замолкал и спал. Но в этот короткий промежуток беседа с ним была крайне поучительная и увлекательная, и мы всячески старались продлить период его разговорчивости, наливая по минимуму. Кружку, ложку и котелок, в отличие от многих деревенских, приходивших в наш лагерь за халявным алко-голем и говорильней, Федор имел свои. Копаный медный солдатский котелок, времен еще Первой мировой войны, начищенный до блеска, простая эмалированная кружка, ложка «Красный выборжец» — всё это вместе с немецкой, обтянутой войлоком флягой с самогоном и малой пехотной лопаткой, отточенной до состояния бритвы со всех сторон, хранилось в его сидоре. Другого имущества, кроме папирос и немецкой зажигалки, я у Феди не видел. Да и чтобы брал он что-то из множества раскопанных им при нас блиндажей и траншей, я тоже не помню. Повертев в руках, усмехнувшись снисходительно на городские «ахи и охи», молча отдавал и шел копать дальше, мастерски орудуя МПЛ. Единственное, на что нельзя было претендовать ни за какие деньги, — это оружие и всё, что с ним связано. Прицелы, какие-то крутки, механизмы наводки — все это было его. Он фанатично любил оружие. Полировал его до заводского блеска, ставил на «масть», но никогда и никому не продавал и не отдавал. Он знал об оружии всё. Ментально опознавая в каком-нибудь куске ржавой жбони ту или иную оружейную деталь. Федька ни разу не спал в предложенных ему палатках, хотя ночевал всегда с нами в лесу. Он рубил себе лапник, выбирал место под деревом и, свернувшись калачиком, закинув под голову сидор, засыпал. В дождь он мог переместиться под общий тент над кухней или заползти под машину. Полностью завладеть вниманием Феди можно было, начав рассказ о солдатах, о найденных или просто о своих дедушках и их военной истории. В этот момент наш проводник превращался весь во внимание и засыпал рассказчика вопросами о нюан-

сах, номерах частей и населенных пунктов, датах боевых операций и их результатах. Его голубые в обычное время, какие-то безэмоциональные глаза горели холодным, ледяным огнем познания. Федька был человек войны, человек леса, который раз за разом шел к Своим на передовую.

Случай, который я хочу рассказать, произошел на рубеже 90-х и нулевых. Очередная группа молодых московских «мажоров» через какой-то сайт вышла на нашего товарища и попросилась в лес, типа с желанием стать поисковиками. Мы уже отсидели в лесу пару дней, когда пожаловали «туристы». Крутые по тем временам внедорожники, новые, с иголки металлоскатели иностранных производителей, альпинистские яркие палатки и снаряга — все хрустящее и с иголки. Нам новички обещали привезти помпу, которая тогда стоила как чугунный мост, а мы убились, выкачивая воду из набитой останками погибших, притопленной в низине траншеи, которую показал Фёдор. В четыре руки мы с Федькой рыли ответвление в пулеметное гнездо, когда в стороне лагеря раздался призывный гудок приехавшей машины. Федька, уже изрядно подогретый своим самогоном, предложил дернуть по «пясят», а потом мне идти и встречать прибывших. Надо уточнить, что Федька не любил новичков, не каких-то конкретно, а в принципе новых людей, мы долго с ним сходились до того момента, когда знакомство переросло пусть не в дружбу, но точно в доверие, а признаком доверия стало то, что наш проводник стал оставаться в лагере ночевать. Но оставался он у нас, только если не было посторонних туристов. В противном случае в любом состоянии алкогольной усталости, он уходил или в лес, или домой, в деревню, и приходил утром снова.

Накатив по «пясят», Федька сказал что еще чуток покопается и пойдет, а утром вернется; покурив на бруствере, мы молча расстались. Я потопал на шум лагеря, а Федор, жажнув пару глотков из горла, нырнул в быстро заполняющуюся водой траншею.

В лагере шумным гомоном металось цветное стадо ярких «туристов». После серости застиранных афганок и ватников феерия цвета и шелест диковинных тогда нуле-

вых нейлоновых палаток вызвали рябь в глазах. «Туристы» неумело ставили палатки и натягивали тент под руководством нашего товарища. Метались по лесу в поисках дров и ковырялись в груде железной жбони под деревом, притащенной из раскопов. Сыпали «энциклопедическими» знаниями типа названий выкопанных предметов и задавали тысячу бестолковых вопросов, типа:

- А где здесь туалет?
- В смысле везде?
- А девочкам куда ходить?
- А где воду брать?
- Как, прям с воронки?
- А её пить можно?
- А можно где-то купить бутилированную?
- А руки где мыть?
- Как, там же?
- А из какой воронки вы пьете, а в какой моетесь?
- Как — не моетесь?
- В смысле примета плохая?
- А это что?
- А оно не взорвется?
- А если в костер положить?

Ну и всё в том же духе. Через пару часов, когда «цветные пятна» устали метаться по лесу, а у нас уже просто рябило в глазах и гудело в ушах от вопросов; когда каждый из нас уже проклял эту сранную помпу и решил, что сами бы ведрами откачали, все собрались у костра и выпили первую рюмку какого-то дорогого заморского пойла. И потекла «подготовительная» беседа с нагнетанием жути на новичков, о «мертвом лесе», «кровавом поле» и «гиблом овраге», где в семь рядов лежали и лежат погибшие и наши, и немцы, причём если нашим достаточно успокоится на местной братке, то немчура ходит и стонет от желания вернуться в Дрезден и Гамбург. Протрындев еще часик, мы решили, пока не совсем стемнело оттащить долбаную помпу, стоившую нам кучу нервов, на место раскопок. Припрягли «цветные пятна» тащить, по пути продолжая травить балладу за войну, мы двинулись в лес, к поляне, где недавно расстались с Федькой.

Вытащив водяной агрегат на опушку и отдышавшись, туристы замерли, тихо обсуждая открывшуюся перед ними картину давней передовой с траншеями, землянками, провалившимися блиндажам и заплывшими пулеметными гнездами. Мы с товарищем тихо курили, глядя на сгущающиеся в опускающемся на землю тумане весенние сумерки. Вдруг из ответвления пулеметного гнезда поднялась голова в надетой поперек, заляпанной черной грязью пилотке. Голова покрутилась, исчезла и появилась вновь, вставив на бруствера пехотной «дегтярь» с разложенными сошками и прицепленным блином магазина. Следом на бруствер вылетел сидор, и, стряхивая с рук грязь, вылез человек. Туристы обмерли. А мы с товарищем поняли, что Федька или заснул от лишнего «пясарика» прям в траншее, либо, почуяв добычу в виде пулемета, не уходил, пока не выкопал. Фигура в сумеречном тумане хлопала себя по карманам, извлекла портсигар, чиркнув зажигалкой, подкурила, пустив огромное облако дыма. Забросила на плечи сидор, не спеша счистив с пулемета крупные куски грязи, положила ствол на плечо кверху сошками. Взмахнув на прощание рукой, скрылась в туманном мареве другой стороны леса. Остолбеневшие туристы обернулись в одну секунду на нас. Испуг и страх — это ничего не сказать. Буря эмоций в расширенных глазах. Мы, мастерски поборов рождающийся прямо где-то в животе хохот, как ни в чем не бывало вполголоса обсуждаем завтрашний день.

- Вы это видели? — Шёпот на сцене.
- Что? Неподдельное удивление.
- Траншеи?
- Так конечно. Завтра их и будем копать, там и лежат убитые...
- Там был солдат с пулеметом? — Шепот дрожит в тумане.
- Какой, на хрен, солдат? — В голосе непонимание, граничащее с гневом и раздражением на бестолковость.
- Наш солдат, он из земли вылез?
- Вы чё, пили до приезда? Или вы там, в Москве, мож, нюхали чего? — Раздражение усиливается.
- Ну как же, мы же все видели? — «Яркие» испуганно оглядываются друг на друга.

— Все вместе и нюхают. Нет тут живых никого уже лет шестьдесят как! — Раздражение достигло пика. — Пошли в лагерь, наркоманы, а то ещё танки увидите. Мы, развернувшись, потопали к алеющему вдалеке костру.

Опережая нас, с опушки летели «яркие пятна».

Рассевшись у костра, туристы переговаривались вполголоса о происшедшем. Мы, дернув чая, поржав втихаря, начали укладываться спать под тихое перешептывание у костра. Вдруг за палаткой хрустнула ветка, и у костра наступила гробовая тишина. Стало слышно, как тлеют угли в слабеньком костерке. Почуввав неладное, высунув голову из брезентового полога палатки, мы увидели картину.

Весь с ног до ушей покрытый черной грязью, от этого в тусклом свете алеющих углей будто залитый кровью, стоя на границе света и тени, закинув назад голову, Федя пил из носика чайника. Замерев, с белыми лицами у костра сидели четверо туристов; даже в алом свете их лица были белыми, а глаза напоминали блюдца. Федя поставил чайник:

— Мужики спать пошли?

Ответом была тишина.

— Понятно, уработались, — сверкнула сталью зубов усмешка на небритом лице. — Передайте, там пулеметчик лежит. А я устал и дел дома много, не приду.

Через десять минут тишины, после того как спина с вешмешком в ватнике скрылась в темноте молчаливого леса, в лагере как будто улей пчел выпустили. Нас за ноги вытащили из палатки. Наперебой стали трещать о душе погибшего солдата, им явившегося. Требовать срочно бежать на поляну и извлекать его тело, иначе он всех проклянет. Большого труда и актерского мастерства нам стоило всех утихомирить и отложить подъем тела на утро. Спали ли наши соседи в эту ночь, я не знаю. Но лица с утра у них были помятые. От былой бравады не осталось и следа. Делали они до движения то, что мы им говорили, умничать все перестали. И с очень философскими лицами о чем-то шептались в стороне, пока мы вынимали из траншеи останки погибшего пулеметчика. Все сделали свое дело.

Туристы свинтили в этот же вечер, и больше в лесу я их не видел. Не буду возводить напраслину на людей, может,

просто не пересекались, может разбуженные Фединой душой, они до сих пор, как и мы, где-то роют. Помпа осталась нам, за что ребятам отдельное спасибо, в те годы она нас здорово выручала.

Долго еще по всяким копарским и выживальщицким форумам летала история про полтергейст с пулеметом. Еще больше обросшую мистикой и небылицами, ее, наверное и сейчас можно услышать у костров. Федя наш рассказ выслушал с философской усмешкой и комментарием.

— Много их тут ходит.

Мы тогда не стали уточнять, что он имел в виду — души погибших или туристов. А за Федей у нас закрепилось прозвище Федя Полтергейст.

Он умер от тоски. Не от водки, как мне сказали, от тоски. Сначала в лесу появились десятки и сотни копарей из столицы, тысячи миноискателей жужжали в лесу так, что голова шла кругом. Выкапывалось всё подряд и абы как. Услуги Феди как проводника никому были не нужны. Новомодный народ брезговал деревенским странным мужиком. Оснащенный навигаторами и прочими «джипи-эсами» с привязками и прочими штуками, он сам забирался, куда ему хотелось. Потом пришли охотники, вырубili и вычистили дороги, распахали и засеяли овсом для зверя полянки. Федя перестал ходить в лес, это был уже не его лес, не фронтовой, он перестал его чувствовать, а лес перестал в нем нуждаться. Сидя дома, он пил, нет, не опустился, не воровал, работал, где как придётся, и пил. Сидя в своем маленьком аккуратном доме с видом на лес из окна. Пока в один из таких теперь одинаковых дней просто не проснулся. А в моей памяти он навсегда остался человеческим олицетворением души фронтового леса. Или русской души, без пафоса и ура-патриотизма.

Ржев



Солнце играло само с собой, гоня зайчиков по салону машины. Асфальтная лента дороги исчезала под колесами километр за километром. Радио во все лады предрекало конец света, крах экономики, сводками с фронта курсы валют и цену на нефть. Всё это перемежалось с веселой музыкой и воплями типа: «Нам ничего не страшно и мы все умрем».

Какой-то адский симбиоз паники и бестолкового пофигизма. Бредовая кутерьма, так похожая на нашу повседневную жизнь. Может, ее сжатое в сгусток олицетворение? Щелчок выключателя на руле и просто Весна! Тишина, солнечные зайчики в салоне, шелест колес по асфальту, сигаретный дым рывками, улетающий в приоткрытое окно. Жизнь.

Я ехал во Ржев. Ехал на свидание, на поклон.

На холме, еще укрытый лесами и специальными баннерами, стоит или летит в небе Солдат. Величественная, монументальная фигура, родившаяся в головах, в сердцах, в душах двух молодых парней. Парней, которые не

видели войны, которые и слышали-то о ней уже наверное из третьих рук. Но если смогли выдать такое, значит, смогли почувствовать, смогли увидеть. А остальные, кто построил и вознес Его на пьедестал, смогли осознать, что это Важно.

У подножия, среди тысяч фамилий, выбитых на специально заржавленных панно, в ожидании совещания кучками собирались или бродили люди. Кто-то шутил, кто-то решал производственные вопросы. Час по-деловому короткого совещания, десять минут дороги, и я здесь, откуда Его на своих солдатских плечах, своими душами привели на постамент.

Такое же рыжевато-ржавое, как на памятнике, покрывало прошлогодней травы. Голые, но какие-то уже живые, проснувшиеся под теплым весенним солнцем деревья встряхивают, потягиваясь, ветвями. На прошлогодних черных отвалах раскопов, как первый пушок на юношеском лице, тонкие щетинки зелени. Яркие зеленые пятна на ржавом покрывале, как олицетворение вечной жизни.

Я сел на поваленное на краю обрывистого берега Волги дерево и, свесив в старую траншею ноги, пускал облака табачного дыма и думал. Или хотел подумать, выгрузив из головы все то, что набилось в нее за последние недели. Привалившись плечом к избитой осколками и пулями старей сосне, смотрел на убегающую вдаль вечность реки.

Тонкими ручейками сбегая вниз, на дно траншеи осыпался песок. Ручейки увлекли за собой вниз первого весеннего муравья. Исчезнув на дне, он вновь начал свой путь вверх, к свету и ветру.

А я почувствовал, что, привалившись плечом к старой сосне, сидит Он. Нет, не тот с памятника, сурово-величественный. А Он — такой, каким его видел я. В выцветшей на солнце пилотке, чистом, но местами аккуратно залапанном обмундировании. Со старым, затертым до цвета натуральной кожи солдатским ремнем, застегнутым на аккуратно пробитые ножиком дополнительные дырки. В изрядно поношенных, но аккуратно подремонтированных ботинках и линиях обмотках. Он молча смотрел на реку и пускал облака дыма, глубоко затягиваясь через за-

мысловато смятый мундштук папиросы. Дым его папиросы смешивался с моим и серым облаком висел в безветренном воздухе.

— Страшно?

— Не знаю. Как-то суетно и непонятно.

— Страшно. Страшно оттого, что непонятно за что, с кем вы.

Думаешь, нам тут не страшно было? Не бояться только сумасшедшие. А мы через ад тут прошли. Все — и верующие, и атеисты. И те, кто выжил, и те, кто остался тут навсегда. Мы ад видели.

— Да, я знаю.

Он усмехнулся. Щелчком выбил вниз папиросу и достал, прикурив от зажигалки, новую.

— Знаешь? — сощурился от попавшего в глаз дыма, снизу вверх выглянув из-за сосны, посмотрел на меня. — Ты думаешь, что знаешь. Чтобы знать, надо пережить. А Вам слава Богу это не выпало.

Страшно вам? Страшно, что бумажки ваши обесценятся? А что жизни ваши и души обесценились, не страшно? От мора прячетесь? Правильно прячетесь, раз сделать ничего не можете всем миром. Или только на словах мир у вас, а так каждый сам за себя? Мы когда тут в окопчике перед наступлением сидели, студент наш московский, занятый парень, байки нам травил, что после войны человек в космос полетит, что лекарство изобретут от всех болезней, что войн вообще больше никогда не будет. Образумятся люди. Много знал он, многое из того, что говорил, сбылось. Дети наши сотворили, те, что нас знали и помнили, и Долг свой перед нами выполнили. А вы?

У студента вот детей не было. Не довелось ему, вот под твоими ногами он в траншее лежал, в том году его подняли и на погост отнесли упокоиться.

Я непроизвольно поджал ноги и увидел на дне характерное пятно раскопа годичной давности.

— Так что вы, «испуганные», свершили, чтоб помирать не страшно было? — с прищуром спросил он, выглядывая из-за смолистого ствола.

— Я... мы... — начал бормотать в ответ я.

— «Му». «Мы». Вот так и промычали вы всю жизнь. И дальше пытаетесь мычать, — без злости, а с каким-то разочарованием не дал мне договорить солдат.

Какая-то зараза крошечная вас бьет. А вы крутитесь каждый сам за себя попрятавшись, что сделать, не знаете. Мечетесь, даже то, что вам говорят делать, чтоб не сдохнуть, не можете. Деньги у вас пропадают. Бизнесы ваши рушатся. Сколько добровольцев врачам помогает? Десятки? Сотни? Почему не десятки тысяч? Почему медсестер и врачей так мало? А продавцов, торгашей и барыг так много? Почему у каждого из вас в кармане по телефону за сто тысяч, а медицинских приборов нет? Вот и прикладывай к голове свой телефон, мож пронесет, не заболеешь.

Он опять привалился плечом к сосне, закинул лицо к солнцу и выпустил в небо тонкую струю дыма.

— Нас в день по пятнадцать тысяч наповал и в клочья война косила. И двадцать тысяч в строй новых вставало, чтоб на фронт идти. Мы тоже с чумой боролись, только та чума нам шансов «выздороветь» совсем не давала. Не было бы там выживших. Вставали и шли. А смерть, она не страшная, если знаешь за что. Если знаешь, что после тебя останется и что впереди будет. Мы знали. А вы?

Вам и страшно потому, что не знаете вы, ради чего живете. Те, кто думает, что знал и те поняли, что то, ради чего они живут, — пыль. И маленькая, микроскопическая зараза за секунду это всё перечеркивает — и пустота.

Я почувствовал какое-то дуновение сзади и обернулся. В солнечных лучах стояли, держась за руки, четверо. Высокая красивая девушка в юбке защитного цвета и гимнастерке с погонами танкиста, склонив голову на плечо молодого летчика с тремя орденами на груди и черным смоляным чубом над веселыми глазами. И двое медиков: хрупкая, маленькая девушка-старший лейтенант и высокий капитан с орденом Красной Звезды на гимнастерке. Это были мои дедушки и бабушки. Они, улыбаясь, смотрели на меня. Солдат обернулся. Коротко кивнул им, будто здороваясь, и опять взглянул на меня из-за ствола сосны.

— И они знали. Те, кто с фронта вернулся. Вы и сейчас спасаетесь и живете тем, что они создали. Те, кого они вы-

учили вас лечат и спасают. Ими созданная наука вас пока выручает. Там за ними целое поколение. Поколение создателей. Поколение, которое знало, за что живет и умирает. Всё было ради вас, ради будущего.

Он замолчал.

Я смотрел на лес в солнечных лучах и на Своих.

Четверо, помахав на прощание мне рукой, обнявшись, парами растворились в солнечных лучах леса.

А мы молча смотрели на реку. Солдат опять достал и прикурил папиросу, что-то еще он хотел мне сказать, что-то еще грызло его.

— Страшно вам. Неуютно. А всего-то: магазины с тряпками закрыли, да развлекуху вашу тупую. А вы завыли. Не по Душе своей, а по привычному для вас удобству завыли. Ты-то подумал, за что помирать-то будешь?

— Думаю, — глядя на реку, ответил я.

— Все бы вы подумали, как жить! Пока есть время и шанс. Если и сейчас не поймете, надо ли вам вообще жить? Зачем? Чтобы есть, пить, спать, в телефонах своих торчать. Ни творить, ни созидать, а только небо коптить. Тогда вон проще муравьев оставить.

Он кивнул. На выползавшего на бруствер муравьишку. Того самого, что он ненароком отправил несколько минут назад, на дно глубокой траншеи.

— Он, вишь, не останавливается, лапки не опускает, отряхнулся и опять вверх к солнцу к свершениям. Его из муравейника отправили узнать, что да как. Не пора ли входы муравьиные с зимы открывать. Вот он старается, не за себя — за ради общества своего муравьиного. А вы что ради кого делаете? Думай, солдатик!

Он встал, отряхнул с галифе налипший сухой песок и пошел в солнечный лес. Гордо выпрямив спину, заложив руки сзади за ремень. Обернулся, как-то хмыкнул, ухмыльнувшись и растаял.

Не было? Чушь?

Да было. Потому как сидел я на берегу реки и отвечал на поставленные себе Его вопросы. Как так получилось, что умирать нам страшно и жить страшно? Как получилось, что сами себе не верим, в людей не верим? Кто виноват?

Власть? Олигархи? А они все не люди? Откуда, из какого теста все беды и проблемы? Вот и доказывает нам какая-то бацилла, что, вместо того чтобы вверх стремиться, природе, космос, покорять, мы вширь разрастались. Жиром заплывали и барахлом ненужным. Вот и дали нам последний, наверное, шанс подумать и оценить.

А умирать всегда страшно, но ужасно, когда непонятно за что и ради чего.

Сергей Мачинский
**Однополчане ржевского
солдата**

Редактор: Кирилл Вах
Дизайн и верстка: Армен Игитханян

В книге использованы фотографии из архивов Поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И.Орлова, Марии Котоминой (пресс-секретарь «Тюменского областного поискового центра»), Анны Тотмяниной (руководитель пресс-службы «Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа»), а также изображения из открытых источников

Формат: 60х90/16
Тираж: 1016 экз.

Издательство «Индрик»

Подписано в печать 16 ноября 2020 г.
Печать: Типография «Август Борг»